АНДРЕ БРИНК

СЛУХИ О ДОЖДЕ

СУХОЙ БЕЛЫЙ СЕЗОН



Сухой белый сезон
Андре Бринк

Аннотация
Андре Бринк. Сухой белый сезон
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
2
3
4
5
6
7
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
2
3
4
5
ЭПИЛОГ

Аннотация

Роман «Сухой белый сезон» (1979) известного южноафриканского писателя затрагивают актуальные проблемы современной жизни ЮАР. Немедленно по выходе запрещенный цензурой ЮАР, этот роман рисует образ бурского интеллигента, школьного учителя Бена Дютуа, рискнувшего бросить вызов полицейскому государству. Бен, рискуя жизнью, защищает свое человеческое достоинство и права африканского населения страны.

Андре Бринк
Сухой белый сезон

Сухой белый сезон
почерневшие листья, краткий
жизни миг исчерпав,
тихо ложатся на землю; бес-
кровна их смерть.

В эту пору, брат
в сухой белый сезон
лишь деревья стоят несогбенно
в черной проволоке веток,
онемевшие в боли своей.
Сухой, сухой белый сезон.
Но сезоны приходят, чтобы уй-
ти.

Монгане Вэлли Сероте



A Dry White Season
W. H. Allen. London
1979

Перевод А. Клышко
Редактор А. Файнгар

Алте, которая помогла мне выжить в сухой белый сезон

В этой книге ничего не вымышлено. Атмосфера, история и стечение обстоятельств, на которых она построена. — это Южная Африка наших с вами дней. Другое дело, что определенные события и персонажи подверглись переосмыслению в тексте повествования. Что ж, с этой точки зрения они не более, чем авторская фантазия. Но ведь важны не частности, что лежат на поверхности действительности, а стимулы и отношения, от поверхностного взгляда сокрытые. С точки же зрения частностей всякое сходство персонажей и ситуаций этой книги с людьми и обстоятельствами в реальной жизни остается чисто случайным.

Человек как человек, ничего особенного. По крайней мере до всей этой истории я воспринимал его именно так. Тихий, скромный. Из тех заурядных лиц, которых однокурсники по университету потом вообще с трудом припоминают, бросая при этом непременное: «Погоди-ка, Вен Дютуа? А, ну как же, хороший парень. А что с ним такое приключилось?» При этом никому не приходит в голову, что с этим ничем не примечательным человеком вообще что-нибудь может в жизни случиться.

Хотя бы поэтому я должен написать о нем. Ведь уж кто другой, а я пребывал в уверенности, что знаю его предостаточно. И тем горше было вдруг осознать, что ничего-то я не знаю. Ровным счетом ничего. Слишком сентиментально? Увы, я посвятил полжизни сочинению небылиц в духе чувствительных историй любви с опереточными страстями, и не так-то легко перестроиться на тягостные будни жизни. И еще, смерть этого человека перевернула все мои представления об условиях человеческого существования. Подвергла сомнению все, что я знал.

Всего-то и сообщения было несколько слов репортера на последней полосе вечерней газеты в третьей колонке об учителе из Йоханнесбурга,

погибшем под колесами автомобиля. Водитель скрылся с места происшествия… г-н Бен Дютуа, 53 лет, был сбит автомашиной вчера около одиннадцати часов вечера по пути на почту, куда он направлялся опустить письма. Покойный оставил после себя неутешную вдову Сюзан Дютуа, двух дочерей и несовершеннолетнего сына… Ну и все в таком духе.

Ровно столько, чтобы читатель пожал плечами, либо покачал головой. Но я-то к тому времени был завален его бумагами, посыпавшимися на меня вслед за письмом, полученным в то памятное утро, через неделю после его похорон. Так я и увяз с головой в неурядицах чужой жизни, наваленных мне на письменный стол: в его дневниках, записях, в бессвязных порой заметках, в старых счетах, оплаченных и давно просроченных, в фотографиях, — во всем этом, без разбору, казалось, собранном в кучу и зачем-то посланном мне почтовым отправлением. В студенческую пору, помнится, вот так же щедро он дарил меня сюжетами для рассказов, которые я печатал потом в журналах, а он взимал свои десять оговоренных процентов с гонорара. У него было чутье, что ли, на такого рода вещи, ну на то, что пойдет. Хотя сам он ни разу не пытался напечатать хоть

строчку. Что это было — безразличие или, как это Сюзан сформулировала однажды, отсутствие честолюбия? А может, мы с ней не поняли в нем самого главного?

Пытаюсь поставить себя на его место: почему он избрал меня своим поверенным? Но тогда и вовсе все становится непостижимым. Почему меня? Если это не было, разумеется, поступком вконец отчаявшегося человека. Конечно же, не потому, что в университетские годы мы делили с ним комнату в общежитии — это нас ничуть не сблизило. Другом в обычном понимании я мог назвать кого угодно, только не Бена Дютуа. Да он, казалось, вообще не искал ничьей дружбы. Вот уж о ком можно было сказать — человек в себе. После университета мы долго не виделись; прошло несколько лет, прежде чем судьба снова свела нас. Он к тому времени уже учительствовал, я же еще пробовал силы на радио до того, как поступить в этот журнал в Кейптауне. Мы переписывались, но редко. Однажды я провел у них в Йоханнесбурге — они с Сюзан уже были женаты — две недели. А после того, как я перебрался сюда заведовать литературным отделом журнала для женщин, мы и вовсе не виделись. Не то чтобы это был какой-то сознательный раз-

рыв, нет. Просто нас ничто больше не связывало. Вплоть до того самого дня, когда он позвонил мне в редакцию — это было недели за две до его смерти — в совершеннейшем смятении и объявил, что у него есть ко мне разговор.

Я давно смирился с этими «разговорами» как с неизбежной издержкой профессии. Хотя, признаться, мне до сих пор претит, что чужие люди бесцеремонно избирают тебя объектом для излияния своих жизненных перипетий. И все потому только, что мне довелось стать автором нашумевших романов. Какой-нибудь юный жрец содомского греха, распустив нюни после двух кружек пива, непременно норовит высказаться в том духе, что, мол, господи, да когда же сочинители коснутся жизни таких вот, как он, чем они виноваты; почтенные матери семейств, перешагнув бальзаковский возраст, непременно посвящают в свои не такие уж розово-голубые шалости, убежденные, что кому как не автору прочувствовать то, что не дано их огрубевшим душой мужьям; юные девы, подкарауливающие нас на вечеринках и затем окручивающие с помощью им одним и присущей смеси наивности и бесстыдства. И все единственно для того, чтобы потом, когда все, что было снято, надето, а

молния застегнута, непременно закончить все тем же неизбежным вопросом: «Наверное, вы поместите это в какую-нибудь свою книгу?» Они для меня или я для них? Их интересую не я, а имя, за которое они хватаются в надежде пусть на ничтожное, но утверждение в бессмертии, пусть через дамский журнал.

Кто не устанет от этого. Теперь скажу: это мое неприятие, внутреннее, всех этих излияний и определило мою судьбу как писателя в самом расцвете, как принято говорить, творческих сил. Апатия — вот что сковало меня на многие месяцы. Мне знакомы периоды творческого бесплодия, они были и в прошлом, с той, однако, разницей, что я всегда находил в себе силы выкарабкаться. Но ни с чем не сравнимо состояние, которое я испытываю сейчас. Сколько угодно сюжетов, и каждый мог бы лечь на бумагу. И не из-за недостатка воображения, поверьте, я вынужден буду разочаровать Женский клуб, когда он назовет очередную Книгу месяца. Просто после того, как я написал двадцать романов в этаком духе, во мне что-то надломилось. Мне за пятьдесят. Я больше не бессмертен, как воображает молодость, да у меня и нет ни малейшего желания быть оплаканным когда-нибудь тысячей-другой домашних

хозяек и чувствительных машинисток, да упокоится моя душа, закосневшая в крайнем мужском шовинизме. Ну, так что же остается? Известно ведь, что старую пряху по-новому прясть не выучишь…

Но тут я сразу понял, случилось нечто серьезное, как только он позвонил. Хотя бы потому, что была пятница, а по пятницам он с утра всегда занят в школе.

— Слушай, мы не можем встретиться? — Он начал без всякого, не дав мне даже опомниться. — Дело срочное. Понимаешь, я с вокзала и…

— Куда это ты собрался?

— Да никуда, — сказал он с раздражением. И продолжал: — У тебя найдется несколько минут?

— Ну разумеется, Бен. А может, ты заглянешь ко мне в редакцию?

— Да нет… ну, в общем, я не могу тебе сейчас объяснить. Давай встретимся в час у книжного магазина Баккера, а?

— Ну, если это так важно.

— Тогда до встречи.

— До свидания, Бен. А все же…

Но он уже повесил трубку. Какую-то минуту я пребывал в замешательстве. У меня было не меньше оснований для раздражения хотя бы

потому, что от меня требуют ни с того ни с сего мчаться в центр города, от самого Окленд-парка, да еще в пятницу, когда в центре и машину-то приткнуть некуда. И все-таки победило чувство заинтригованности, что ли. Ведь мы столько времени не виделись. К тому же в среду мы сдали номер в печать, так что отговариваться, будто работы невпроворот и все такое, было бы сплошным враньем. Я и поехал.

Он ждал меня у входа в книжный магазин. Я его не сразу узнал, так он постарел и осунулся. Он всегда был худощав, а тут ну точь-в-точь огородное пугало, таким мешком висело на нем серое пальто.

— Боже мой, ты ли это, Бен…

— Рад, что ты смог вырваться.

— У тебя сегодня свободный день?

— Нет.

— Но ведь каникулы в школе вроде бы кончились.

— Какое это теперь имеет значение. Ну так что, пошли?

— Куда?

— Какая разница. — Он оглянулся. Лицо у него было бледное, с заострившимися чертами. Он так весь и подался вперед, чтобы устоять под

порывами пронизывающего ветра: было сухое зимнее полугодие, — и, подхватив меня под руку, чтобы на ногах удержаться, потащил за собой.

— Ты не от полиции спасаешься? — беспечно бросил я. Помнится, меня просто потрясло, как он реагировал на эту шутку.

— Ради всего святого, сейчас не время шутить, — отвечал он раздраженно. И зло, даже с какой-то агрессивностью, добавил: — Мог бы сразу сказать, если не расположен со мной разговаривать…

Я остановился:

— Слушай, Бен, что на тебя нашло?

— Да не торчи ты здесь. — Не дожидаясь меня, он метнулся вперед. Я нагнал его только на перекрестке, где он вынужден был остановиться у светофора.

— Может, зайдем куда-нибудь, выпьем по чашечке кофе? — предложил я.

— Нет. — И снова он оглянулся, в страхе, нетерпении, какой-то затравленный взгляд. И кинулся через улицу, не дождавшись зеленого света.

— Куда? — спросил я его еще. — Да куда мы?

— Никуда. Просто обогнем квартал. Я хочу, чтобы ты просто выслушал. Тебе придется помочь мне.

— Да объясни ты толком, Бен, что такое стряслось?

— Незачем. Скажи только, могу я прислать тебе кое-что на хранение? Ну, кое-какие вещицы?

— Краденое? — ляпнул я.

— Не паясничай, глупо. И не бойся, ничего противозаконного. Просто я… — Он молча ускорил шаг, снова огляделся. — Не хочу, чтобы они нашли все это у меня.

— «Они»?

Он остановился, все тот же комок нервов.

— Знаешь, похоже мне и вправду надо рассказать тебе все, что случилось за эти месяцы. Но у меня, ей-богу, ни минуты лишней. Так ты мне поможешь?

— Что же такое я должен сохранить?

— Бумаги, ерунда всякая. В общем, все, что осталось в записях. Можешь прочесть, если хочешь. Если обещаешь, что сохранишь.

— Но…

— Пошли. — Он снова затравленно огляделся. — Мне, главное, быть уверенным, что кто-то приглядит за ними. Что кто-то знает о них. Может, все еще и обойдется. Тогда я как-нибудь подскачу и заберу их. Но если со мной что случится, — он передернул плечами, точно поправляя

сползающее пальто, — тогда они переходят в твое распоряжение. — Тут он впервые засмеялся, если можно было назвать смехом этот сухой короткий выдох, вырвавшийся у него. — Помнишь, в университете я исправно подбрасывал тебе сюжеты для рассказов. И ты еще все говорил о великом романе, который напишешь? Ну вот, теперь я хочу подкинуть тебе материалец. Если сгодится, можешь даже сочинить какой-нибудь роман, дело хозяйское. Теперь понимаешь?

— Нет, Бен, ничего не понимаю. Абсолютно ничего. Ты хочешь, чтобы я написал твою биографию?

— Я хочу, чтобы ты сохранил мои заметки и дневники. И воспользовался ими, если будет нужно.

— А как я узнаю, нужно это или нет?

— Не беспокойся, узнаешь. — Он хмыкнул, скривил в улыбке тонкие губы. Остановился и посмотрел на меня. Его серые глаза лихорадочно блестели. — Они все забрали у меня. Почти ничего не осталось. Но уж этого они не получат. Ты слышишь? Если они завладеют и этим, все вообще теряет всякий смысл. — Мы смешались с толпой и какое-то время шли молча. — На это они и рассчитывают, — продолжал он затем. — Они

хотят стереть из памяти все, что касается меня. Будто меня вообще не существовало. Вычеркнуть меня из памяти людской. А я им такой радости не доставлю.

— Что ты натворил, Бен?

— Ничего. Уверяю тебя. Ровным счетом ничего. Но дальше я просто не выдержу, и, думаю, они это понимают. Единственное, о чем я прошу тебя, — сохрани мои бумаги.

— Но если все это действительно так безобидно…

— Что же это, и ты против меня?

Я еще подумал тогда, что он одержим манией преследования, словно человек, вконец утративший контакт с окружающим миром, забывший, что мы с ним идем по шумной улице, не замечавший ничего вокруг, даже меня. И будто он сам не имел ничего общего с подлинным Беном Дютуа, которого я некогда знал, разве что ни к чему не обязывающее внешнее сходство.

— Конечно, я сохраню все твои бумаги, — сказал я ему так, словно старался успокоить или развеселить ребенка. — Почему бы тебе сегодня же вечером и не принести их? Мы бы все и обсудили за бокалом вина, а, Бен?

Он бросил на меня еще более обеспокоенный,

чем прежде, взгляд. Человек в явном упадке сил.

— Нет, нет. Этого я не могу. Я должен быть уверен, что они попадут к тебе. Я не хочу доставлять тебе никаких неприятностей.

— Ну что ж, прекрасно, — вздохнул я безропотно. А про себя подумал: очередная душераздирающая история. — Я посмотрю их и дам тебе знать.

— Мне ничего не надо знать. Держи их у себя, и все. И язык за зубами. И только если что-нибудь случится…

— Ничего не случится, — сказал я не без раздражения. — А тебе надо просто хорошо отдохнуть. Похоже, ты переутомился.

Две недели спустя его не было в живых.

К тому времени я уже успел получить объемистую бандероль, почтовый штемпель показывал, что ее отправили из Претории. После нашей памятной встречи тем утром вся эта загадочная история заинтриговала меня и разожгла любопытство. Хотя, каюсь, один вид этой кипы бумаг, в которых мне предстояло копаться, приводил меня в уныние. Почему это свалилось именно на меня? Меня ничуть не прельщала перспектива впутываться в жизнеописания. Вымысел, еще куда ни шло. Но все изменилось, едва я коснулся бумаг. Я был сбит с толку. Мне полагалось бы

честно сказать ему, как я говорил многим другим: «Извини, старина, но я и вправду ничего не могу извлечь из всей этой истории». Полагалось бы. С той, однако, разницей, что ему, другу, сказать такое стократ труднее, чем кому бы то ни было. И еще трудней, если принять во внимание его состояние. Но в конце концов, не уверял ли он меня, что ему ничего и не надо было, кроме как сохранить бумаги в целости и сохранности?

Тот вечер я провел дома в тщетных попытках рассортировать всю эту кипу на ковре. Толстые записные книжки, школьные тетрадки, клочки бумаги, оторванные как попало от журнальных полос, и целые страницы машинописного текста, письма и вырезки из газет. Я принялся бегло просматривать, что здесь к чему, пытаясь вникнуть в суть, и первое, что бросилось в глаза, — это повторяющиеся имена, причем некоторые смутно знакомые — Джонатан Нгубене, Гордон Нгубене, — но пришлось просмотреть все подряд, с начала и до конца, прежде чем я смог убедиться, что память не изменяет мне. Но и тогда я не мог понять, какая может быть связь между ними и Беном. Знаете, это даже оттолкнуло меня. Все мои книги повествовали о любви и приключениях — предпочтительно на фоне милого сердцу

мыса Доброй Надежды или же в романтической обстановке старого доброго Кейптауна. Политика не моя стихия. И если Бен решился завязнуть в ней, что ж, его дело, тем хуже для него. Я не хотел иметь с этим ничего общего.

Я хмуро свалил эту кипу бумаг в старую картонку, в которой они прибыли. И тут на глаза мне попались две фотографии, выпавшие из большого коричневого конверта. Одна — совсем маленькая, такие делают для паспорта. Какая-то девушка. Длинные черные волосы, перехваченные тесьмой, большие карие глаза, аккуратный нос и чувственно очерченные губы. Некрасивая, если взять за эталон героинь моих романов. Но что-то поразило меня в этих обыденных чертах. И прежде всего манера держаться: ведь она знала, что ее фотографируют, откуда же это пренебрежение к условностям? Она смотрела прямо вам в лицо. Смело, с вызовом, никак не сочетающимся с женственностью ее овального лица. «Смотри, если хочешь, — говорило ее лицо, — ты все равно не найдешь ровным счетом ничего, чего бы не было известно мне самой и с чем я не примирилась. Знать себя больше, чем знаю, не могу, кто может, пусть знает больше. При условии, что это не даст вам, разумеется, никаких прав на меня».

Это или что-то подобное бросали вам в лицо эти глаза с выцветшей фотографии, по крайней мере для меня, в моих вечных поисках образа. И в то же время у меня возникло тревожное ощущение, что лицо мне знакомо. Случись это при других обстоятельствах, я бы куда быстрее вспомнил имя девушки. Но ее фотография среди бумаг Бена Дютуа? И только на следующий день, вновь разбирая и перекладывая бумаги, я вспомнил, где я видел это лицо: ну конечно же, на одной из газетных фотографий, это же Мелани Брувер. Ведь с ней была связана вся эта недавняя шумиха в прессе.

Вторая фотография была размером восемь на десять, на глянцевой бумаге. Поначалу я принял ее за обычную порнографическую картинку, которых навалом за границей. Что ж, если Бен находит удовольствие в такого рода вещах, это его дело. Снимок сделан не в фокусе или при слабом освещении. Фон: обои, тумбочка, постель со смятыми простынями — все расплылось. А на постели мужчина и молодая женщина. Я уже вложил было это фото в коричневый конверт, из которого оно выпало, когда что-то заставило меня всмотреться пристальнее.

Девушка с черными волосами. Девушка с

фотокарточки, сделанной на паспорт. Даже крупнозернистая фотография не могла теперь обмануть меня. Это она, Мелани Брувер. Рядом с ней мужчина средних лет. Это Бен.

Не тот Бен, каким я знал его по университету. Не замкнутый, но сдержанный. Уравновешенный человек, живущий в мире с собой и всем, что его окружает. Не то чтобы он был этаким потупившим очи долу скромником или ханжой, с презрением воспринимавшим выходки своих однолеток. Он никогда не был заводилой. Ни разу в жизни я не видел его, например, пьяным, хотя сказать, чтобы он чуждался выпить бокал-другой, тоже никто не мог. А занимался он здорово, этого у него не отнимешь. Может, это еще и потому, что жил он единственно на скромные денежные переводы от родителей и просто не мог себе позволить огорчить их. Помнится, я как-то видел его на стадионе. Матч по регби между университетскими командами. А он с учебником! Ну таймы еще он высиживал — пел и бесновался вместе со всеми. А в перерывах сидел, уткнувшись в книгу, тут ему хоть трава не расти. И если он чего-то недоучил, так пусть в комнате хоть на головах ходят, он сидит, не оторвется от учебника. И в спортсменах никогда не ходил, хотя не раз выигрывал

в теннис сет-другой, поражая соперника неожиданной скоростью и техникой. А вот когда шли отборочные матчи в университетскую команду, он неизменно проигрывал. И складывалось впечатление, что делает он это намеренно, с целью избежать всяких поступков, обязывающих, что ли; ведь в обычных товарищеских встречах он сплошь и рядом выигрывал у ведущих игроков. А в тех редких случаях, когда ему как запасному приходилось все-таки выходить на поле, он просто изумлял всех. Особенно это бросалось в глаза в матчах, когда на карту действительно ставился престиж команды, за которую он играл. Тут уж он отражал самые немыслимые удары. А когда наступала пора снова собирать команду курса или факультета, Бен Дютуа проигрывал без борьбы. Он старался всегда оставаться в тени.

По-настоящему он любил только шахматы. Было бы преувеличением называть его блестящим игроком, но в шахматы он почти всегда побеждал благодаря целеустремленности, педантичности и упорству, с которыми проводил свой план. В других, более зримых, что ли, областях студенческой жизни, на собраниях или других сборищах, его словно и видно не было, если не считать редких и никогда не предсказуемых вспышек этого стран-

ного парня. Тут дело в том, что он все принимал всерьез. Похоже, он вообще чурался всякого общества, не зря же кто неизменно отказывался от выборов в студенческий совет, так это Бен Дютуа. Но уж если он решался сказать что-нибудь на людях, то говорил искренне и убежденно, так, что его слушали. На старших курсах он и вовсе превратился в неизменного советчика по самым что ни на есть интимным делам. Даже девушки ходили к нему со своими печалями. Я до сих пор забыть не могу той зависти, что ли, к его авторитету у них. Да все мы, вместе взятые, этакие специалисты насчет дамского пола, ничего не стоили со всеми своими ухищрениями против одной этой его, как бы извиняющейся улыбки, очарования которой он и сам, казалось, не понимал. И вместо того, чтобы хватать что можно, он, подобно добродушному щенку, спокойно терпел, как у него отбирают самые лакомые куски. А разобраться, так человеку и в голову, похоже, не приходило, что он сам себя обделяет.

Только один-единственный раз на моей памяти я уловил, будто в нем промелькнуло нечто другое, что-то явно несвойственное ему, человеку, взявшему за правило держаться в тени. Это случилось на третьем курсе, на лекции по истории, когда

нашего профессора, взявшего академический отпуск, целый семестр замещал какой-то тип. Мы не выносили его учительских замашек, и дисциплина скоро стала целой проблемой. В тот день он засек меня, когда я пустил бумажного голубя, и тут же — просто озверел человек — велел мне выйти вон. На том бы все и кончилось, не пробудись вдруг Бен и не заяви, — куда девалась только его вечная летаргия — что он протестует против наказания одного, виноваты все одинаково.

Когда же преподаватель наотрез отказался слушать его, Бен составил петицию и, потратив субботу и воскресенье на сбор подписей, угрожал бойкотом занятий, пока не будут принесены извинения нашему курсу. В понедельник он вручил ее историку. Тот прочел, побелел от злости и изорвал в клочки. И тут Бен доказал, что бойкот не пустая угроза, и вывел за собой из аудитории весь курс. В нынешнюю эпоху самоуправления и студенческих советов его поступок показался бы смехотворно безобидным. Но в ту пору, в годы войны, он вызвал сенсацию.

В пятницу Бена и нашего временного преподавателя вызвали к декану факультета. О чем там говорилось и как это все выглядело, мы узнали много позже, и не от Бена, а окольными путями,

он на этот счет почти не распространялся.

Профессор, доброжелательно настроенный к нам старик, за что мы платили ему уважением и даже любили его, выразил сожаление по поводу злополучного происшествия и заявил, что готов счесть все случившееся недоразумением — при условии, конечно, что Бен приносит извинения за свою запальчивость. Бен в вежливых выражениях выразил признательность за благожелательное отношение к нему профессора, но твердо заявил, что настаивает на том, чтобы извинения были принесены студентам, поскольку преподаватель, как он сказал, оскорбил весь курс своим несправедливым поведением, не говоря уже о том, что он вообще профессионально беспомощен.

Это вызвало новую вспышку гнева у преподавателя, и он обрушился с обвинениями в наш адрес вообще и Бена особенно. Бен отвечал спокойно, что вот такого рода манера действовать окриком типична для его отношения к студентам, против чего они и протестуют. Положение осложнилось, казалось безвыходным. И тут наш преподаватель заявил, что подает в отставку, и вышел из кабинета декана. Профессор наказал нас, весь курс, устроив контрольную (за которую Бен получил

третий или четвертый высший балл), а относительно Бена администрация, дабы сохранить лицо, решила проблему так: его тогда исключили из университета до конца семестра.

Для него это было, похоже, наказанием почище, чем для любого из нас. Ведь его родители были бедны, он остался без стипендии, и теперь пришлось искать деньги, чтобы снимать комнату в городе. Я думаю, все мы чувствовали себя неловко во всей этой истории, хотя и считали, что он сам, собственно, во всем виноват. Как бы там ни было, мы ни разу не слышали от него ни слова жалобы. С другой стороны, он ни разу, насколько я знаю, больше не пускался в подобного рода рискованные затеи. Это была вспышка. На следующий семестр он как ни в чем не бывало вернулся к своему безмятежному существованию всегда уравновешенного человека.

Несколько строк в вечерней газете извещали о похоронах. Я собирался поехать, но так и не успел. В то утро мне пришлось присутствовать на ленче в честь какой-то заезжей знаменитости, дамы-писательницы. Я еще подумал, что под предлогом похорон смогу смыться в первую же удобную минуту. Но дама принадлежала к любительницам пирожных с кремом и лиловых

шляпок и еще отличалась истовой страстью к описанию крови, слез соблазненных и покинутых матерей-одиночек — писаниям, собственно, и обеспечивающим наш журнал десятками тысяч надежных подписчиков. Понятно, почему я был не в лучшем расположении духа, когда выехал со стоянки и направился в Карлтон-Центр, где была назначена встреча. К тому же я еще и опаздывал на четверть часа. Погруженный в свои мысли, я не очень-то обращал внимание на все, что творилось за окнами автомобиля, пока у здания Верховного суда до меня не дошло, что здесь происходит что-то необычное. И это заставило меня притормозить и оглядеться по сторонам. Что такое, я не сразу и понял: тишина. Привычного шума в центре города не было, стояла тишина. И люди не торопились, а стояли в тишине. И уличного движения не было. Центр города, шумный, вечно торопящийся, замер. Точно невидимая всепростирающаяся рука нащупала и сдавила ему сердце мертвой хваткой. И казалось, слышался а тишине только ни на что другое не похожий глухой звук мерного биения сердец, слишком слабый, чтобы его могло уловить ухо. И он проникал через плоть и кровь, ощущался подобно подземным толчкам, но не тем, к которым мы

привыкли в Йоханнесбурге с его бесчисленными шахтами и вечными взрывами породы.

А прошло какое-то время, и люди поняли, что тишина движется. Вниз по улице от вокзала медленно надвигался людской поток, несущий перед собой тишину, — хмурая, неудержимая стена черных лиц. Ни выкриков, ни вообще шума. И тишину только усугубляли люди в переднем ряду, они шли, подняв сжатые в кулак руки. Руки напоминали сучковатые корни деревьев, что несет с собой к берегу неторопливый океанский прибой.

И из улицы, где мы стояли, и из других улиц вдруг стала надвигаться, выплывая, толпа черных лиц, такая же немая, молчаливая, она двигалась к той, что была у здания Верховного суда, точно ее притягивало туда неведомым гигантским магнитом. Мы, белые, жались к суровым и прочным стенам и к колоннадам домов, единственно и обещавшим нам безопасность. Никто словом не обмолвился, не сделал ни единого жеста. И все было как в немом кино или на экране телевизора с выключенным звуком.

И только потом я вспомнил, что ведь на этот день было назначено слушание дела, касающегося одного из бесчисленных в последние месяцы актов террора, и что эта толпа шла из самого

Соуэто, чтобы присутствовать при вынесении судебного приговора.

Но впрочем, они не дошли. Пока мы стояли, раздались полицейские сирены и со всех сторон стали надвигаться полицейские фургоны и бронетранспортеры. И их рев взорвал тишину и вывел нас из этого транса. В считанные мгновения на центр города накатила вдруг волна шума. Но я не стал дожидаться, пока она захлестнет меня, отпустил тормоз и двинулся прочь.

По крайней мере это дало мне возможность объясниться, почему я опоздал тогда в Карлтон-Центр. И я все еще надеялся, что похороны будут подходящим предлогом, чтобы так же вовремя ускользнуть от этой лиловой дамы. Но когда оно настало, время, я уже не хотел участвовать в этих похоронах, я просто не смог бы, и все тут.

В книжном магазине на Коммишнер-стрит я купил и подписал открытку с выражением соболезнования и бросил ее в почтовый ящик на Джиппи-стрит на обратном пути к машине. После этого я поехал прямо домой с твердым намерением — в редакции меня по крайней мере точно не ждали — тотчас засесть, теперь уже основательно, за бумаги Бена.

Помнится, я так и не получил от Сюзан обычно-

го ответа с выражением благодарности по поводу моих соболезнований. Хотя да, конечно, я ведь не указал обратного адреса, а Сюзан могла не знать его. Может быть, так оно было даже и лучше для всех нас.

Кое-кто считал, будто Сюзан совсем не та женщина, что нужна Бену. Я не могу с ними согласиться. Ему нужен был человек, который подгонял бы его, не давал погрязнуть в рутине, определял бы ему цель и сообщал бы энергию и упорство в ее достижении. Не будь Сюзан, он, очень может быть, так и закончил бы свои дни в какой-нибудь забытой богом глуши, спокойно обучая истории или географии одно поколение школьников за другим, а в свободное время помогал бы набираться уму-разуму тем, кому недоступна школа. А получилось все-таки, что он работал в одной из лучших школ большого города, преподававших на африкаанс. Трудно сказать, был бы он вообще счастлив, окажись в иной обстановке или в других обстоятельствах. Да и кто вообще оценит, счастлив был человек или нет? В чем я уверен: уж кто-кто, а Сюзан умела и отвратить от бредовой идеи, и вдохновить на что-то поистине созидательное.

Надо думать, она унаследовала это качество

от отца, который из адвокатишки в заштатном городке сумел выбиться в члены парламента. Матушка ее, как мне кажется, так и прожила жизнь сентиментальной хранительницей очага при муже-повелителе, смиренно следовавшей всюду, куда вело честолюбив ее супруга. Конечно, то, что отец застрял в членах парламента, только придавало Сюзан решительности в характере. Сравнивая отца, человека с непомерным честолюбием, но без талантов для его реализации, и мужа — талантливого, но начисто лишенного честолюбия, она очень скоро поняла, кому верховодить в семье. Так что, пытаясь разложить по полочкам все то немногое, что я помнил о Бене, я облегчил бы свою задачу по крайней мере на том этапе, сначала поняв Сюзан.

И еще. Между Сюзан и мной было что-то — напряженность, магнитное поле, наэлектризованность какая-то, притягивающая и вместе с тем отталкивающая нас друг от друга, — в те две недели, что я провел у них когда-то. Это было как раз накануне моего отъезда из Кейптауна сюда, на север, а они тогда уже были лет двенадцать как женаты. Да, конечно, и до этого мы с ней встречались, но не настолько часто, чтобы взять в толк, что она за человек. И когда я говорю о

магнитном поле между нами, я не хочу сказать, что мы позволили себе нечто предосудительное. Мы оба были скованы респектабельным воспитанием, чтобы поддаться какому бы то ни было безрассудству. И мы с ней одинаково, пусть по разным, видимо, причинам, отдавали себе отчет в том, что между нами стоит Бен. Но в то же время бывает ведь, что нежданно-негаданно человек вдруг узнает в другом близкую душу — равного, союзника, партнера, самого, как оказывается, нужного тебе. Такое происходит независимо от разума или чувства. Это интуиция, реакция организма, что ли. Назовите это беззвучным криком души. Вот это и случилось, когда я встретил Сюзан. Если, конечно, и сейчас во мне не говорит привычное писательское воображение. Не знаю, действительно, не знаю. Я не мастер анализировать такого рода вещи, вымышленные ситуации мне куда ближе, чем грубая и неприкрашенная правда жизни.

С самого начала она показала себя безупречной хозяйкой, защищенной непреодолимой стеной вежливости, благопристойности и дружелюбия. Обладая характером, явно не приспособленным ладить с прислугой, она все по дому делала сама. Ее щепетильность, хороший вкус — все обличало

именно хозяйку дома. Пусть даже дело касалось мелочей, это проглядывало во всем: в том, как была заправлена постель, в заботливо оставленных рядом с графином воды кубиках льда, в букетике цветов на подносе с завтраком, который она подавала утром в мою комнату. Даже в эти ранние утренние часы она была безукоризненна: легкий мазок помады на губах, подкрашенные ресницы и веки сдержанно подчеркивали синеву ее глаз, — и самый придирчивый взгляд не нашел бы изъяна в ухоженной, волосок к волоску, модной прическе. В последние дни моего пребывания у них я узнал, что она умеет быть непринужденной. У Бена была привычка проводить время после ужина во флигеле, отдельном домике во дворе. Там, в помещении для слуг, он оборудовал себе кабинет. Может, он действительно готовился там к урокам, не знаю. Но мне казалось, что он просто испытывает потребность хоть немного побыть наедине с самим собой, в окружении любимых книг и привычных вещей, незаметно нажитых с годами. И когда он удалялся туда, Сюзан приносила мне в комнату кофе и непринужденно присаживалась на край кровати поболтать.

В пятницу предстоял школьный вечер, на кото-

ром они должны были присутствовать. Но когда мы сидели за ленчем, Сюзан вскользь обронила, что у нее нет настроения высиживать эту скучнейшую церемонию и что она предпочитает остаться дома. «В конце концов, — прибавила она, — у нас ведь есть определенные обязательства по отношению к нашему гостю».

— Наш гость не будет возражать, если мы оставим его на один вечер, — сказал тогда Бен, глядя на меня. — Он не чужой человек, которого положено изо всех сил развлекать.

— С удовольствием побуду один, — отвечал я.

— Господи, не будь вас здесь, я все равно не пошла бы, — сказала она мне, обнаруживая непреклонную волю, скрытую за этим чуть музыкальным журчанием голоса.

Так и случилось, что он отправился один, правда, лишь после того, как уложил детей в постель. У них в семье это было непременным ежевечерним ритуалом: укладывал спать двух очаровательных девочек с льняными волосами, так по-разному вобравших в себя красоту матери, отец, а не Сюзан. Сюзетте, старшей, было девять лет, а Линде, если не ошибаюсь, исполнилось тогда пять.

Как я ни настаивал, что мне не надо никакого ужина, Сюзан приготовила целое пиршество и

накрыла стол по всем правилам: хрусталь, серебряные приборы, свечи. Мы просидели с ней за ужином чуть не весь вечер. Я наполнял и наполнял бокалы, и скоро пришлось взять из бара вторую бутылку вина. Потом еще ликер. Поначалу еще она раз-другой прикрывала бокал рукой, когда я предлагал ей вина, но скоро перестала церемониться и, вероятно, выпила лишнего. Бретелька ее вечернего платья соскользнула с загорелого плеча, но Сюзан даже не поправила ее. Иногда она запускала пальцы в свои белокурые волосы и к концу вечера вконец разорила свою аккуратную, с подвитыми локонами прическу и от этого стала только мягче и милее. В такие минуты замечаешь ведь любой пустяк. И след помады, алевший пятном на белоснежном полотне салфетки, и блики свечи на обручальном кольце. Изгиб шеи и обнаженное плечо, когда она поправляла прическу, и влажный блеск слегка припухшей нижней губы. О чем мы только не переговорили с ней в тот вечер.

Теперь уже и не припомнить, о чем точно, ведь тому — уже целых семнадцать лет. Помню только, засиделись мы допоздна. Щеки Сюзан от вина играли румянцем.

— А я завидую вам, — сказал я так, не знаю за-

чем, но от души. — Когда попадаешь вот в такую семью, как ваша, начинаешь ставить под сомнение смысл своего холостяцкого существования.

— Все счастливые семьи похожи друг на друга. — Она чуть заметно скривила губы. — Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я удивленно.

— То же, что Толстой.

— А… ну да, конечно.

— Вы, кажется, в этом вовсе не убеждены.

— Не знаю. Просто та чушь, которую я пишу, не очень-то часто заставляет меня обращаться к Толстому.

Она пожала плечами. Узкая белая бретелька так и осталась висеть не поправленная.

— Да разве в этом дело? — Теперь она заговорила горячо. — Чушь или нет, но вы пишете и, так или иначе, находите в этом самовыражение. А что я?

Ну вот, начинается, мелькнуло у меня. Еще одна история.

— Вам-то на что жаловаться? — спросил я с вызовом. — У вас хороший муж, двое очаровательных детей. И самой талантов не занимать.

Она тяжело вздохнула:

— Боже!

Я смотрел на нее, не понимая.

А она сидела неподвижная, уставившись в одну точку. И когда заговорила, в ее звучном голосе появилась еле сдерживаемая страстность:

— И это все, что вы можете мне сказать? — И помолчав, добавила: — Через год мне будет тридцать пять. Вы понимаете?

— Лучшие годы для женщины.

— А по библии — так полжизни. А что я за это время успела? Господи боже мой! Годами сидеть и ждать, и с одной-единственной мыслью: однажды… однажды… однажды… Вы же слышали, как люди говорят о жизни. Вот и вы заговорили об этом. И ведь ждете, чтобы она состоялась, ваша жизнь, наступило это «однажды». И дальше? А дальше вы вдруг осознаете: вот он, ваш звездный день, ваш единственный день. Тот самый, который вы так ждали. И тогда оказывается, что и это не больше чем самый обычный проклятый день. И никогда — слышите! — не будет никакого другого! — Она долго сидела молча и тяжело дышала. Наконец пригубила рюмку ликера и сказала, будто специально стараясь сделать мне больно: — Знаете, я теперь очень хорошо понимаю, почему женщины становятся вдруг

авантюристками. Или шлюхами. Просто затем, чтобы убедиться, что ты — живая-а-я, почувствовать это, понимаете вы, почувствовать со всей силой и страстью. И плевать мне, в конце концов, прилично это или нет.

— И что, все действительно так плохо, Сюзан?

Она смотрела на меня и не видела. Будто разговаривала еще с кем-то, не со мной.

— Меня ведь водили на помочах всю жизнь, — говорила она кому-то невидимому, — уверяли, будто я слишком необузданная и поэтому должна, ну как это, контролировать свои поступки. Девочки не должны делать то. Девочки не должны делать это. Что подумают о тебе люди?! Хоть бы скорее вырасти, мечтала я, тогда люди ничего о тебе не подумают. И вот я встретила Бена. Мы с ним преподавали в Лиденбурге. Я и не искала в нем ничего необычного. Но зы-то знаете его. И вот, когда он, бывало, сидел такой спокойный в этом нашем бедламе в учительской, где все вокруг спорят и орут кто во что горазд, я все силилась понять, о чем он думает? Ну и он стал представляться мне непохожим на других, особенным. Он и к ученикам относился не как все, и, где любой ринулся бы в спор, он только одарит человека мягкой улыбкой… Он никогда не пы-

тался навязать мне свое мнение, как другие. Я и вообразила себе: вот человек, которого я ждала. Он понимает людей. Он поймет женщину. Он даст мне возможность жить так, как мне всегда хотелось. Я была несправедлива к нему, как я теперь понимаю. Пыталась вообразить его таким, каким хотела видеть. А потом… — Она умолкла.

— А потом?

— Я закурю, вы не возражаете? — спросила она вдруг, снова изумляя меня, потому что не выносила, когда Бен тянулся, бывало, во время ужина за своей трубкой.

— Конечно, — сказал я. — Можно и мне?

— Пожалуйста. — Она поднялась, пошла к камину, прикурила. И, присаживаясь, неожиданно сказала: — Женщине нелегко примириться с мыслью, что она вышла за неудачника.

— Я думаю, Сюзан, что вы несправедливы к Бену.

Она посмотрела на меня и промолчала. Допила ликер и тут же наполнила себе рюмку. Потом спросила:

— Кто это сказал: людям, боящимся одиночества, не следует вступать в брак?

— Должно быть, человек, который обжегся на этом, — Я старался обратить все это в шутку, но

она не приняла моего тона.

— Я до сих пор не знаю его, и это после двенадцати лет совместной жизни. — Ее губы снова чуть скривились. Так, едва заметная складка горечи. — Равно как и он меня. — И, чуть помолчав: — Но самое худшее, я сама до сих пор не разобралась в себе. Я перестала себя понимать.

Она раздраженно затушила недокуренную сигарету и резко поднялась, словно искала что-то в комнате. Из пачки на каминной полке взяла новую сигарету. Тогда я встал, чтобы поднести ей огонь. Я нечаянно коснулся ее руки и почувствовал, что она дрожит. Она прошла к роялю, села, подняла крышку, и пальцы забегали по клавишам, не ударяя по ним, а чуть касаясь. Посмотрела на меня.

— Вот если б я действительно хорошо играла, как бы все могло быть по-другому. Но я дилетант и в этом. Немного бренчу на фортепьяно, участвую в радиопьесах, всякая такая ерунда. А может, я должна успокоить себя мыслью, что в один прекрасный день мои дочери достигнут того, чего не достигла я?

— Вы знаете, что вы красивы, Сюзан?

Она повернулась на табурете всем телом и теперь смотрела на меня, откинув голову и

опершись локтями на клавиатуру, острые груди нацелены на меня — в этом было что-то невинно вызывающее. Она так и не подняла бретельку.

— Считается, что добродетель долговечнее красоты, — ответила она с такой злостью, что это повергло меня в недоумение. И, нервно затянувшись, сказала: — Счастливая семья, о которой вы говорили, — это все, что у меня есть. Все без остатка в ней. Ни минуты для самой себя.

— Бен старается помочь. Я заметил. Особенно с детьми.

— Да, конечно. — Она вернулась к столу. — А почему, — неожиданно спросила она, — почему человек позволяет себе опуститься до уровня домашнего животного? Вам не приходит в голову, что я тоже хочу сделать что-то, ну создавать, творить?

— У вас очаровательные дети, Сюзан. Не нужно недооценивать эту свою способность творить.

— Да любая дойная корова, черт ее подери, способна наплодить потомство. — Она вся подалась вперед, и я снова невольно уставился на ее грудь. — Вы не знали, что у меня был выкидыш?

— Но, Сюзан…

— Через два года после рождения Сюзетт. Все думали, что после этого я не смогу больше ро-

жать. А я решила доказать себе, что это ерунда. И родила Линду. Это был какой-то ад. Все девять месяцев. Я уже примирилась, что останусь калекой на всю жизнь.

— Вы выглядите прекрасней, чем прежде.

— Откуда вы знаете? Тогда мы едва встречались.

— Я просто уверен в этом.

— А через пять лет мне будет сорок. Вы способны понять, что это такое? Почему человек должен быть приговорен именно к плоти своей? — Она замолчала, и молчание так затянулось, что я подумал было встать и откланяться. Молча выпили. А когда она наконец заговорила, в ее голосе была обычная спокойная сдержанность: — Меня всю жизнь мучила эта мысль, с тех самых пор, как я начала «развиваться». — Она посмотрела мне в глаза. — Одно время, лет в пятнадцать или в шестнадцать, я верила в умерщвление плоти, ну просто как самая настоящая средневековая монахиня. Очистить самое себя от дурных соблазнов. Бывало обвяжу себя веревкой да еще узлами перехвачу, и ношу под рубашкой вервие это для самоистязания. Пробовала даже бичевать себя. Не сильно, правда. И все в надежде освободиться от грешной плоти.

— Помогло?

Она усмехнулась:

— По крайней мере обхожусь без веревки.

— А как насчет пояса целомудрия?

Ответом мне был еще один непоколебимо спокойный взгляд, и ни слова. Был ли это отказ или приглашение, согласие или самозащита? Нас разделял стол, на котором предательски мерцали свечи.

— А Бен? — спросил я намеренно.

— А что Бен?

— Он любит вас. Вы ему нужны.

— Бен слишком погружен в себя.

— Он хотел, чтобы вы были сегодня с ним.

И снова эта ее мимолетная вспышка ярости.

— Я сделала его тем, что он есть. Хотела бы я знать, что бы с ним сталось без меня. Поди так бы и прозябал в Крюгерсдорпс, даруя милостыню бедным. Ему бы податься в миссионеры. Да только на мне и держится эта хваленая семья.

— Все-таки вы преувеличиваете.

— А как вы думаете, что будет, если я возьму и брошу все? Я вышла за него потому, что верила в него. Так как же он может… — Она запнулась. И продолжала каким-то подавленным голосом: — Не думаю, что я действительно ему нужна. Ни я,

ни другая. Что я знаю о своем собственном муже? Если б вы только могли понять…

— Что?

В мерцающем свете ее голубые глаза потемнели. Рука машинально теребила давно свалившуюся с плеча бретельку платья. Затем, глядя мне прямо в глаза, она поправила ее, поднялась, отодвинула стул.

— Пойду сварю еще по чашке кофе.

— Мне — нет. Спасибо.

Ее долго не было. А когда вошла, снова стала сдержанной, далекой. Мы сели в кресла и сидели в полном молчании. Так и сидели в тишине, когда вернулся Бен. Она и ему налила кофе, но даже не поинтересовалась, как прошел вечер. Он выпил кофе, поднялся, ушел в ванную. Она собрала чашки на поднос, потом внезапно повернулась ко мне и сказала:

— Вы, пожалуйста, извините меня за эту вспышку.

— Но, Сюзан…

— Забудьте, что я тут наговорила. Я выпила лишнего. Ничего подобного со мной не бывает. Я не хочу, чтобы вы думали, будто во мне что-то затаилось против Бена. Он хороший муж и хороший отец. Наверное, я не стою его.

Она ушла на кухню. На следующий день она и виду не подала, что был такой разговор. Словно раз и навсегда вычеркнула его из памяти.

Невозмутимый и неизменно благожелательный, Бен жил своей жизнью. Он вставал на заре, совершал пробежку вокруг квартала, принимал ледяной душ, ровно в половине восьмого отбывал в школу, ко второму завтраку был дома, затем около часа готовился к урокам или проверял тетради и снова отправлялся в школу — на тренировку по теннису или что-нибудь в этом духе. В пять он возвращался, тут же удалялся в гараж, где предавался своему хобби — он столярничал, — пока не приходило время купать детей. По воскресеньям они всей семьей отправлялись в церковь: Сюзан в безупречно элегантном костюме, девочки в свободных платьях и белых шляпках на белокурых головках, с волосами зачесанными и собранными на затылке в туго-натуго стянутый пучок и Бен в черной паре, как и подобает церковному старосте. Упорядоченная и примерная жизнь, где всему свое место и время. Я вовсе не хочу сказать, будто он смиренно и кротко следовал неким предначертанным путем, нет. Просто он, казалось, жил по спокойным законам сораз-меренности и черпал в этом порядке ощущения уверенности и

безопасности.

Его занимала моя, как он считал, «неустойчивая» натура — я примчался в Йоханнесбург, чтобы прощупать возможности обосноваться на Севере, где человек может рассчитывать на более быстрое продвижение по службе и успех, — и он воспринимал мое честолюбие не без иронии.

— Только не говори, будто тебе не хочется продвинуться, — язвительно заметил я ему как-то, заглянув в гараж, где он старательно сооружал кукольный домик для детишек.

— В зависимости от того, что ты под этим подразумеваешь, — спокойно ответил он и поднес к глазу только что обструганный брусок. — Я, знаешь, с подозрением отношусь к прямолинейному складу ума, со всеми этими прямыми линиями от точки А к точке Б и так далее.

— И тебе не хочется стать директором школы? Или инспектором?

— Нет. Не люблю административную работу.

— Только не уверяй меня, будто ты только и мечтаешь всю жизнь ходить по утрам в школу, а вечером строгать палочки.

— А почему бы и нет?

— В университете ты, помнится, мечтал о «счастливом обществе», о «новой эре». Что же с

этими твоими мечтами?

Он усмехнулся и принялся строгать брусок.

— Очень скоро понимаешь, сколь тщетны попытки переделать мир.

— И что же, ты счастлив устраниться от него?

Он оглядел меня, и теперь его серые глаза смотрели серьезно.

— Не уверен, значит ли это устраниться. Просто, ну так мне кажется, все люди разные. Один весь на виду, другой скрытен. Одни берут мир приступом, а по мне, так не меньшего можно добиться, спокойно делая то, что у тебя под рукой. А с детишками возиться очень даже благородный труд.

— Значит, ты счастлив?

— Счастье — опасное слово. — Он принялся размечать брусок. — Скажем так: я доволен. — Минуту он продолжал тщательно размечать брусок, потом прибавил: — А может, и это не совсем точно. Ну как это выразить? У меня такое чувство, что в глубине души у каждого человека затаено то, для чего он, так сказать, предназначен. Нечто такое, что только ему одному и дано достичь. Все дело в том, чтобы открыть в себе это твое, личное. Одни чуть не сразу находят себя. Другие теряют рассудок, потому что не могут

найти. А третьи терпеливо ждут, пока внезапно не откроется то, чего они искали. Как актер ждет выхода на сцену. Или это неудачное сравнение?

— И что, ты из этих, что ждут выхода на сцену?

Он принялся вырубать стамеской первый шип.

— Я просто жду. — Он откинул волосы со лба. — Самое главное, быть готовым, когда настанет твой час. Ведь, если упустишь его, он не вернется, разве нет?

— А пока строишь кукольные домики.

Он хмыкнул.

— По крайней мере испытываю удовлетворение — хоть что-то сделал собственными руками. Здорово наблюдать, как обычное полено обретает формы. А посмотришь на детские лица, когда все готово, — прибавил он каким-то извиняющимся голосом, — так и вовсе поймешь, что не такая уж это пустая трата времени.

— Слушай, ты и в самом деле решил посвятить себя своим детям?

— Не то слово. Звучит слишком легко и чересчур сентиментально. — Совершенно очевидно, он отнесся к моему вопросу гораздо серьезней, чем я. — Понимаешь, в детстве мы живем как бы вслепую. И только потом, когда у тебя самого появляются дети, ты пытаешься оглянуться

и посмотреть на себя их глазами. И только тут начинаешь понимать все, что с тобой произошло и почему. — Вот тогда он и открыл мне то, что так тщательно скрывал прежде. — Поэтому мне так и хотелось, чтобы родился сын. Пусть даже это эгоизм, я знаю. Понимаешь, я чувствовал, что просто не смогу по-настоящему понять все мои прошлые «я», пока не прочувствую все это через сына. Но увы, это исключено.

— Сюзан?

Он вздохнул.

— Да, хватит того, что ей пришлось перенести с Линдой, я просто и мысли не держу, чтобы она снова прошла через все это.

Что-то жестокое было в моих вопросах, а я все расспрашивал его. Почему? Потому что его удовлетворенность, спокойствие точно укором были моей собственной душевной неустроенности, всему моему образу жизни? А может потому, что я вообще отказывался признать, чтобы кто-то на свете мог быть столь безмятежным, в ладу с самим собой? Как бы там ни было, я так напрямик ему и брякнул что-то в том духе, что, мол, это на тему моей писанины. Так ведь я-то пишу ее на потребу, чтоб непременно все было со счастливым концом.

— Да нет. — Он не сделал даже попытки уклониться от ответа. — Но зачем же издеваться над тем, что другому дано, а тебе и даром не нужно?

Теперь он маленьким кусочком наждачной бумаги шлифовал брусок. А потом сказал с этой своей виноватой улыбкой:

— Я ведь знаю, у Сюзан были другие виды на мой счет. Она по-прежнему тешит себя мечтами.

— А ты махнул рукой?

— Нет, почему же, я еще мечтаю. У меня, однако, то преимущество, что с детства научился делать поправки на грубую действительность.

— То есть?

— Ты что же, забыл? А ведь я когда-то тебе рассказывал.

Рассказывал, я вспомнил. А он еще прибавил то, что не сохранилось в моей памяти. Об отце, принявшем на руки ферму родителей жены в Оранжевом свободном государстве. И справлявшемся, не без успеха даже. Вплоть до самой великой засухи 1933 года. Бену тогда было девять, десятый пошел. И он работал на равных со всеми; они перегоняли овец до Западного Гриквaленда, где, по слухам, еще оставалась трава. Это и стало их роковой ошибкой. Когда засуха настигла их в Даниелскёйле, выхода не было.

— К тому времени у меня уже были свои овцы, — рассказывал Бен, — Немного. Но каждый год отец клеймил несколько для меня. А в тот раз ягнились мои собственные овцы. — Он долго молчал, а потом отрывисто и зло спросил: — Тебе приходилось резать новорожденных ягнят? Маленький белый комочек бьется у тебя в руках. А ты одним махом ножа… И так каждого, потому что овцам нечего было есть и ягнята бы все равно пали. Под конец ни кустика не было. Терновник почернел. Земля превратилась в камень А солнце день за днем сжигало последнее. Пришлось резать отару. Коршуны так и висели над нами. Бог знает откуда они взялись. И теперь уже не отставали. Они мне по ночам снились. Одну такую засуху пережить — на всю жизнь хватит. Счастье еще, что сестренка с матерью остались на ферме. Они бы такое не вынесли. Мы с отцом вдвоем были, — У него голос стал жестким. — Когда мы погнали овец к Даниелскёйлу, их у нас было две тысячи голов. А вернулись на следующий год с полусотней.

— Это был конец?

— Да, это был конец. Отцу пришлось продать ферму. На всю жизнь запомнился мне день, когда отец сказал об этом матери. В то утро он поднял-

ся затемно и ушел, никому ни слова не сказав. Мы потом видели, как он ходил по высохшему пастбищу. Обошел нашу землю и вернулся. Мать стоит, ждет его у входной двери, и он открывает дверь, входит, а за ним врывается солнце. А на веранде — какая только нелепица, бывает же, засядет в голову на всю жизнь, а? — как сейчас помню, застыла наша старая служанка Лиззи с ночным горшком. Как шла, так и замерла. А как услышала, отец объявил матери, что нам придется продавать ферму, так и выронила горшок. И лицо ее помню, до смерти напуганное; матери и так лучше было на глаза не попадаться в те дни, но тут она слова не сказала.

— Ну и потом? — спросил я, когда Бен замолчал.

Он посмотрел на меня непонимающе, словно забыл, о чем речь. И отвечал короткими фразами:

— Потом продали ферму. Отец устроился на железную дорогу. Дослужился до мастера. Нам, детям, моей сестренке Луизе и мне, эта жизнь была не по душе. Каждое рождество отец возил нас кататься на поезде. Однако отец уже не встал на ноги. И мать была ему плохой поддержкой. До самой смерти она все жаловалась на судьбу,

плакала. Так и умерла. А отец не мог без нее. И ушел вслед за ней.

Он повернулся ко мне спиной и продолжал возиться со своими деревяшками. Больше говорить было не о чем.

И еще немногое, что осталось у меня в памяти от тех двух недель, что я гостил у них, — это последний вечер. Сюзан репетировала пьесу для южно-африканского радиовещания, Бену надо было идти на какое-то собрание, и меня оставили посидеть с детьми. Потом мы с Беном еще пошли к нему в берлогу сыграть партию в шахматы, и, помнится, я уже изнывал, так она затянулась. Когда мы попрощались и я ушел, оставив его побыть перед сном в излюбленном одиночестве, было совсем поздно. Накрапывал дождь. В мокрой траве под ногами тихо жужжали букашки. От земли пахло свежестью. В комнате на столике подле кровати мне был заботливо приготовлен поднос с кофе, свет ночника выхватывал его из темноты. Надо мне было до полуночи торчать за шахматами, вот и упустил случай в последний раз поболтать с Сюзан.

Она вошла, когда я уже лег. Едва слышный стук в дверь. И когда я ответил «войдите», не уверенный еще, не померещилось ли мне вообще,

она вошла. Как обычно, оставила дверь открытой. На ней было легкое летнее платье, волосы мягкими локонами свободно падали на плечи. Чуть уловимый аромат женщины, принявшей теплую ванну. Типичная сцена из любого моего бестселлера.

Она присела, как обычно, в ногах у меня, на краешек кровати, а я прихлебывал кофе. О чем мы говорили, не знаю. Помню только, как взбудоражило меня одно присутствие ее, вот так сидевшей на моей постели.

Я допил кофе. Она поднялась, подошла взять чашку и наклонилась за ней. Рассчитанный жест или чистая случайность, а только в вырезе платья обнажилась на какой-то миг ее грудь, и перед глазами у меня мелькнули нежно-белые, такие незащищенные тени с темными ореолами.

Я потянулся к ней, и пальцы сами сжались на ее запястье.

Она замерла и посмотрела мне в глаза, а я продолжал держать ее за руку. Страх — единственное, что отражалось у нее на лице. За меня, себя самое? Выражение, которое мне не составляло труда описать в интимной сцене какой-нибудь очередной истории любви. И вот отчего-то сейчас я едва нахожу слова, когда об этом надо попытать-

ся сказать только правду… «Открытая рана»?

Я отпустил ее руку, и она порывисто коснулась моего лба губами, чуть коснулась. И тут же ушла, закрыв за собой дверь.

Удар-то пришелся гораздо позже. Девять месяцев спустя, если быть точным, она родила сына Йоханна.

На фоне трех наших жизней — бери их вместе либо каждую в отдельности — те полмесяца кажутся не больше чем эпизодом, да и не из значительных. Но мне не из чего выбирать. Теперь, когда я должен написать о нем, любой факт обретает значение. Не уверен, что мне удалось найти хоть что-то, какой-то ключ, но я пытаюсь, я просто обязан. Что же касается всего остального, то здесь остается уповать на бумаги, ими он меня не обделил. Вырезки из газет и письма, фотокопии, журналы и наспех нацарапанные записки. Девушка с милым в своей дерзости лицом на фотографии, сделанной на паспорт, и еще фотографии. Имена, фамилии. Гордон Нгубене. Джонатан Нгубене. Капитан Штольц. Стенли Макхайя и Мелани Брувер. И варианты, предлагаемые моим услужливым и, увы, часто уводящим в сторону воображением. Я должен погрузиться во все это точно так же, как он приобщился к

этому в тот самый первый, ставший роковым день. С той единственной разницей, что он не знал, да и не мог тогда знать, что его ждет, в то время как меня сдерживает именно то, что я это знаю. Под тем, что для него осталось недосказанным, я могу поставить точку; что для него было жизнью, для меня — повесть, сообщение очевидца, изложение рассказчика. Мне предстоит воссоздать по загадочным заметкам простое, что скрыто за сложностью событий; что же останется неразборчивым, равно как и недостающее, просто вообразить. Мне предстоит развить то, что он мог только предполагать: он говорит — он думает — он вспоминает — он полагает. С помощью собственных заключений, того, что подскажет мне память, и его беспорядочных свидетельств я должен пройти все с начала и до конца наперекор пустой скорби, что только мешала бы мне — а она будет мешать мне, — и попытаться создать некое подобие достоверности. И эту ношу я должен взвалить на себя, должен пойти на этот риск: это вызов, от которого я не могу уклониться. Кто же еще объяснит, как спокойный, сдержанный человек, которого я некогда знал, стал одержимым, назначившим мне в тот день встречу в центре города?

В каком-то смысле я обязан это сделать, если не в память о нем, то ради Сюзан. Поведай правду обо мне, и я успокоюсь в сердце своем. С другой стороны, я писатель и не могу отогнать от себя мысль, что смотрю на него как на способ вырваться из паралича мысли, в котором пребываю. И это только мешает.

Может, я и счел бы возможным принять ту версию, что человек сам бросился под колеса автомобиля — объяснение не хуже других. Но чего-то явно не хватало в ней. Чего, я никак не мог понять. Но все говорило о том, что такая версия попросту лишена смысла. И вот теперь, когда через неделю после похорон я получил это последнее письмо, все стало на свои места. Теперь у меня нет выбора. И нет смысла его винить — он мертв.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Началось — в том смысле, конечно, что касается Бена, — со смерти Гордона Нгубене. Впрочем, как явствует из заметок самого Бена, сделанных, правда, позднее, и из газетных вырезок, корни этого дела уходят глубже. По крайней мере еще к смерти Джонатана, сына Гордона, последовавшей в самый разгар волнений молодежи в Соуэто. И собственно, даже еще глубже, к тому самому дню, двумя годами раньше, — а на этот счет в бумагах Бена есть расписка с краткой пометкой на ней, — когда он и начал принимать участие в тогда еще пятнадцатилетием Джонатане.

Гордон служил уборщиком в той самой школе, где Бен преподавал в старших классах историю и географию. В старых классных журналах до сих пор сохранились записи насчет Гордона Н. либо просто Гордона. Время от времени в финансовых отчетах Бена, которые он вел со всей тщательностью, значится: «Гордону — 5 рандов» или «Получено от Гордона (долга) — 5 рандов» и т. п. Случалось, Бен давал ему инструкции насчет того, что надлежит записать для урока на классной доске. В других случаях это — обраще-

ние за мелкими личными услугами. Однажды, когда в одном классе пропали деньги и кто-то из учителей тут же обвинил в краже Гордона, Бен взял его под защиту, и проведенное им расследование подтвердило, что виноват не он, что деньги взяли недавно принятые в школу ребята. С того дня Гордон почитал за обязанность раз в неделю мыть его автомобиль. А после того, как Сюзан родила Линду и какое-то время не могла вести домашнее хозяйство, жена Гордона Эмилия помогала им по дому.

Постепенно Бену открывалось прошлое Гордона. Совсем маленьким он приехал с родителями из Транскея, когда отец завербовался на рудники в Сити-Дип-Майн. А поскольку мальчик с детства проявлял интерес к чтению и письму, его послали в школу — что было не так уж легко осуществить, если учесть материальное и общественное положение семьи. Гордон успевал в учебе и даже сдал экзамены за второй класс школы первой ступени. Но тут отец погиб во время обвала в шахте, и он был вынужден бросить школу и пойти работать. Мать получала, правда, какие-то крохи — она была прислугой в богатом доме, — но этого не хватало. Он перебивался как мог, сначала мальчиком на побегушках в богатой

еврейской семье из Хоутона. Позже подвернулось место посыльного в одной из адвокатских контор, здесь платили больше. А потом устроился помощником продавца в книжном магазине. Каким-то образом он ухитрялся читать и прочитывал все, что попадалось в руки, и владелец магазина, растроганный тягой мальчика к знаниям, помог ему продолжить учебу. Так он смог сдать экзамены за четвертый класс.

Сдал и вернулся в Транскей, что, как оказалось, было неправильным шагом, поскольку здесь работы для него не нашлось, если не считать, что двоюродный дедушка протянул руку помощи, предложив помогать на ферме. Полол кукурузу, травил с тощей дедушкиной собакой зайцев в вельде (мясо шло к обеду), а то просто жарился на солнцепеке у дверей, пока что-нибудь прикажут. Он бежал городской неустроенности, жизни впроголодь, а здесь, на ферме, оказалось и того хуже. То ли он устои утратил, то ли характер у него испортился, но что-то в нем надломилось за эти годы, пока метался неприкаянным. Он и сам чувствовал, как внутри у него растет и разливается раздражение. Все, что удалось накопить за время его городской жизни, пошло на лобола — выкуп за невесту. Вернулся в Транскей. И чуть ли

не через год, не выдержав и там, подался в единственное место, которое хорошо знал, — в свой квартал Готини в Йоханнесбурге. После недолгих мытарств он устроился на работу в школу, где преподавал Бен.

Один за другим пошли дети: Александра, затем Марока, потом Роберт. Но любимцем оставался старший — Джонатан. С самого начала Гордон решил воспитать сына в традициях своего народа. И когда Джонатану исполнилось четырнадцать, его отправили в родной Транскей пройти обряд инициации.

Через год Джонатан, нареченный именем Сипхо, которое и должен был считать «настоящим», вернулся, теперь уже не кведини[1], а настоящим мужчиной. Гордон не уставал говорить о том знаменательном дне. С тех пор его полку прибыло: двое мужчин в доме. Не обходилось, конечно, без трений, тем более что Джонатан имел теперь право на собственное мнение, но в одном, главном, они были едины: пока можно будет, Джонатан должен ходить в школу. И лишь когда он сдал экзамены за начальные шесть классов и оказалось, что средняя школа им не по карману,

---

[1] Примечания: 1
Мальчик, подросток *(язык коса).*

они обратились за помощью к Бену.

Бен навел справки в школе, где учился Джонатан, в приходской церкви, и, убедившись, что отзывы о нем сводятся к одному: развитой юноша, настойчив, подает надежды, — предложил платить за учебу, сказав, что берет на себя расходы на учебники, разумеется, до тех пор, пока тот будет так же отлично успевать.

Подросток и вправду произвел на него впечатление — худенький, вежливый, скромный мальчик, всегда опрятно одет, неизменно в свежевыстиранной, под стать своим белоснежным зубам рубашке. В оплату расходов, предложил Гордон, Джонатан согласен по субботам и воскресеньям помогать Бену в саду.

Когда он принес школьный табель за первый год, то-то радости было. Все оценки были выше среднего балла. В награду за успехи Бен отдал ему костюм Йоханна — мальчики были почти одного роста, — новые ботинки и прибавил два ранда на карманные расходы.

А на второй год его как подменили. Учился он по-прежнему ровно, но, казалось, потерял прежний интерес к школе, стал даже прогуливать уроки. Теперь он больше не приходил по субботам и воскресеньям помочь Бену в саду, стал

замкнутым, в нем вдруг все чаще проявлялась строптивость. Мог даже нагрубить в ответ, а както, и потом это повторилось, вел себя откровенно дерзко с самим Беном. Гордон стал замечать, что сын проводит больше времени на улице, чем дома. Естественно, ни к чему хорошему это не могло привести.

Тревоги оказались не напрасны. Все началось с памятной истории в одном пивном баре. Подгулявшие цоци[2] стали задирать посетителей, людей в возрасте, а когда хозяин пытался выставить это хулиганье, они устроили дебош, принялись крушить все подряд. Вызвали полицию. Подростков забрали — кто попался под руку. Вообще-то в два полицейских фургона собрали всех, кто, оказался в баре и поблизости от этого злополучного заведения.

Мальчик доказывал, что не имел никакого отношения ко всей этой истории. Ну честное слово, ни сном ни духом. Совершенно случайно оказался на месте этой свалки. А свидетели полиции утверждали, что и этого, мол, видели среди хулиганов. Суд был скорым. По недоразумению Гордон не присутствовал на судебном

[2] Примечания: 2

Так называют африканцев и цветную молодежь, совершающую мелкие правонарушения.

разбирательстве: ему было сказано, что заседание назначено на двенадцать, а когда он вошел в зал, все было кончено. Он пытался опротестовать приговор — шесть ударов плетью. Но опоздал, приговор уже был приведен в исполнение.

Утром он потащил Джонатана к Бену. Мальчик еле передвигался.

— Сними штаны и покажи все баасу, — приказал Гордон.

Джонатан пытался протестовать, но тщетно. Гордон тут же рванул ремень и сам спустил с него перепачканные кровью шорты, обнажив ягодицы и шесть кровавых рубцов на них, зиявших, точно шесть резаных ран.

— Нет, не на это я пришел жаловаться, баас, — сказал Гордон. — Будь я уверен, что он и вправду совершил что дурное, я бы ему еще добавил. Но вот он говорит, что невиновен, а они ему не поверили.

— Суд не дал ему доказать свою невиновность?

— Что он понимает в этом деле? Да он и сообразить ничего не успел.

— Не думаю, Гордон, что теперь можно чем-нибудь помочь делу, — отвечал Бен и сам подавленный случившимся. — Можно нанять адвоката, я беру это на себя, но это, увы, не поможет тому,

что случилось. — И он показал на иссеченные ягодицы подростка.

— Знаю. — Гордон молча наблюдал, как Джонатан в ярости натягивал на себя шорты. А потом поднял глаза и сказал почти извиняющимся тоном: — Ягодицы со временем зажидут. Не об этом я тревожусь. Рубцы останутся здесь. — Он показал на сердце, едва сдерживая гнев. — А такие рубцы не заживают.

Он оказался прав. Джонатана словно отрезало от школы напрочь. По словам Гордона, подросток так возмущен был поступком этих буров, что отказался учить африкаанс. Теперь он рассуждал о таких вещах, как «Черная сила» и Африканский национальный конгресс, что приводило в уныние и просто пугало отца. На экзаменах Джонатан провалился. Его это, похоже, нисколько не трогало. День ото дня, жаловался теперь Гордон, он все меньше бывает дома. А на вопросы, где был, вообще не отвечает. Бен не пожелал более вкладывать средства в то, что представлялось теперь пустой тратой денег. Но Гордон умолял его повременить.

— Баас, если вы бросите его именно сейчас, это конец для Джонатана. И не только для него. Ведь он у меня не один, и зараза перекинется на

остальных. Это очень плохая болезнь, и только школа может вылечить его.

Бен скрепя сердце согласился повременить. И к вящему его удивлению, следующий учебный год мальчик начал не в пример прошлому. Дома Джонатан по-прежнему держался замкнуто, ходил угрюмым, и порой это прорывалось в неожиданных вспышках. Но теперь он не пропускал занятий. И так было до мая, если быть точным, до шестнадцатого мая, той среды, когда в Соуэто вспыхнули волнения. Дети сновали на школьных дворах, подобно рою пчел, готовых покинуть улей. Демонстрации. Полиция. Стрельба. Увозят убитых и раненых. С этого дня Джонатан едва забегал домой. Эмили, оцепеневшая, ошеломленная, держала младших дома и все прислушивалась к доносившимся с улицы взрывам, вою сирен, рычанью бронетранспортеров. По ночам вдруг вспыхивали огнем винные лавки, пивные бары, административные здания, школы. На улицах торчали обуглившиеся остовы автобусов компании «Put».

А случилось это уже в июле, во время одной из демонстраций, к тому времени ставших почти ежедневным ритуалом: дети и юноши, собравшиеся для похода в Йоханнесбург; полиция,

перекрывающая им путь на бронетранспортерах; длинные, захлебывающиеся очереди автоматов; град камней и бутылок. Перевернутый и подожженный полицейский фургон. Выстрелы, крики людей и лай собак. И вырвавшиеся из тучи дыма и пыли дети, бегущие к дому Нгубене, чтобы сообщить, задыхаясь от восторга, что они сами видели Джонатана в толпе, окруженной полицией. Ух ты, как он сражался. Но что было дальше, никто сказать не мог.

Ждали допоздна, но он так и не пришел. Гордон отправился к Стенли Макхайя, таксисту из черных, единственному человеку, который всегда знал все на свете, и кинулся тому в ноги, умоляя разузнать о Джонатане. Ведь у Стенли были связи по обе стороны баррикад: и среди полиции, и в самых потаенных уголках подполья, среди тех, кто не ладил с законом. Стенли Макхайя, говорил Гордон, единственный, кто может помочь, если хотите знать, что происходит в Соуэто.

Увы, как оказалось, даже Стенли Макхайя на этот раз был бессилен. В тот день полиция схватила столько народу, что потребовалась бы неделя, а то и больше, чтобы получить список всех арестованных.

На следующее утро Гордон и Эмили помчались

в огромном белом «додже» Стенли в Баранг-ванатхскую больницу. Они не были первыми, там оказалась толпа людей, прибывших сюда с той же целью, и им пришлось ждать до трех часов дня, пока человек в белом не провел их в холодную, выкрашенную в зеленое комнату. На металлических нарах вдоль стен — трупы детей. В изорванной и грязной одежде и обнаженные, изувеченные и целехонькие, как будто просто уснувшие, если б не аккуратное пулевое ранение, засохшее пятнышко крови на виске или на груди. У иных на шее, на запястьях или на лодыжках, висели бирки с нацарапанными фамилиями, большинство до сих пор оставались неопознанными. Джонатана среди них не было.

И снова в полицию. В те дни в Соуэто телефоны не работали, не ходили автобусы, а пригородные поезда остановились. Гордон снова вынужден был вызвать такси Стенли Макхайя, чтобы тот отвез их, как бы рискованно это ни было, на Й. Форстер-сквер. Весь день прошел в тщетных ожиданиях. Дежурные в полиции сбивались с ног и, понятно, не удостаивали даже ответом, когда к ним обращались с вопросами о судьбе арестованных.

Прошло еще два дня безрезультатных поисков,

b Гордон обратился за помощью к Бену. То, что Гордон не появлялся на работе последнее время, никого не удивило. Угрозы расправиться с черными рабочими приняли такой размах, что мало кто рисковал в те дни вообще появляться в городе. Бен, как мог, старался успокоить Г ордона.

Вполне вероятно, что мальчик скрывается где-нибудь со своими друзьями. Случись что-нибудь серьезное, вы бы давно знали. Это же ясно.

Гордон, однако, не принимал утешений такого рода.

— Вы бы поговорили с ними, баас, — твердил он свое. — Меня они и слушать не станут, просто пошлют подальше. А вам они обязаны ответить.

Бен счел разумным обратиться к адвокату, чье имя мелькало тогда на страницах газет именно в связи с процессами над подростками.

Трубку подняла секретарь. Г-н Левинсон, к сожалению, занят, сказала она. Она может записать Бена на прием на послезавтра. Он настаивал, что дело не терпит отлагательств, что ему нужно пять минут и он все объяснит по телефону.

Левинсон раздраженно взял трубку, но согласился все-таки записать кое-какие детали. Спустя несколько часов его секретарь позвонила Бену и сообщила, что в полиции пока не могут ниче-

го сказать по интересующему вопросу, но они займутся этим делом. Полиция «продолжала заниматься делом» и когда через три дня Бен посетил адвоката в его конторе.

— Но это же смешно! — запротестовал Бен — Не могут же они не знать имена лиц, задержанных ими.

Адвокат пожал плечами:

— Вы просто не знаете эту публику, господин Гетце.

— Дютуа, с вашего позволения.

— О, прошу прощения. — Он подвинул Бену через необъятный, заваленный бумагами стол серебряный портсигар. — Вы курите?

— Нет, спасибо.

Бен терпеливо ждал, пока адвокат неторопливо и со вкусом затянулся. Так курят, например, киногерои. Высокий, спортивного сложения, загорелый мужчина с гладко зачесанными набриолиненными волосами, кокетливо подстриженными бачками и тщательно выведенными в линию усиками, он напоминал Кларка Гейбла. Крупные холеные руки, два массивных золотых кольца на пальцах, запонки из тигрового глаза. Он принял Бена без пиджака, но широкий малиновый галстук на свежайшей сорочке в полоску придавал

корректность строго рассчитанной небрежности манер. Все было в меру У этого человека. Бену пришлось трудно, разговор то и дело прерывали: непрерывно звонил телефон, и секретарь хорошо поставленным голосом что-то сообщала по селектору; входили и выходили помощницы — все как на подбор молодые, стройные блондинки, словно участницы конкурса красоты, — с папками и бумагами в Руках, конфиденциальным полушепотом сообщали нечто своему патрону.

В конце концов Бену удалось все-таки договориться с адвокатом, что в дополнение к телефонному разговору с полицией г-н Левинсон берется письменно затребовать от них определенную информацию.

— Итак, никаких причин для беспокойства, — сказал Левинсон с этаким покровительственным жестом, точь-в-точь футбольный тренер, доверительно сообщающий прогноз по поводу игры в ближайшую субботу, — мы им зададим жару. Да, кстати, вы оставили нам свой адрес, чтобы мы могли выслать счет? Полагаю, ведь именно вы оплачиваете расходы? Поскольку этот, — он сверился со своими записями, — этот Нгубене, надо думать, неплатежеспособен?

— Да, расходы оплачиваю я.

— Прекрасно. Я буду держать вас в курсе, господин Гетце.

— Дютуа.

— Ну конечно же, господин Дютуа. — Он с заговорщическим видом крепко пожал Бену руку. — Итак, до скорой встречи.

Через неделю, после еще одного телефонного звонка, пришло письмо с Й. Форстер-сквер: решение вопроса, говорилось в нем, передано в ведение комиссариата полиции. Выждав безрезультатно еще неделю, Левинсон направил письмо непосредственно верховному комиссару полиции. На этот раз ответ не заставил себя ждать, им кратко сообщили, что по означенному вопросу советуют обратиться к ответственному должностному лицу на Й. Форстер-сквер.

На очередное письмо по указанному адресу им просто не ответили. А когда Левинсон еще раз позвонил в полицейское управление и осведомился, не без язвительности в голосе, насчет ответа, не назвавший себя офицер резко ответил на другом конце провода, что они слышать не слышали ни о каком таком Джонатане Нгубене.

Но и после этого Гордон не терял надежды. Джонатан с успехом мог оказаться среди подростков, спасшихся бегством в соседний Свазиленд или

Ботсвану. Вполне вероятно, если учесть, как он вел себя последнее время. Надо набраться терпения и ждать, смотришь, и придет от него письмо. А у Гордона на руках еще четверо детей.

Но чувство тревоги не отпускало. И почти как должное они восприняли, когда через месяц после исчезновения Джонатана к ним постучалась молодая негритянка, назвавшаяся медицинской сестрой.

Она сказала, что чуть не всю неделю разыскивает их. Она помогала какое-то время в отделении для черных в центральной больнице. Десять дней назад в отдельную палату был помещен юноша лет семнадцати-восемнадцати, похоже, в тяжелом состоянии, голова вся забинтована, боли в животе. Знаете, так стонут только от острой боли. Но никому из персонала не разрешалось входить к нему, а у дверей палаты поставили полицейского. Ну и однажды она услышала, кто-то сказал: «Нгубене». А потом она узнала от Стенли — да, она знает его, кто же его не знает? — что Гордон и Эмили разыскивают своего сына. Вот она и пришла.

Ту ночь они вообще не сомкнули глаз. И чуть свет кинулись в эту больницу, но какая-то нелюбезная особа нетерпеливо бросила им, что

никаких Нгубене среди пациентов не значится, равно как и полицейских постов, что еще выдумали! И вообще у нее каждая минута на счету, так что лучше бы им убраться.

И снова к Бену. Снова к адвокату.

Директор больницы: «Что за абсурд? Неужели вы думаете, что, если бы в моей больнице и было такое, я ничего бы не знал об этом? Вечно вам видятся какие-то ужасы».

А через день эта молодая медсестра снова пришла к ним сказать, что ее уволили с работы. И не потрудились объяснить почему. А ведь несколько дней назад ее хвалили за добросовестность. И вот: мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Но она уверяла, что черного юноши в больнице теперь нет. Вчера вечером она пробралась-таки в то крыло здания, где он лежал, и самолично заглянула в полукруглое окно над дверью в палату, ей еще пришлось карабкаться черт те на какую высоту, но койка была пуста.

Следующие письма Дэна Левинсона в полицию остались без ответа, даже без подтверждения о получении.

Может, горько размышлял Гордон, все это одна болтовня. Может быть, он еще получит письмо из Мбаане в Свазиленде или из Габероне в Бот-

сване.

В конце концов, именно Стенли Макхайя, и никто другой, нашел-таки первую зацепку. Он водит знакомство с одним уборщиком в полицейском участке на Й. Форстер-сквер, так он сказал, и этот человек уверяет, будто Джонатан содержится в одной из подвальных камер. Ничего больше этот малый не знал. Нет-нет, сам он в глаза его не видел, если честно сказать. Но точно знает, что Джонатан там. А вернее, был там до вчерашнего утра. Потому что вчера днем ему приказали вымыть пол в этой камере, и он собственными глазами видел на полу кровь.

— Бессмысленно даже писать еще какие-то письма или звонить туда, — сказал адвокату Бен, побледнев от гнева. — На этот раз вы должны наконец что-то предпринять. Даже если потребуется судебное вмешательство.

— Положитесь на меня, господин Гетце.

— Дютуа.

— Да, да. Я, собственно, ожидал чего-то в этом роде, — произнес адвокат, вполне удовлетворенный собой. — Теперь-то мы зададим им работенку. На полную катушку. А что, если нам кое о чем намекнуть газетчикам, а?

— Это только все усложнит.

— Ну что ж, как хотите.

Но прежде, чем адвокат успел изложить разработанный им план действий, ему позвонили из специальной службы и попросили принять сообщение для его клиента Гордона Нгубене. Не откажет ли он в любезности передать означенному клиенту, что его сын Джонатан вчера скончался естественной смертью.

2

И снова Гордон и Эмили надели свои воскресные костюмы ради поездки на Й. Форстер-сквер — к тому времени в городе уже снова работал транспорт, — чтобы навести справки, когда они смогут получить тело сына для захоронения. Может быть, кто и подумал бы, чего же проще, а только оказалось, что и здесь замкнутый круг. Их отсылали из одного кабинета в другой. В службе безопасности (СБ) им велели справиться на этот счет в УСО, уголовно-следственном отделе, здесь просили обождать, зайти в следующий раз.

На этот раз Гордон, презрев свою старомодную вежливость, был непоколебим. Он отказывался двинуться с места, пока ему не ответят на вопрос, с которым он пришел. К вечеру их наконец принял очень симпатичный человек в старшем чине. Он попросил извинения за задержку с ответом, но, как он сказал, предстоит выполнить еще ряд формальностей. В том числе вскрытие тела. Но к понедельнику все обязательно будет закончено.

Когда же и в обещанный понедельник им пришлось уйти ни с чем, они направились к Бену, а с ним — к адвокату.

Как и прежде, этот высокий мужчина с внешностью Кларка Гейбла подавил их самоуверенностью, он восседал за столом, уставленным телефонами, заваленным папками, документами, пустыми чашками от кофе и затейливыми пепельницами. На загорелом лице сияли белизной зубы.

— Это переходит все границы! — воскликнул он. И тут же, с явным расчетом на эффект, набрал номер телефона полицейского управления и потребовал, чтобы его немедленно соединили с ответственным лицом. Там пообещали навести справки.

— Ну вот что, хватит морочить мне голову, — прокричал он в трубку и подмигнул своим клиентам. — Я даю вам ровно час времени. Один час. И чтоб больше никаких глупостей, договорились? — И посмотрел на свои золотые часы. — Если до половины четвертого я не получу ответа, я звоню в Преторию и во все газеты страны. — И он бросил трубку и снова ослепил их белоснежной улыбкой. — Вам давным-давно надо было обратиться в газеты.

— Господин Левинсон, нам нужен Джонатан Нгубене, — сказал Бен недовольно, — а не реклама.

— А вот без рекламы-то далеко не уедешь, господин Гетце. На этот счет положитесь на мое мнение.

К удивлению Бена, звонок из службы безопасности раздался тотчас же, в пять минут четвертого. Левинсон почти не говорил, только слушал, буквально внимал тому, что доносилось с другого конца провода. Кончив слушать, он долго сидел, разглядывая телефонную трубку, словно ожидал от нее еще чего-то.

— Вот это да!

— Что они говорят?

Адвокат посмотрел на него и почесал щеку.

— Джонатан Нгубене вообще не значится в списках задержанных. Согласно их данным, он был убит в день этих самых волнений, и, поскольку труп не был своевременно востребован, его похоронили еще месяц назад.

— Но почему же тогда они говорили на прошлой неделе, будто…

Адвокат ничего не ответил и только пожал плечами, словно возлагая всю ответственность на них, там.

— …и потом эта медсестра, — сказал Гордон. — И тот малый, ну, что уборщиком служит в полицейском участке. Они оба говорили о Джонатане.

— Послушайте-ка, — адвокат поднял руки и соединил кончики пальцев, — я напишу им официальное письмо с требованием представить копию медицинского заключения. Вот где мы добьемся своего.

Однако в коротком ответе, полученном неделю спустя из полиции, просто говорилось, что, к сожалению, медицинского заключения на этот счет не имеется.

Очень легко представить себе эту сцену. Задний дворик в доме Дютуа. Йоханн и его приятели, резвящиеся в бассейне на соседнем участке. Сюзан готовит в кухне ужин, ей еще надо успеть сегодня на собрание, так что детей стоит покормить раньше обычного. Бен у дверей черного хода. Гордон прижимает свою старую шляпу к груди обеими руками с такой силой, что вконец сплющил ее. Он в поношенном сером костюме — подарок Бена на последнее рождество — ив белой сорочке без воротничка.

— …а больше мне и сказать нечего, баас. Случись такое со мной, ну ладно. Или же с Эмили. Ладно. Мы уже не молоды. Но ведь это мой сын, баас. Джонатан — мой сын. Наше с вами время уходит. А время-то наших детей только наступает. Так для чего же нам жить, если они станут

убивать наших детей?

Бен и так был подавлен. У него разламывалась голова. И не было ответа на все эти вопросы.

— Что мы можем сделать, Гордон? Ни я, ни вы ничего не можем изменить.

— Баас, в тот день, когда они отхлестали кнутом моего сына, вы тоже говорили, что мы ничего не можем сделать. Но если б мы сделали ну хоть что-нибудь в тот день, если б хоть кто-то услышал, что мы хотим сказать, так, может быть, душа его не исполнилась бы болью, и безрассудством, и отчаяньем. Нет, я не утверждаю. Я говорю «может быть». И кому дано знать?

— Это ужасно, Гордон. Я понимаю. Но у вас еще четверо детей, о которых вы должны позаботиться. И я готов помочь, если и их тоже вы пошлете учиться.

— Как он погиб, мой Джонатан?

— Об этом мы ничего не знаем.

— Я должен узнать об этом, басс. Как я смогу жить, если не узнаю, как погиб и где похоронен мой сын?

— Чему это поможет, Гордон?

— Ничему. Да. А только человек должен знать все о своих детях. — Он долго молчал. Нет, он не рыдал, а только слезы просто стекали по его

впалым щекам на обтрепанный воротник серого пиджака. — Человек должен знать, а иначе он все равно что слепой.

— Будьте благоразумны, Гордон. Не надо опрометчивых поступков. Подумайте о своей семье.

Там, за высокой белой оградой, по-прежнему раздавался веселый визг детворы, когда он сказал тихо, но с непререкаемой твердостью и через силу, что если б, мол, это случилось с ним — ладно. Бог ему свидетель, он не остановится до тех пор, пока не узнает, что случилось с мальчиком и где они его похоронили. Уж он-то плоть от плоти моей, тело его хотя бы принадлежит мне?

Бен все стоял у черного хода для прислуги, когда мальчики, накупавшись, кинулись домой, кутаясь в яркие полотенца, зябко натягивая их на загорелые плечи. Йоханн весело поздоровался с Гордоном, но негр, казалось, даже не заметил его.

3

Гордон был одержим теперь одной мыслью — докопаться до истины. Для этого нужно было время, много времени, и он бросил работу в школе. Бен узнал об этом слишком поздно. Прежде всего предстояло найти следы тех, кто был в толпе в день расстрела демонстрации, — всех, кого удалось бы найти. Трудность заключалась в том, что мало кто вообще мог припомнить что-нибудь конкретное из всей суматохи того злополучного дня. Несколько человек, молодежь и пожилые уже люди, подтвердили, что действительно видели Джонатана среди других подростков в толпе, но что было после, когда открыли стрельбу, никто точно не помнит.

Гордона это не остановило. Первая зацепка была найдена, когда из больницы выписался один паренек, раненный в тот роковой день. Его ослепило залпом, задело глаза. Но он припомнил, как еще до этого Джонатана и нескольких ребят схватили и затолкали в полицейский фургон.

Одного за другим Гордон находил свидетелей, тех, кто видел, как Джонатана забрали и увезли; кто был арестован и вместе с ним побывал в

Главном полицейском управлении на Й. Форстер-сквер. С того момента, однако, показания становились разноречивыми. Одних продержали под замком до утра, после чего отпустили; других перевели, кого в Моддерби, кого в Преторию или Крюгерсдорп. А остальные должны были предстать перед судом. Отыскать следы Джонатана в этой путанице было нелегко. Единственное, что удалось установить, кажется, со всей определенностью, что Джонатана не было среди убитых в самый день «мятежного сборища».

Старательно, кропотливо, как муравей, Гордон трудился над каждой уликой и возводил свой муравейник фактов в ненависти своей и своей любви. Он и сам не знал, что будет делать, когда построит это свое здание обвинения, соберет все, что ему нужно. Как вспоминала потом Эмили, она не уставала ему твердить об этом — ну а потом-то, что потом? Но только он сам не знал или не хотел отвечать. Похоже, тогда была одна цель — собрать улики, что потом — видно будет.

Затем, в декабре, целая группа арестованных, ожидавших суда, была вдруг освобождена. Среди них нашелся один юноша, Веллингтон Пхетла, он сидел в тюрьме, как оказалось, вместе с Джонатаном. И даже после того, как его перевели в

другую камеру, он видел Джонатана на допросах. Веллингтон рассказывал, что люди из СБ, службы безопасности, пытались заставить их дать показания, что это они были зачинщиками «мятежного сборища», поддерживали связь с агентами АНК и получали деньги из-за границы.

Вообще-то Веллингтон неохотно отвечал на расспросы Гордона. В его манере держаться, вспоминала Эмили, было что-то дикое, затравленный человек. Стоило заговорить с ним, он начинал озираться, точно ждал нападения и не знал только с какой стороны. А изголодался он, ну точно зверь, которого долго-долго держали в клетке без еды. Со временем он стал отходить, успокоился вроде. И наконец позволил Гордону записывать, что рассказывал, а дословно следующее:

…что на следующий день после ареста у них отобрали одежду и унесли, и все остальное время их держали раздетыми донага;

…что так, раздетыми, их отвезли однажды днем в какое-то место за пределы города, где заставили ползти под заграждение из колючей проволоки, а полицейские, все чернокожие, подгоняли их дубинками и плетьми;

…что однажды его и Джонатана полицейские допрашивали, сменяя один другого, без перерыва

часов двадцать подряд и что почти все это время их заставляли стоять раздвинув ноги на колодах, поставленных одна от другой на расстоянии около метра, а к половым органам привязывали по половинке кирпича;

…что его и Джонатана чуть что, ставили на колени, руки обматывали велосипедными камерами и накачивали их, пока не потеряешь сознание;

…что однажды, когда его допрашивали в камере у следователя, в соседней камере кто-то кричал на Джонатана и там слышались удары, его били; а ближе к вечеру там раздался страшный грохот, словно швыряли в разные стороны столы или стулья. И еще рыданья Джонатана. Потом они перешли в тихие стоны, и наконец все стихло. Еще он слышал, как кто-то звал Джонатана по имени. А на следующий день он узнал, что Джонатана увезли в больницу, и больше он ничего о нем не слышал.

После долгих, терпеливых уговоров Гордону удалось убедить Веллингтона повторить свои показания под присягой у чернокожего адвоката. Тогда же были взяты письменные показания и у медсестры, которую прислал Стенли Макхайя. Но уборщик, который смывал следы крови в камере

Джонатана, был так запуган, что ни о каких письменных показаниях и слышать не хотел.

По крайней мере начало было положено. Гордон верил, что придет день и он будет знать все, что случилось с сыном с самого его ареста и до той среды, когда они получили извещение, что Джонатан скончался якобы своей смертью. Теперь он разыщет, где он похоронен. Но зачем? Может быть, он задумал тайно выкопать труп и похоронить, как полагалось по обычаю, в умзи вабалеле — городе мертвых, — на кладбище Доорнкоп в Соуэто, рядом с их домом.

Но ничего этого Гордон сделать не сумел. На следующий день после того, как он заполучил письменные показания Веллингтона и медсестры, он был арестован теми же людьми из СБ. А вместе с ним бесследно исчезли и все добытые показания.

4

Единственным белым человеком, к которому Эмили могла обратиться за помощью, был Бен Дютуа. Стенли Макхайя привез ее в своем большом белом «додже». Все четыре урока, которые Бен провел в тот день в школе, она терпеливо прождала у дверей перед закутком секретаря. Это было через две недели после того, как в школе закончились летние каникулы. Прозвенел звонок на большую перемену, когда секретарь в явном замешательстве, всем своим видом показывая, что это не имеет к ней никакого отношения, доложила Бену о посетительнице. Подождав, пока коллеги примутся в учительской за чай, он вышел к ней.

— Что случилось, Эмили? Что вас привело сюда?

— Гордон, баас, хозяин.

Вообще-то говоря, он сразу все понял, но настаивал почти подсознательно, прежде чем поверить, чтобы она рассказала все до конца.

— Так что с Гордоном? Что случилось?

— За ним приехала полиция, и они забрали его.

— Когда?

— Ночью. Я не заметила время. Я так перепугалась, что даже не взглянула на будильник. — Она смотрела на него и теребила черную бахрому шали, расплывшаяся, преждевременно постаревшая женщина с опухшим от слез лицом. Но держалась она прямо и здесь давать волю слезам не смела.

Бен стоял перед ней и молчал. Он не нашелся, как утешить ее, ободрить.

— Мы уже спали, — продолжала она и все теребила бахрому, — А тут грохот, ну просто умереть от страха. Гордон пошел открывать, так они уже вышибли дверь, весь дом заполонили. «Полиция», — сказали они.

— Дальше.

— Ну они так сказали: «Ну-ка, кафр, это ты Гордон Нгубене?» А тут дети от шума проснулись, и младшенький стал плакать. Они не должны были делать такое, хозяин, на глазах у детей, — проговорила она сдавленным голосом. — Не должны. Ведь когда они ушли, видели бы вы моего младшенького, Робертом его зовут. А теперь ведь, после Джонатана, он старшим стал. Я его и так, и эдак уговаривала, успокаивала, все напрасно. Он просто места себе не находит. Ребенок, у

которого на глазах уводят отца, этого ни в жизнь не забудет.

Бен слушал, будто не слышал, и все молчал.

— Весь дом перевернули, хозяин, — внушала ему Эмили. — Столы, стулья, кровати — ну все вверх дном. Коврик скатали, выпотрошили матрацы, ящики из буфета повышвыривали. Ну даже Библию перелистали. Все, все вверх дном перевернули. А потом стали бить Гордона, и все требовали отвечать, где, мол, он прячет какие-то вещи. Но что ему прятать, спрашиваю я вас, хозяин, что?! А потом они вытолкнули его за дверь и сказали: «Поедешь с нами, кафр!»

— И больше ничего?

— Больше ничего, хозяин, баас. Я кинулась за ним с обоими малышами на руках. А у машины один и говорит мне: «Вот-вот, попрощайся-ка с ним, вряд ли еще придется свидеться». Такой высокий, худощавый, я его еще по шраму на лице запомнила, у него вот здесь такой шрам, на щеке. — Она показала где. — Они забрали Гордона. Ну, тут соседи пришли, помогли мне прибраться в доме. Я детей спать уложила. Что теперь с ним будет?

Бен покачал головой.

— Нет, это, должно быть, какая-то ошибка, —

сказал он. — Я знаю Гордона не хуже вас. Они отпустят его. Я уверен, что все будет в порядке, и в самое ближайшее время.

— Нет-нет, из-за этих бумаг не отпустят.

— Позвольте, каких бумаг?

Так Бен узнал о расследовании, которое взялся проводить Гордон и вел все эти месяцы, и о показаниях относительно гибели Джонатана. Но даже и тогда он не придал значения этому аресту — административная ошибка, случайное недоразумение, ничего больше. Властям не понадобится много времени, чтобы убедиться — Гордон честный человек. И он пытался, как мог, успокоить женщину. Она слушала его, но только из вежливости. Он ее не убедил. А себя?

Прозвенел звонок, кончилась большая перемена.

Бен проводил ее до угла, где стояла машина Стенли Макхайя. Стенли, увидев их, пошел им навстречу. Так Бен познакомился с ним. Плотный, тучный даже мужчина, метр восемьдесят росту, не меньше, с животом, распиравшим брюки, бычьей шеей и не то что двойным, а несколькими даже подбородками. Ну точь-в-точь копия вождя зулусов Дингаана, как его показывают в традиционных представлениях из истории прошлого

века. Иссиня-черный. Тем светлее казались ладони. Они особенно бросились в глаза, когда Стенли протянул ему руку со словами:

— Ну, так это и есть твой бур? А, Эмили? Стало быть, это твой белый. — Он сказал lanie — на местном жаргоне.

— Это Стенли Макхайя, — сказала она Бену. — Тот самый, что все время помогает нам.

— Ну, и что вы на это скажете? — спросил Стенли.

Его жизнерадостная толстая физиономия и вся его фигура, избыток плоти, выражали непоколебимое, несмотря ни на что на свете, присутствие духа. А когда он хохотнул еще при этом, Бен вздрогнул: вот человек, который может повергнуть смехом.

Бен отвечал лишь то, что уже сказал Эмили, что им нет причин тревожиться, все это не более как прискорбное недоразумение, и ничего больше. Конечно, ужасная ошибка. Но через день-другой Гордона отпустят. Он абсолютно в этом уверен. Стенли пропустил все это мимо ушей.

— Да что вы такое несете? Слушайте-ка, ведь Гордон из всех людей, может, один мухи не обидел, и теперь мы должны ждать, когда они откроют эту вашу ужасную ошибку? Позор, да и

только. А он еще всегда, бывало, твердил…

— Не нахожу уместным разговаривать в подобном тоне, — одернул его Бен. — Что значит «был, бывало»? Через день-другой он благополучно вернется к семье.

— А я вот что вам скажу, приятель вы наш, если парня заграбастали эти из СБ, о нем только и остается говорить в прошедшем времени. — И он улыбнулся во все лицо.

Он еще махнул на прощание своей ручищей, и они уехали.

В учительской Бена ждал сам директор школы.

— Господин Дютуа, разве вы не занимаетесь, согласно расписанию, в старших классах?

— Да. Прошу извинить, сэр. Я просто должен был встретиться кое с кем.

Директор был плотный мужчина, еще более грузный, чем Стенли Макхайя, но лишенный этой могучести таксиста. Толстяк с паутинкой красно-синих прожилок на щеках и носу. Редеющие волосы. Почему-то, когда ему приходилось смотреть человеку прямо в глаза, на щеках у него начинали перекатываться желваки.

— С кем то есть?

— С Эмили Нгубене. Супругой Гордона. Вы помните, он работал у нас. — Бен поднялся на

ступеньку, чтобы встать вровень с директором, взиравшим на него сверху вниз. — Он, понимаете ли, арестован полицией.

Господин Клуте побагровел.

— Это лишний раз доказывает, что никому из них нельзя верить. Особенно в наши дни, не так ли? Слава богу, мы от него вовремя избавились.

— Это ошибка. Вы не хуже моего знаете Гордона, господин Клуте.

— Тем более. И, простите за каламбур, чем менее мы будем иметь дело с этими людьми, тем лучше. Мы ведь не хотим трепать доброе имя нашей школы, не так ли?

— Но, сэр, — Бен с удивлением уставился на своего принципала, — уверяю вас, произошла досадная ошибка.

— Служба безопасности не ошибается. Уж если они арестовывают кого, то будьте уверены, у них есть для этого все основания. — Он тяжело дышал. — Полагаю, мне не придется больше делать вам замечаний. Вас ждут ученики.

А теперь он один в четырех стенах в своем убежище, и от стены до стены рукой подать, а за стенами ночь. Он не включал верхний свет, довольствуясь ярким пятном, которое бросала настольная лампа. Только-только над городом

прогремела летняя гроза. Теперь гром над головой умолк, слышались лишь отдаленные раскаты. Сквозь клочья облаков на землю причудливо светила луна. Канава все еще урчала под напором обильной воды. На душе было неспокойно. Гроза прошла, а в этой тесной комнате все хранило ее отзвуки, даже темнота почти физически ощущалась в этих четырех стенах.

Бен попытался было отогнать от себя все на свете мысли и сосредоточиться на проверке тетрадей, у него ведь письменная экзаменационная работа за девятый класс. Он повесил пиджак на спинку стула, расстегнул рубашку. Но шариковая ручка так и осталась лежать на первой открытой тетради, а сам он сидел, уставившись невидящим взглядом на книжные полки напротив. Книги, книги. Сколько их. И все до единой он мог бы припомнить и сказать, где какая стоит, даже в темноте. А темноту и тишину нарушал лишь слабый шелест тюлевых занавесок о металлическую решетку, которой от всяких случайностей было забрано окно. И в этой тишине, при свете, отбрасываемом маленьким кружком абажура настольной лампы, все случившееся представлялось нереальным, если не невозможным вообще. Широкое лицо этого Стенли, блестящее от пота,

утробный рокот его голоса, его смех и его глаза, которые не трогала широкая, во весь рот, улыбка. И эта его фамильярность, явно пренебрежительная ухмылка в голосе: «Ну, так это и есть твой бур? А Эмили? Стало быть, это твой белый?» Эмили на ступеньках дома из красного кирпича. В голубой косынке, в длинном старомодном ситцевом платье и черной шали с бахромой. Городская жизнь ничуть не коснулась ее. Холмы Транскея — вот что по-прежнему было всего ближе ее сердцу. Будет ли ее сын спокойно спать этой ночью? Или вместе с другими станет бить окна, поджигать школы и крушить автомобили? И все только потому, что так неладно случилось с его отцом?! Гордон, его щуплая фигура, глубоко залегшие морщины вокруг рта, темный блеск глаз, застенчивая улыбка. *Да, баас.* Шляпа обеими руками прижата к груди. *Я все равно не смогу остановить себя, пока не узнаю, что с ним произошло и где они его похоронили. Его тело принадлежит мне. И потом, почему вы стали говорить о нем в прошедшем времени?*

Сюзан вошла неслышно, и он заметил ее, когда она поставила поднос на стол. Она только что приняла ванну и все еще излучала истому плоти, разнеженной в теплой воде. Свободный

домашний халат. Волосы распущены и падают на плечи. Чуть неестественная, бликами, белизна ее белокурых волос выдавала первое легкое прикосновение седины.

— Ты все еще возишься со своими тетрадями?

— Никак не могу сегодня сосредоточиться.

— Ну а спать ты собираешься?

— Еще минутку.

— Что случилось, Бен?

— Да все этот Гордон.

— Чего ради ты принимаешь это так близко к сердцу?

— Сам не знаю. Наверное, просто устал. Знаешь, ночью все кажется каким-то преувеличенным.

— Выспись по-человечески хоть раз в жизни.

— Ну да, я же говорю. Еще минутку, ладно?

— Господи, да не забивай себе голову, тебя это не касается.

Он даже не взглянул на нее. Глаза были прикованы к красной шариковой ручке, недвижной и угрожающей на нетронутой тетради.

— Читаешь о такого рода вещах, — произнес он отсутствующе, точно в пустоту, — бог знает что слышишь вокруг. И все кажется абсолютно нереальным, пока самого не коснется. Мне и в голову не приходило, что такое может случиться

с кем-нибудь из тех, кого близко знаешь.

— Близко? Не понимаю. Уборщик в школе, с доски стирает. Что у тебя с ним общего? — медленно выговаривая каждое слово.

— Я понимаю. И все равно не перестаешь удивляться, правда? Вот мы с тобой спокойно разговариваем в этой комнате, а он? Где он сейчас? А может, ему нет сна. Может быть, стоит где-нибудь в камере, слепят его там светом, поставили на чурбаки и между ног груз подвесили.

— Ну, знаешь ли, избавь меня хотя бы от этих подробностей.

— Извини, Сюзан. — Он вздохнул.

— У тебя больное воображение. Идем-ка лучше спать.

Он вскинул на нее глаза, пораженный чем-то непривычным в ее голосе. И почти ощутил ласку ее тела. Халат красиво облегал ее. Не часто она так откровенно выражала свои чувства.

— Сейчас. Иду.

Она помолчала. А потом запахнула халат.

— Кофе остынет.

— Спасибо, Сюзан, я не хочу.

Она ушла. И он снова слушал неумолчную капель с крыши. Гроза ушла, оставив после себя только эти мелодичные, отрывистые удары.

Завтра он сам пойдет на Й. Форстер-сквер, решил он. Он с ними сам поговорит. Так велит ему долг перед Гордоном. Короткий разговор, чтобы устранить всякое недопонимание. Ведь все это могло случиться не иначе как по прискорбной, но, значит, легко поправимой ошибке.

5

В самом конце Коммишнер-стрит, когда центр остается позади, стоят щербатые и обшарпанные дома. Облезлые вывески с едва различимими буквами кричат с голых стен о тигровом бальзаме и китайской аптеке. Среди этих разбросанных вперемешку развалин, провалов пустырей, усеянных всяким хламом и битыми бутылками, в самом конце улицы вы упираетесь в здание, здесь совершенно неуместное, — высокую, строгих прямых линий башню из стекла и бетона — голубое и вместе с тем воздушно-прозрачное, как бы пустое внутри. Оно невольно кажется миражем. И миражами мелькают в его стенах машины, проносящиеся за ним по скоростной автостраде М1. Полицейские, слоняющиеся по тротуару с подчеркнуто праздным видом. Кипарисы и алоэ. Стерильная больничная чистота внутри. Строгие, в струнку вытянутые коридоры; открытые двери и открытые взглядам люди, что-то пишущие за столами в своих маленьких кабинетах, и тут же закрытые двери и голые стены. Стоянка машин в цокольном этаже. Здесь же пустой лифт, без кнопок и панели управления. Входите, и он тут же

стремительно возносит на нужный этаж. Глаз телекамеры следит за каждым вашим движением. На верхнем этаже кабина из пуленепробиваемого стекла. Рыжий детина в форме подозрительно оглядывает вас, пока вы заполняете все необходимые графы в бланке.

— Обождите минуту.

Минута, которая тянется целую вечность. Затем эти двести фунтов мышц приглашают вас проследовать через лязгающую стальную дверь, которая тут же за вами закрывается, обрывая все узы, связывающие вас с окружающим миром.

— Полковник Вильюн, посетитель доставлен.

За столом посредине комнаты средних лет мужчина поднялся, рывком отодвинув стул.

— Прошу, господин Дютуа. Здравствуйте, — Дружелюбие на лице. Седые волосы подстрижены ежиком. — Знакомьтесь, лейтенант Вентер.

Это молодой, спортивного сложения тип с темными чуть вьющимися волосами. Он стоит у окна и листает журнал. Одаривает приветливой мальчишеской улыбкой. Форма сафари. Загорелые волосатые ноги. За резинку бледно-голубых гольфов заложена расческа.

Полковник жестом показывает на человека в дверях — капитан Штольц. Этот кивает, но без

улыбки. Высокий, поджарый. На нем спортивный клетчатый пиджак, рубашка оливкового цвета, со вкусом подобранный галстук и серые фланелевые брюки. В отличие от своего коллеги он не делает вид, что занят каким-то там журналом. Стоит, привалившись к косяку, и скучающе играет апельсином: подбрасывает и ловит, монотонно подбрасывает и ловит. А поймав, всякий раз сжимает длинными белыми пальцами, крепко и сладострастно, а его немигающие глаза ощупывают ваше лицо. Он сбоку и сзади, и это нервирует, но именно так поставлен стул, на который показывает посетителю полковник. На столе бросается в глаза фото в рамке: у женщины приятное, хотя и невыразительное лицо, рядом два белокурых мальчика, улыбающихся во весь рот беззубой улыбкой.

— Итак, у вас какие-то проблемы.

— Ничего особенного, полковник. Я пришел поговорить с вами и, если хотите, обсудить дело этого Гордона, которого вы арестовали. Гордона Нгубене.

Полковник заглянул в листок бумаги на столе, тщательно разгладил бумагу рукой.

— Понятно. Что ж, если мы можем чем-нибудь быть полезны…

— Я подумал, что могу чем-нибудь помочь вам. Мне кажется, произошло какое-то недоразумение.

— Почему вы решили, что произошло недоразумение?

— Потому что я знаю Гордона достаточно, чтобы заверить вас… Понимаете, он как раз из тех людей, которые просто не могут совершить что-либо незаконное. Честный, порядочный человек. Богобоязненный.

— Вы будете удивлены, господин Дютуа, узнав со сколькими честными, порядочными, богобоязненными людьми нам приходится иметь дело. — Полковник откинулся на спинку и теперь сидел, покачиваясь на задних ножках стула. — Тем не менее рад, что вы изъявляете желание помочь нам. Могу заверить, что при наличии должного желания помочь нам и с его стороны он весьма скоро будет снова со своей семьей.

— Благодарю вас, полковник. — Хотелось принять все это как должное и вздохнуть с облегчением. Но теперь нашло ощущение, тупое какое-то, смутная надежда, что можно быть откровенным с этим человеком. Глава семейства, как и ты сам. И в жизни насмотрелся всякого, и хорошего и плохого. Может, всего несколькими

годами старше. Вполне вероятно встретить такого человека в церкви, в воскресенье на собрании старост. — Так что же за всем этим кроется, полковник? Должен признаться, что меня буквально потряс его арест.

— Обычная следственная процедура, господин Дютуа. Полагаю, вы правильно понимаете нас — нам приказано, и мы наводим порядок. Прикажут, камня на камне не оставим.

— Конечно. Но если б вы только могли мне рассказать…

— А это история не из приятных, уверяю вас. Нам ведь шагу не ступить, чтобы газеты не подняли крик — убивают! Особенно эти, английские. Им легко наводить критику со стороны, не правда ли? А сами первые поднимут вой, когда коммунисты возьмут верх. Я бы вам порассказал, будь моя воля, какие мы тут вещи раскрыли. Вы хоть какое-нибудь представление имеете, что бы случилось со страной, не займись мы вот так расследованием самых, кажется, незначительных вещей? Мы исполняем свой долг, обязанность перед нацией, господин Дютуа. У вас своя работа, у нас — своя.

— Я понимаю вас, полковник. — А у самого возникло странное чувство, будто его в чем-то

обвиняют, неловкое ощущение, что каждое его слово звучит подозрительно, что в нем ищут тайный смысл. — Но время от времени хочешь убедиться — и именно за этим я здесь, — что в поисках действительных преступников вы не причиняете, невольно конечно же, зла ни в чем не повинным людям.

Тишина в комнате. Забранные решетками окна. Обстановка гнетущая. И тут до него наконец дошло, что дружелюбно улыбающийся курчавый малый в костюме сафари с тех самых пор, как он вошел, не перевернул ни единой страницы в своем журнале. И помимо воли вспомнил, что за спиной еще один, и почувствовал его занывшим затылком, того худощавого в клетчатом пиджаке. И обернулся. Стоит, как стоял, в дверном проеме, привалившись к косяку, и апельсин в механическом ритме прыгает вверх-вниз. Холодные и откровенные глаза. Он словно не спускал с Бена этого своего взгляда темнокарих глаз на таком бледном лице с белым глянцевым рубцом через всю щеку. И внезапно его осенило. Только бы не забыть фамилию. Капитан Штольц. Уж он-то здесь не случайно. И роль знает. Им еще предстоит встретиться.

— Господин Дютуа, — проговорил полков-

ник, — раз уж вы все равно здесь, не откажите ответить на несколько вопросов насчет этого Гордона Нгубене.

— Разумеется.

— Давно вы его знаете?

— О, целую вечность. Лет пятнадцать, шестнадцать, я думаю. И все это время…

— Какую работу он выполнял у вас в школе?

— Нанят был уборщиком. Но поскольку он грамотный, умеет читать и писать, помогал также на складе, ну и где придется. Абсолютно за него ручаюсь. Помню, когда ему случайно выписали лишние деньги, а это было дважды, он тут же принес их…

— Встречались ли вы когда-либо с кем-нибудь из членов его семьи?

Полковник открыл блокнот, взял шариковую ручку, но пока лишь чертил что-то машинальным движением руки.

— Иногда к нам заходила его жена. И старший сын.

Почему вдруг ощущаешь, как сводит челюсти и каждое слово дается с трудом? Откуда такое чувство, словно выбалтываешь что-то самообличающее, а нечто другое скрываешь? За спиной, ты это знаешь, долговязый офицер не сводит с

тебя немигающих, напряженных глаз и все играет апельсином: подбрасывает и ловит, нежно сжимает и снова подбрасывает.

— Вы имеете в виду Джонатана Нгубене?

— Да. — И почти против воли добавил, а в голосе была злость на себя: — Того, что скончался недавно.

— Что вы можете сказать о поведении Гордона Нгубене после смерти сына?

— Ничего. Я его больше не видел. Он уволился.

— И тем не менее полагаете, что знали его настолько хорошо, чтобы за него ручаться?

— Но после стольких лет…

— В разговорах с вами он когда-либо касался смерти сына?

А здесь как отвечать? Чего он от тебя ждет? И, секунду-другую помешкав, Бен ответил лаконичным:

— Нет, никогда.

— Вы абсолютно уверены, господин Дютуа? Если вы действительно так хорошо его знали…

— Не припоминаю. Я же сказал, он был человек богобоязненный. — Господи, почему «был», почему, как Стенли, все вокруг заговорили о нем в прошедшем времени? И даже он сам, Бен. — И я уверен, в конечном счете он заставил бы себя

смириться с этим.

— То есть, вы хотите сказать, поначалу он не желал с этим мириться? Озлоблен был, агрессивен? Ну же, господин Дютуа.

— Полковник, а случись вот так вдруг умереть одному из ваших детей, — кивком головы он показал на фотографию на столе, — и никто вам не мог бы даже объяснить, как это произошло. Вы что же, приняли бы это со спокойной душой?

Совсем другой тон.

— Чем он так импонировал вам, этот Гордон Нгубене, господин Дютуа?

— Ничем особенно. — Чисто подсознательно он опять попытался подавить всякую откровенность. — Время от времени невольно обмениваешься какими-то фразами с человеком, если он рядом работает. Ну ссужал ему ранд-другой, когда он оказывался без денег.

— И платили за обучение его сына?

— Да. Мальчик подавал надежды. Я думал, будет лучше, если он станет посещать школу, чем слоняться по улице.

— Ну а выходит, никакой особенно разницы, а?

— Нет, я этого не думаю.

Что-то искреннее и этакая доверительность

даже прозвучала в том, как полковник, покачав головой, сказал:

— Вот что я отказываюсь понимать. Посмотрите, ну сколько для них делает правительство! А что у них на уме? Как бы спалить да разрушить, что под руку попадется? Хотя в конечном счете сами же из-за этого и страдают. А вы все свое твердите: «Нет, не думаю».

Пожал плечами. Он не знал, что отвечать.

— Согласитесь, ни один белый подросток не повел бы себя таким образом, — настаивает полковник. — Как вы считаете, господин Дютуа?

— Не знаю, как сказать, бывает по-разному. — Он сдерживал негодование, теперь это давалось труднее, чем минуту назад. — Ведь вот если б вы могли выбирать, полковник, каким вам ребенком родиться у нас в стране, белым или черным, ведь выбрали бы белым? — Показалось или вправду за спиной что-то рванулось было? И снова голова сама повернулась в сторону капитана Штольца, который, по-прежнему не шелохнувшись, следил за ним, и только кисти рук заученным движением жонглировали апельсином. Зато на загорелом лице молодого человека у окна с журналом в руках — «Скоп»? — мелькнула улыбка.

— Я думаю, мы более или менее разобрались, —

произнес тогда полковник Вильюн, кладя ручку на разлинованную бумагу, исчерченную закорючками. — Большое спасибо за то, что помогли нам, господин Дютуа.

Поднимался расстроенный, чувствуя себя последним дураком, и вот ведь обнадеженный, несмотря ни на что.

— Значит, Гордон будет скоро освобожден?

— Как только мы удостоверимся в его невиновности. — Полковник встал, с улыбкой протянул руку. — Поверьте, господин Дютуа, мы знаем, что делаем. Кстати, и для вашего же собственного блага. Чтобы вы и ваша семья могли спать спокойно.

Он проводил его до дверей. Лейтенант Вентер сердечно пожал ему руку; капитан Штольц кивнул, не удостоив улыбкой.

— Могу я попросить вас, полковник, еще об одном одолжении?

— Ну конечно же.

— Жена Гордона и дети очень беспокоятся о нем. Нельзя ли разрешить передачи? Ну немного еды, смену белья на то время, пока он будет здесь.

— Здесь кормят достаточно. Что касается белья на смену, то, если они так хотят… — Он пожал

широченными плечами.

— Благодарю вас, полковник. Так я полагаюсь на вас.

— Вы сами найдете дорогу?

— Думаю, что да. Спасибо. До свидания.

6

Озабоченность Бена судьбой Гордона Нгубене постепенно начинала сказываться на его семье, пусть поначалу слегка, почти незаметно глазу. Но покой был нарушен.

Две белокурые его девочки к тому времени давно выросли, повзрослели и обе покинули отчий дом. Сюзетте, всегда бывшей «маминой дочкой», без особых усилий добивавшейся успехов в музыке, балете и сотне других увлечений, придуманных для нее Сюзан, к тому времени уже было двадцать пять или двадцать шесть лет. Она вышла замуж за молодого многообещающего архитектора из Претории, на которого буквально сыпались правительственные подряды провинции Трансвааль на самые престижные проекты. Муж шел в гору. Сюзетта приняла этот ритм. Получив после трехлетнего курса в университетском колледже в Претории степень бакалавра искусств, она закончила еще курс технического дизайна и два года работала в рекламной компании какой-то женской ассоциации. Затем ей предложили место одного из ведущих редакторов в новом шикарном журнале по искусству инте-

рьера. Работа требовала вечных деловых поездок, большей частью за границу, они не оставляли времени для заботы о малыше, которого она к тому времени родила. Это огорчало Бена, и, должно быть, как раз в это время, после очередного ее делового турне по Соединенным Штатам и Бразилии, он достаточно резко выговорил ей на этот счет все, что думает. Как обычно, она только плечами повела.

— Не волнуйся, отец. У Криса столько собственных забот, всех этих конференций и консультаций, что, боюсь, он и не замечает, дома я или нет. А за ребенком есть кому смотреть, вот уж кто вниманием не обделен.

— Но, Сюзетта, когда женщина выходит замуж, она берет на себя определенные обязательства.

Улыбаясь, она состроила на лице снисходительную гримасу. Взъерошила его редеющие волосы:

— Ты безнадежно отстал от жизни, па.

— Ты недооцениваешь своего отца, — сказала Сюзан, внося поднос с чаем. — Он идет в ногу со временем. У него даже новое хобби появилось.

— Интересно какое? — Сюзетта была неподдельно заинтригована.

— Поборник прав политических заключенных. — Сюзан произнесла это холодно и резко,

не то чтобы в открытую насмешку, но с точно отмеренной дозой иронии — сглаживать углы, вот уж этому она научилась за их долгую совместную жизнь.

— Ну, Сюзан, это уж ты слишком! — Он почему-то реагировал на это острее, чем можно было предположить. — Просто мне небезразлична судьба Гордона, и ты прекрасно знаешь почему…

Но Сюзетта расхохоталась, не дав ему договорить.

— Уж не собираешься ли ты мне сообщить, что решил в твои-то годы, папочка, играть в Джеймса Бонда? Или в святого?

— Не вижу в этом ничего смешного, Сюзетта.

— А я так просто со смеху умираю. — Она снова взъерошила ему волосы. — Это не твоя роль, папа. Брось ты это. Оставайся милым старым обывателем, добропорядочным и законопослушным, которого мы так обожали.

С Линдой всегда было значительно легче. Она всю жизнь была «его» ребенком, с того самого времени, как родилась. Сюзан долго хворала и не могла уделять ей материнской ласки. Линда выросла в привлекательную девушку — Лет двадцати к тому времени, — пусть не такой ослепительной красоты, как сестра, зато более

сосредоточенную, самоуглубленную, что ли. А созрев — она перенесла в юности тяжелую болезнь, может быть, это сказалось, — стала глубоко религиозной. Приятная в общении, незакомплексованная, как теперь говорят, она легко ладила с людьми. В праздники, по субботам и воскресеньям, когда только была свободна от занятий в университете, она непременно сопровождала Бена в его утренних пробежках или хотя бы в послеобеденных прогулках. В университете на втором курсе познакомилась с Питером Элсом, много старше ее, он учился на факультете богословия. И вскоре Линда ушла с педагогического, хотя всю жизнь мечтала преподавать, и занялась общественными науками, чтобы, когда придет день, быть наиболее полезной своему Питеру. Бен, собственно, никогда ничего не имел против этого доброго по натуре, но довольно бесцветного юноши, хотя и чувствовал, как в его присутствии он поневоле более сдержан с Линдой, какой-то антагонизм, что ли, возникал при одной мысли, да что при мысли, сама мысль обижала, что он может ее потерять. Питер готовился стать миссионером. Год или два после университета он проповедовал под Преторией среди ндебеле. Но его мечтой было нести святое слово в самую глубь

Африки или на Дальний Восток, спасая души в мире, что, «слепцу незрячему подобный, идет к бездне на стезе своей», к катастрофе. Не то чтобы Бен презирал этот его идеализм, нет. Просто ему казалось все это вычурным, что ли, при одной мысли о тех действительных страданиях, что придутся на долю его дочери. От мысли об этом сжималось сердце.

В отличие от Сюзетты Линда разделяла озабоченность Бена судьбой Гордона. Они с Линдой не вели серьезных дискуссий на эту тему — ведь девочка жила большее время в Претории и дома-то появлялась на конец недели, с женихом своим или без, — просто его воодушевляло ее сочувствие. Помимо всего, она была практична. А на что они живут, и Эмили и дети Гордона, без главы семьи? — вот как она поставила вопрос. И тут же позаботилась об их питании, одежде, плате за квартиру. И точно так же, как Бен, если только не с большей уверенностью, утверждала, сама глубоко убежденная в этом, что в ближайшее время все должно выясниться.

— В конце концов, мы-то знаем, что ничего дурного он не сделал, — сказала она в первый же вечер, как его арестовали. Они с Беном гуляли у озера в зоопарке. — И полиция обязана устано-

вить это очень быстро.

— Знаю. — Хотя, как он ни старался убедить себя в этом же, был настроен мрачно. — Только порой происходят самые неожиданные вещи.

— Они такие же люди, как и мы, отец. И всякий может ошибиться.

— Да, конечно.

— Вот увидишь, как-нибудь на днях они отпустят Гордона. И мы подыщем ему новую работу.

У ее Питера был несколько иной подход и, пожалуй, другое мнение на этот счет.

— Первое, что ему необходимо будет сделать, как только его освободят, — это перейти в лоно голландской реформатской церкви. Все эти секты — самая благодатная почва для всех и всяческих грехов, невесть на что толкающих бедных верующих. Постройте прочный храм веры своей на камне, и беда минует этих людей.

— Честное слово, не думаю, чтобы их проблемы как-то касались церкви, — съязвил тогда Бен, посасывая свою погасшую трубку.

Последним шел Йоханн, желанный сын, родившийся так неожиданно, когда Сюзан и он уже отбросили всякую мысль о том, что у них еще будут дети. Бен был готов баловать его напропалую, но Сюзан была неизменно строга к

ребенку: не будь девчонкой, мужчины не плачут. Господи, ну весь в отца, за ручку води. Ну, давай же, держись, не пристало мужчине кукситься. И он рос живым, здоровым мальчиком. Подающий надежды шахматист. Отличный спортсмен. Вот только какой-то натянутый, как струна. Лошадка, готовая сорваться со старта, только не знающая пока куда.

В ту пятницу Бен и Йоханн вместе возвращались с тренировки. Йоханн набегался до изнеможения и теперь сидел расслабившись и барабанил пальцами по панели у ветрового стекла в такт мелодии, звучавшей у него в ушах.

— Это твоя лучшая тысячеметровка, какую я видел, — от всей души поздравил его Бен. — Ты метров на двадцать обошел этого Куна. И это на следующий день после того, как он у тебя выиграл. Поздравляю.

— В среду у меня было еще лучшее время, на одну и семь десятых секунды лучше. Что ж ты тогда не пришел посмотреть?

— Дела были в городе.

— Что за дела?

— В полицейское управление ездил.

— Да ты что, па? — Сын уставился на Бена — Это зачем же?

— Разузнать о Гордоне.

Йоханн смотрел на него заинтригованный.

— И они что-нибудь рассказали?!

— Нет. И вообще мне все это не нравится.

Какую-то минуту Йоханн молчал.

— Черт возьми, — воскликнул он вдруг, — как странно. Ну работал у нас в саду и все такое. Он мне даже нравился. Он еще сделал мне тележку из проволоки, помнишь? Ей богу, странно.

— А теперь они и его тоже забрали.

— И тебе хоть удалось растолковать им что про что?

— Не знаю. По крайней мере их полковник показался мне человеком разумным. Он обещал, что отпустят его, как только это представится возможным.

— Ты видел Гордона?

— Ну конечно, нет. Как это я мог видеть арестованного, это запрещено. Если уж упрячут за решетку, то… — Он затормозил у перекрестка и, пока не загорелся зеленый, все молчал. И только после того, как тронулись, продолжал: — Хорошо, что разрешили семье приносить ему белье на смену. — И еще прибавил: — Знаешь, я бы не хотел, чтобы мама знала, что я был у них там, а? Это может ей не понравиться.

Йоханн ответил с заговорщической улыбкой, что на него можно положиться.

7

С этого его посещения полицейского управления, собственно, все дело и приняло новый оборот. Дней через десять после того, как Бен передал семье Гордона слово в слово, что обещал полковник Вильюн, некий незнакомец принес Эмили новости. Она тотчас же примчалась с ними к Бену. Человек этот, как оказалось, несколько дней назад был препровожден на Й. Форстер-сквер по подозрению в попытке вооруженного нападения. Когда же было выяснено, что арестован он по ошибке, из-за сходства во внешности, его отпустили. Но он рассказал, что, пока содержался в тюрьме, видел там, мельком правда, Гордона, и был потрясен его видом; тот не в состоянии был ни слова сказать членораздельно, еле передвигался, лицо какое-то серое, распухшее, одним ухом не слышал вообще, а правая рука на перевязи. Не может ли Бен помочь?

Он тут же позвонил в СБ и потребовал, чтобы его соединили лично с полковником Вильюном. Голос на другом конце провода, корректный вначале, тут же изменился, едва Бен изложил полковнику суть дела. В конце, правда, полков-

ник снова обрел едва ли не доверительный тон: «Боже мой, господин Дютуа! Вы что, действительно всерьез воспринимаете все эти россказни? Да поймите же одно: задержанный по обвинению в уголовном преступлении просто не может иметь никаких контактов с другими заключенными. Уверяю вас, что Гордон Нгубене пребывает в добром здравии, — И тут же, через паузу, уже несколько другим тоном: — Я понимаю вашу заинтересованность в этом деле, господин Дютуа, но поверьте, вы отнюдь не облегчаете нам работу. У нас больше чем достаточно своих проблем, и, знаете, капля доверия и доброй воли принесла бы куда больше пользы».

— Вы меня успокоили, полковник, своими заверениями. За этим я и позвонил вам. Теперь я могу передать его семье, что нет причин для тревоги.

— Мы знаем, что делаем. — И тут же почти отеческим тоном: — Господин Дютуа, не подхватывайте вы всякие сплетни, ради вашей собственной пользы послушайте меня.

Он спокойно принял бы все это за чистую монету, если б его не преследовала фигура этого капитана Штольца. Воображение подсказало, как тот слушает сейчас их разговор с непроницаемым лицом, прочерченным шрамом через

всю щеку, мертвенно-белым на белой коже. И хотя Бен постарался, как мог, успокоить Эмили, у самого на душе оставалось тревожно.

А уже неделю спустя эта подсознательная тревога вдруг на голову обрушилась, когда Эмили с детьми понесла Гордону очередную смену белья. Она собралась постирать грязное, что ей вернули, и увидела на нем кровь, а в заднем кармане брюк она нашла три выбитых зуба.

Со всем этим, завернутым в мятую газету, она и примчалась на такси Стенли Макхайя прямо к Бену домой. Бен оказался в затруднительном положении. И не только потому, что Эмили была в состоянии, близком к истерике. Дютуа пригласили гостей к обеду, супружескую пару, друзей Сюзан по работе в Южно-африканской радиовещательной корпорации, нового приходского священника и кое-кого из коллег Бена, включая директора школы. Они как раз садились к столу, когда раздался стук в дверь.

— Там к тебе, — только и произнесла Сюзан, возвращаясь в столовую. А шепотом бросила: — Ради бога, постарайся их немедленно выпроводить. Пора подавать на стол, у меня все остынет.

Стенли был не в пример менее общительным, чем в прошлый раз. Он держался даже скорее

вызывающе, будто обвинял во всем случившемся Бена. От него сильно попахивало спиртным.

И что вообще можно было сделать в такое время, вечером, в пятницу? Единственное, чем он мог успокоить Эмили, это заверением, что тотчас позвонит адвокату домой. Он не знал номера, а тут еще в справочнике оказалось несколько Левинсонов, и только на третий раз он дозвонился по адресу. Бен нервничал, в зловещей тишине ловя на себе взгляды Сюзан, когда беседа за столом прервалась и гости пытались понять, что происходит. Само собой, вечер в пятницу был не лучшим временем для делового звонка адвокату. «Какого черта, — заорал тот, — эго что, не терпит до понедельника?» Но когда Бен вышел к Эмили рассказать о результатах, она сказала: нет и нет. До понедельника, твердила она, Гордона, может, и в живых не будет.

Бен заикнулся было, обращаясь к Стенли, насчет того адвоката из черных, который помог тогда Гордону заполучить письменные показания.

— Не пойдет, — отрезал Стенли с ухмылкой. — Джулиусу Нгакуле три дня как запретили практику. Так-то вот. Нокаут в первом раунде.

Бен хмуро вернулся в гостиную и, избегая взгля-

дов гостей, снова набрал номер. На этот раз Дэн Левинсон просто взорвался.

— Боже мой, я же не врач, который должен быть наготове в любое время дня и ночи. Что им от меня нужно, этим людям?!

— Они не виноваты, — жалко пролепетал Бен в совершенном замешательстве, стесненный присутствием гостей. — Их вынудили к этому. Неужели вы не понимаете, господин Левинсон, что дело идет о жизни и смерти?

— Ну ладно. Ох, господи Иисусе…

— Господин Левинсон, я прекрасно понимаю, насколько неуместно, что я беспокою вас в такое время. И если вы порекомендуете другого адвоката…

— Это еще зачем? Они что, черт подери, мне не доверяют?! Пусть назовут другого юриста, который сделал бы с мое, копаясь с этой заварухой в Соуэто. А теперь подавай им другого адвоката. И это благодарность…

Бену с трудом удалось вставить слово. В конце концов они договорились, что встретятся завтра у него в конторе. Адвокат потребовал, чтобы присутствовали все, кто может оказаться полезным: Стенли, Эмили… И этот человек, который рассказывал, что видел Гордона.

Стенли не ожидал от Бена ничего путного, это было совершенно очевидно. Он стоял, уперев руки в бока, и слушал, пока Бен излагал все это Эмили. Та сидела на ступеньке крыльца и всхлипывала так тихо, что было слышно жужжание москитов, роившихся у веранды.

— Значит, он собирается помочь нам? — сказал Стенли наконец. — Вы что же, все-таки уделали его, стало быть? — Он взорвался громовым хохотом. — Нет, поди ж ты, — красным заплетающимся языком он чуть не по буквам с наслаждением выговаривал каждое слово, — вот уделали, так уж ничего не скажешь. — Он театрально ударил себя кулаком в грудь: — Разрешите пожать вам руку, — и полез к Бену своей ручищей.

Бен нерешительно, но все же подал ему руку. Стенли долго тряс ее: подлинные ли чувства играли в нем или выпитое вино, трудно сказать. Он отпустил его руку так же внезапно, как и ухватил ее, и повернулся к Эмили, помог ей подняться.

— Поехали, тетушка Эмили. Завтра все будет по высшему классу.

Бен стоял и смотрел им вслед, пока огромная машина не укатила с ревом, сопровождаемая лаем собак со всей округи. В столовую он вернулся с тяжестью на душе.

Сюзан вскинула на него глаза и сказала с холодной сдержанностью:

— Твоя порция в духовке. Мы не стали тебя ждать.

— Конечно, конечно. Прошу прощения, господа. — И занял место во главе стола. — Да я и не голоден, к слову сказать. — Он отпил глоток вина из бокала, чувствуя на себе взгляды этих людей, пребывавших в молчаливом ожидании.

Сюзан:

— Ну и как, ты решил их проблемы? Если это, конечно, не секрет? — И не дав ему ответить, сказала, обращаясь к гостям с горькой усмешкой: — Последнее время Бен создает новейшую систему приоритетов. Надеюсь, вы простите его.

Не скрывая раздражения, он ответил ей, что, как ему кажется, он попросил гостей извинить его. И поставил бокал, чуть расплескав вино на белую скатерть. Он перехватил неодобрительный взгляд Сюзан, но оставил его без ответа.

— На днях умер один молодой человек. По крайней мере я пытаюсь не допустить еще одну смерть, — сказал он.

— Ваша супруга уже рассказала нам, — произнес один из учителей, Вивирс. Он преподавал африкаанс в шестом и седьмом классах, впечат-

лительный молодой человек, только что после университета. — Пора кому-то заняться всем этим, что-то надо делать. Нельзя же, право, все время просто отмалчиваться. У нас на глазах рушится вся система, и ни один из нас пальцем не желает шевельнуть.

— А что может сделать один человек против целой системы? — добродушно поинтересовался приятель Сюзан из ЮАРК.

— Отчего же, Бен вот вполне видит себя в роли рыцаря старых добрых времен. — Сюзан улыбнулась. — Разумеется, скорее в роли Дон Кихота, нежели Ланселота, тот хоть совершал подвиги в честь жены короля Артура, а не встречных кухарок.

— Не глупи, — бросил он зло. — «Один против целой системы», не в том дело. Система меня не касается. Я просто делаю, что мне по силам, и только.

— Что же, например? — поинтересовался директор Клуте сварливым тоном, обычным для человека с вечно расстроенным пищеварением. Он бесцеремонно отодвинул стул, встал и пошел к бару наполнить стакан содовой — гости пили вино, он же налегал на бренди с содовой. И, как обычно отдуваясь, вернулся к столу.

— Договорился о встрече с адвокатом на завтра, — отвечал Бен. — Попытаемся заполучить отвод Верховного суда.

— А не слишком ли вы все это драматизируете, что ли? — спросил молодой пастор преподобный Бестер, прибегая к форме добродушного упрека.

— Не думаю, учитывая, что произошло. — И Бен из вежливости, неохотно повторил им историю про кровь и выбитые зубы в заднем кармане брюк.

— Но, Бен, ты же за столом, — запротестовала Сюзан.

— Я только отвечаю на вопрос.

Вивирс, явно расстроенный, не спросив разрешения хозяйки, закурил сигарету, хотя все знали, как Сюзан строга на этот счет, и сказал:

— Как может выжить система, допускающая подобные вещи? Можете вы себе представить, ради всего святого…

— Ни о какой системе я не веду речь, — повторил Бен еще сдержанней. — Я одно знаю: в стране чрезвычайное положение, и нельзя не принимать этого в расчет. Я готов принять и то, что служба безопасности зачастую знает больше, чем мы с вами. Этого я не ставлю под сомнение. Я озабочен лишь судьбой людей, которых знал

лично, только и всего. Не стану уверять, что так уж хорошо знал Джонатана. Уверять, что его не могли втянуть во всякие там незаконные дела, не стану. Но пусть даже так, я оставлю за собой право выяснить, что случилось и почему это вообще могло случиться. Что же касается Гордона Нгубене, я готов за него поручиться. Кстати, кое-кто из вас знал его не хуже меня. — Он посмотрел директору прямо в глаза, — И если уж они начинают воевать с такими, как Гордон, то ясно, что здесь что-то нечисто. Именно это я и пытаюсь выяснить.

— При условии, что вы не станете вмешивать во все это школу, — мрачно пробурчал Клуте. — Мы, педагоги, вообще вне политики.

На него тут же, подобно задиристому щенку, набросился Вивирс:

— Позвольте, а зачем же тогда партия националистов собирала собрание в школе в актовом зале ровно три недели назад? Это разве не политика?

— Это было не в рабочее время, — отрезал Клуте, глотнув как следует из своего янтарного цвета бокала. — И никакого отношения к школе это не имеет.

— Вы, лично вы, представили нам министра.

— Господин Вивирс! — Казалось, Клуте взвин-

чивает себя самого, так он уперся о стол обеими своими пухлыми руками. — При всем моем уважении к вам, разрешите заметить, вы ничего не смыслите в политике. И вообще, в наших школьных делах…

— Поэтому я и хотел получить кое-какие пояснения.

Сюзан тактично постаралась перевести разговор на другую тему.

— А лично я хотела бы знать, кто собирается расплачиваться за все это? Полагаю, не ты?

— Какое это имеет значение, — устало проворчал Бен. — Что положено, уплачу — в чем вопрос.

Приятель Сюзан из ЮАРК пошутил:

— Может быть, их преподобие организует сбор пожертвований?

Посмеялись. И самое опасное, таким образом, осталось позади. А еще через минуту-другую Сюзан и вовсе заставила их забыть о всех спорах, подав изысканный десерт. И когда кто-то снова упомянул в разговоре Гордона, это было принято без всякого напряжения, за столом царило самое прекрасное расположение духа.

— Может быть, полезней было бы в таком случае передать дело в суд, — сказал приходский

священник. — Чрезмерная таинственность никогда до добра не доводит. Уверен, что тайная полиция сама только приветствовала бы это. Я хочу сказать, ведь это даст им возможность доказать собственную правоту, не так ли? Ибо когда все сказано и сделано, а в любом судебном разбирательстве наличествуют две стороны…

— Не тот случай, чтобы разбираться, — не дал ему закончить Вивирс, — и так все яснее ясного.

— Да и кто мы такие, чтобы судить? — вопросил Клуте, откидываясь на спинку стула в блаженном удовлетворении, белая салфетка все еще покрывала грудь и живот и хранила следы всех блюд сегодняшнего обеда. — Как там в Библии насчет того, кто первым бросит камень? А, святой отец?

— Истинно, — согласился преподобный Бестер. — Но не забудьте и то, что Иисус не поколебавшись изгнал менял из храма.

— Ибо Он знал, что нет злобы в сердце Его, — напомнил Клуте, тихонько рыгнув в руку.

Бен с отсутствующим взглядом наполнил бокал.

— Бен, — Сюзан укоряюще показала ему глазами на гостей. — Ты не один.

— Прошу прощения.

— Так что, пустим шапку по кругу? — Клуте

ухмыльнулся.

— Господу одному дано постичь сердца чад Его, — сказал молодой священник.

— И чему быть, — добавил продюсер из ЮАРК, тот, что начал, — того не миновать.

Вивирс взорвался:

— А вот против этого я категорически возражаю. Слишком уж мы ретивы во всем полагаться на бога. Так и будем вечно жить в ожидании, пока все не провалится в тартарары? — Он поднял бокал. — За тебя, оом Бен, — сказал он. — Задай им жару.

И неожиданно вдруг все потянулись с бокалами, излучая доброжелательные улыбки. Ну просто мир на земле, в человецех благоволение, не то что минуту назад. Вздохнув свободно, успокоившаяся Сюзан вновь обрела пошатнувшуюся было уверенность и повела гостей к удобным креслам в холле. Кофе, прошу вас, и рюмочку мандаринового ликера.

И только через час, когда гости ушли, когда свет в доме был потушен и они остались вдвоем в спальне, она, снимая перед зеркалом косметику с лица, позволила себе сбросить и маску этой своей салонной вежливости.

— Надеюсь, ты понимаешь, что чуть было не

испортил вечер? — произнесла она.

— Извини, Сюзан. — Он расшнуровывал туфли. — Ну все ведь вроде бы обошлось.

Она не удостоила его ответом. Подавшись вперед, Сюзан накладывала на щеки крем. Ночная рубашка открывала взгляду ее плечи, а в зеркале ему были видны нежные овалы ее груди. Сам того не желая, почувствовал, как в нем пробуждается нежность к ней, и тут же отогнал от себя эту мысль. Сегодня, он понимал, она ему не ответит нежностью.

— Чего ты добиваешься, Бен? — спросила она вдруг, с явной решимостью не оставлять все это так. Она бросила вату в корзинку рядом с туалетным столиком и взяла кусочек чистой. — Чего ты, в самом деле, хочешь? Скажи. Я должна знать.

— Ничего. — Он застегивал свою полосатую пижаму. — Я тебе уже говорил, просто старался помочь людям. Теперь дело за законом.

— Ты хоть соображаешь, во что ты позволил себя втянуть?

— Ох, перестань же нудеть! — Он расстегнул пуговицы на брюках, и они упали к ногам, звякнула пряжка пояса. Поднял и сложил брюки, повесил их на спинку стула. Натянул пижамные штаны.

— Помочь?! Именно таким образом? Почему

ты не посоветовался сначала с кем положено в полиции? Уверена, они тут же объяснили бы тебе что к чему.

— Я там был. Опоздала с советом.

У нее безвольно упала рука, Сюзан смотрела на него в зеркало.

— Ты ничего не рассказывал мне.

Он только пожал плечами и пошел в ванную.

Она окликнула его:

— Почему ты не сказал мне об этом? Почему?

— А что, это меняет дело?

— Я твоя жена.

— Ну, не хотел тебя огорчать. — Он уже чистил зубы и отвечал из ванной.

Она пошла за ним. И теперь стояла, опершись о косяк двери. И с нехарактерной для нее настойчивостью сказала:

— Бен, все что мы создали с тобой за эти годы… Бога ради, ты убежден, что все это не пойдет прахом?

— Что, черт возьми, пойдет прахом?

— Мы хорошо живем. Пусть у нас нет всего, что могло бы быть… Мы могли бы иметь больше, будь у тебя хоть капля честолюбия. Но ладно, у нас есть какое-никакое положение в обществе.

— Послушать тебя, мне по крайней мере грозит

тюрьма, не иначе.

— Просто не хочу, чтобы ты совершал опрометчивые поступки, Бен. Обещай мне.

— Обещаю. Но как я могу допустить, чтобы людей, которых я столько лет знаю…

— Да, да. — Она вздохнула. — Но только будь осторожен. Я прошу тебя. Вот уже скоро тридцать лет как мы женаты, а мне иногда кажется, что по-настоящему я тебя так и не знаю. В тебе есть что-то, к чему я просто не готова.

— За меня не беспокойся.

Он подошел к ней, взял в руки ее лицо и коснулся губами лба.

Сюзан пошла к туалетному столику, села. Вытянула шею и принялась массировать кожу на шее.

— Мы стареем, — сказала она вдруг.

— Да. — Он лег в постель, подвернул ногами одеяло. — Последнее время я все чаще и чаще думаю об этом. Как это ужасно, состариться, по сути, так и не живя.

— Так уж все плохо?

— Нет, наверное. — Он закинул руки за голову и лежал, смотрел на ее спину. — Похоже, мы просто измотались сегодня. Ладно, не сегодня завтра все наладится.

Но когда выключили свет, как он ни устал за день, сон не шел. Голова пухла от виденного, слышанного. Старое тряпье, завернутое в газету, что перед ним вывалили. Брюки в крови. Выбитые зубы. Он почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Перевернулся на другой бок, но стоило закрыть глаза, как все накатывалось снова. В глубине дома раздались какие-то звуки, он приподнял голову, прислушался. Дверца холодильника. Йоханн. Рыщет в поисках еды, может, пить захотел. В сознании близости к нему хотя бы сына было что-то тревожное и вместе с тем успокаивающее. Он опустил голову на подушку. Сюзан заворочалась в своей постели, вздыхая. Он прислушался к ее дыханию, но так и не понял, спит она или нет. Его окружали темнота и безмолвие ночи, беспредельной и бесконечной, — ночи с камерами в тюрьмах, тающими в сумеречном свете, залитыми светом, и с мужчинами в них, стоящими на колодах…

Апелляция по поводу судебного запрета чуть было не сорвалась, когда человек, якобы видевший Гордона в управлении полиции на Й. Форстер-сквер, отказался давать на этот счет письменные показания, убоявшись того, что может с ним произойти, если будет установлена

его личность как свидетеля. Но такими уликами, как окровавленные брюки и эти выбитые зубы, адвокату удалось вооружить своего помощника довольно убедительными доводами, и апелляция была подано судье днем в ту же субботу. Последовало судебное постановление, предостерегающее службу безопасности против оскорбительных действий или плохого обращения с Гордоном Нгубене. К следующему четвергу полицейскому управлению было предписано дать письменные объяснения, опровергавшие апелляцию. И сам судья г-н Рейнольдс недвусмысленно дал понять, что относит дело к числу представляющихся ему весьма серьезными.

Однако на официальном слушании дела, состоявшемся на следующей неделе, положение коренным образом изменилось. Служба безопасности представила свои показания: одно от полковника Вильюна, категорически отвергавшего вообще какие бы то ни было попытки угроз и тем более оскорбления действием относительно задержанного; другое от мирового судьи, накануне посетившего Гордона и удостоверившего тот факт, что означенный арестованный выглядит и содержится нормально, здоров и не предъявил никаких жалоб по поводу обращения

с ним; третье от окружного хирурга, показавшего, что на прошлой неделе он был приглашен в полицию осмотреть Гордона, после того как тот пожаловался на зубную боль. Он удалил три зуба, и, насколько мог судить, арестованный был в абсолютно нормальном состоянии.

Адвокат, получивший до ведения дела в суде все нужные инструкции от Дэна Левинсона, заявлял один за другим самые убедительные протесты против той обстановки секретности, в которой с самого начала велось дело, указав и на пагубные последствия в виде неизбежных и нежелательных для властей слухов. Однако судья недвусмысленно отклонил протесты, как основанные лишь на предположениях и домыслах, и, следовательно, у него не оставалось иного выбора, как отказать в судебном иске. Неудовлетворенный рядом аспектов дела, как они ему действительно представляются, заявил судья, он в свидетельствах, представленных суду, не усматривает тем не менее убедительных доказательств неподобающего обращения должностных лиц с арестованным. В судебном иске он отказывает.

Больше об Эмили не было ни слуха.

Недели через две Бен как-то оказался дома в совершенном одиночестве, Сюзан уехала в свою

ЮАРК записывать очередную пьесу, Йоханн был на спортивных соревнованиях в Претории. От нечего делать он включил радио: «…Арестованный на основании Закона о преступных сборищах некто Гордон Нгубене был найден сегодня утром мертвым в своей камере… Согласно заявлению представителя службы безопасности, заключенный покончил жизнь самоубийством, повесившись на веревке, собственноручно сделанной им из одеяла…»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Первый раз в жизни он ехал в черный пригород Соуэто. В Софасонке-Сити, как называл его Стенли. Он сидел рядом с ним, уверенный мужчина в темных очках с огромными круглыми стеклами, сигарета, прилипшая к нижней губе, клетчатая кепка набекрень, полосатая рубашка, яркий широченный галстук, темные брюки и белые туфли. Они ехали в его громадине «додже» с наклеенной на капоте всем напоказ огромной розовой бабочкой. На руль была натянута перчатка красно-желтой лентой, а в центре вместо кнопки сигнала он смастерил из плексигласа полусферу с изображением блондинки в соблазнительной позе. С зеркала заднего вида свисала пара игрушечных боксерских перчаток. Сиденья он обтянул чехлами из овчины, но ядовито зеленого цвета. Радио было включено на полную громкость, обрывки дикой музыки перемежались отрывочными комментариями диктора из «Радио-банту».

Придорожной закусочной «У дядюшки Чарли» кончался город. Дальше, до самого горизонта, лежал местами бледно-желтый или серо-ко-

ричневый, выгоревший наголо вельд, каким он бывает на исходе лета, блеклый и унылый под таким же однообразным, скучным небом. Над пригородом висело грязно-серое облако, сплошной темной тучей заволакивавшее всю округу. Не было ни ветерка, что разогнал бы дым тысяч труб от печей и печурок, которым скармливали вонючий и дымный уголь.

— Сколько вы наездили на этой машине, Стенли? — спросил Бен, просто чтобы не молчать. Хозяин «доджа» с самого начала не одобрял эту поездку и был угрюм.

— На этой? — Стенли поерзал на сиденье с видом величайшего удовлетворения. — Три года. До этого у меня был «бубези». Ну, «форд». А только «додж» лучше. — И сладострастным жестом погладил полусферу на рулевой колонке.

— Нравится сидеть за рулем?

— Работа.

Сегодня из него с трудом приходилось слова вытягивать. Всем своим видом он давал понять: «Вы меня уговорили, а только я все равно не одобряю эту поездку».

— Вы давно в таксистах? — терпеливо допытывался Бен.

— Спокоен веку, lanie, — опять только на этот

раз без умысла, употребляя это свое высокомерно-презрительное словечко. — Засиделся. — И тут же объяснил: — Жена покою не дает, все уши прожужжала: бросай, мол, пока кому-нибудь не придет в голову пришить тебя на повороте. — Резким жестом левой руки, как это принято у цоци, он показал, как это делается. «Додж» чуть вильнул в сторону.

— Почему? Разве это опасно, водить такси?

Стенли только и издал короткий свой смешок.

— Скажите лучше, белый человек, что не опасно, — На стеклах его темных очков мелькнул яркий зайчик. — Да нет, все дело в том, что это ведь не обычное такси. Понятно? Я же пират.

— А почему нельзя делать это по закону? — Бен ничего не понимал.

— Так куда выгодней. Поверьте мне на слово. И скучать некогда. Если не хочешь поститься, а хочешь, чтобы всегда хрустела кредитка-другая в заднем кармане, то и приходится рисковать. Ясно? — Он повернулся к Бену и оглядел его сквозь свои круглые темные очки. — Да что вы-то понимаете во всем этом, lanie? Белый и есть белый.

Насмешливый, агрессивный тон этого верзилы нервировал Бена; похоже, Стенли его ни во что не ставил. А может быть, это что-то вроде испы-

тания? Тогда с какой стати?

Прозаичные краски, серый день. Они держались каждый сам по себе, не то что в прошлую их встречу тогда, поздним вечером, который теперь, по прошествии времени, казался почти нереальным.

Во-первых, в тот вечер объявили по радио эти новости. Странное ощущение от сознания того, что ты один во всем доме. Сюзан нет, Йоханна нет — никого, кроме тебя. До этого он работал у себя в «убежище» и только около девяти пошел на кухню поискать что-нибудь поесть. Он поставил чайник и сделал себе бутерброд с маслом. В буфете нашел банку сардин. И больше так, для компании, что ли, включил транзистор, программу новостей. Стоял, прислонившись спиной к буфету, когда-то собственными руками сделанному для Сюзан, прихлебывая чай и ковыряя сардину в банке маленькой десертной вилочкой. Сначала музыка. Потом новости: «…арестованный на основании Закона о преступных сборищах некто Гордон Нгубене…» Диктор давно закончил, а он так и стоял с пустой наполовину банкой сардин в руке. Такое чувство, словно тебя поймали за чем-то неприличным. Он поставил банку и долго вышагивал по дому,

из комнаты в комнату, без всякой цели, включая и выключая свет. Зачем, почему? И этот ряд пустых комнат стал сам по себе целью, точно он проходил через себя самого. Вот комната его сознания, вот переходы и закоулки собственных артерий, желез и дальше через нутро… Вот в этой комнате спали Сюзетта и Линда, пока не упорхнули из дому, два милых белокурых создания, которых он купал и укладывал вечером спать. Играл в черепаху, играл в лошадок, рассказывал сказки, хохоча шуткам и чувствуя на затылке их горячее и доверчивое дыхание, на лице их мокрые детские поцелуи. А после постепенное, шаг за шагом, отчуждение, высвобождение, пока не ушли каждая своей дорогой. Комната Йоханна — сплошной беспорядок, хаос увлечений, свидетельство полного смешения вкусов: стены, обклеенные картинками гоночных автомобилей, фотографиями исполнителей поп-музыки и кинозвезд, вырезанными из журналов; полки и шкафы, уставленные моделями аэропланов и деталями каких-то механизмов, каркасами радиосхем, камнями, скелетами птиц, серьезными книгами вперемешку с комиксами и номерами «Скопа», спортивными призами; где попало брошенными грязными носовыми платками и

носками, битами для крикета и теннисными ракетками, и масками для подводного плавания и бог знает еще чем. Первозданный хаос, в котором Бен чувствовал себя чужим. Спальня, его и Сюзан. Две кровати, разделенные маленькими одинаковыми тумбочками, а еще несколько лет назад тут стояла двуспальная кровать; фотографии детей; на туалетном столике Сюзан в строгом порядке ее косметика. И единственное, что против образцового порядка, — это бра, давно оторвавшееся и оставленное, как повисло, на спинке стула. Холл, столовая, кухня, ванная. Он чувствовал себя чужаком из далекой страны, прибывшим в город, все население которого вымерло от чумы. Все атрибуты жизни на своих местах, как были, не тронуты, несчастье не пощадило лишь живого, ни одной живой души. Он был один во всем непостижимом пространстве. И только потом уже, когда он вновь вернулся в свой кабинет, даже это убежище показалось чужим, принадлежащим не ему, но некоему другому, совсем чужому человеку. В комнате, где он был не хозяином, а незваным гостем, он снова вернулся к прерванным мыслям.

Завтра, подумал он, приедет Эмили просить совета или помощи. Он должен что-то предпри-

нять. Но в голове была абсолютная пустота, ни малейшего представления, с чего начать. И когда на следующий день она не приехала, он просто вздохнул с облегчением. И в то же время не давало покоя другое чувство, точно его отстранили от чего-то важного. Хотя отлично понимал всю нелогичность таких доводов — что он мог сделать? Чего ради должен был делать? Да и что от него требовалось? Что он вообще знает, строго говоря, о жизни Гордона? Только что тот работал в школе? Ничего больше, а последние годы тот и вовсе был в стороне, и его это ничуть не тревожило. Так почему должно выбивать из колеи сейчас?

Он позвонил адвокату. Разумеется, юрист не может ничего предпринять без инструкций от членов семьи. Повесил трубку. Почувствовал себя и вовсе в идиотском положении. Помимо всего прочего, посторонний, так надо понимать?

Он даже набрал телефон службы безопасности, но, услышав голос на другом конце провода, тут же положил трубку. Похоже, Сюзан была права, когда упрекнула его за скверный характер. Вот он повздорил с Йоханном из-за того, что тот пренебрегает обязанностями по дому. На душе было неспокойно.

Затем настал вечер, когда к нему явился Стен-

ли Макхайя. Испугавшись, Сюзан не стала даже открывать парадную дверь, когда тот постучал, а велела ему идти к черному ходу, сама бросилась в кухню и постучала в окно, как обычно, когда Бена просили к телефону или просто он был ей зачем-нибудь нужен.

Бен поднял голову на стук, а Стенли уже стоял на пороге его «убежища», непривычно тихий для такой громадины. Вечер был жаркий, и дверь оставалась распахнутой настежь. Бен вздрогнул от этого неожиданного явления и в первую минуту даже не узнал его. Давно стемнело, но тот был в темных очках. Шагнув в комнату, он, правда, вздернул их на лоб. Сюзан еще барабанила в кухонное окно: «Бен, как ты там, все в порядке?» Он раздраженно выглянул в дверь, да успокойся же! И некоторое время он и Стенли молча оглядывали друг друга, чувствуя каждый неловкость и настороженность.

— А Эмили не с вами? — спросил наконец Бен.

— Нет, она прислала меня.

— Как она?

Стенли пожал своими буйволиными плечами.

Бен неуклюже сказал что-то насчет того, как ужасно все, что случилось.

— Ну, положим, мы прекрасно знали, к чему

дело идет. Разве нет?

Эта бесцеремонность не понравилась Бену.

— Как вы можете так говорить? Лично я все это время надеялся…

— Вы белый. — Словно этим все сказано. — Вам легко надеяться. По обыкновению.

— Вот уж не вижу никакой разницы, белый или черный, уверен…

— Не очень-то уверяйтесь. — И его дьявольский хохот на миг сотряс крохотное пространство комнатенки Бена.

— Когда похороны? — Бен постарался, как мог, вежливо переменить тему разговора.

— Не раньше воскресенья. Мы еще тело не получили. Говорят, завтра или послезавтра.

— Могу я чем-нибудь помочь? Ведь похороны это такие хлопоты, расходы. Прошу без церемоний.

Тот отмахнулся.

— Все сделано.

— Но ведь расходы… Все это дорого стоит.

— У него страховка была. Да и братьев оказалось довольно.

— Позвольте, я не знал ни одного.

— Да вот он я, один из них. Глядите. Мы все ему братья. — Снова он разразился вдруг неожи-

данным и неуместным хохотом, от которого, казалось, задрожали стены.

— Когда они сообщили Эмили все это? — спросил Бен, скорее, чтобы прекратить этот оглушающий рев.

— А никогда. — Стенли повернулся и сплюнул в открытую дверь.

— То есть вы хотите сказать, они не прислали даже извещения?

— Она по радио узнала, как и все мы.

— Что?!

— …На следующий день позвонил адвокат. Фараоны сказали, что, мол, извиняются, не знали, где ее найти.

Наступила тягостная тишина. И тут, сообразив, что они как стояли, так и стоят на ногах, он через силу заставил себя быть гостеприимным и показал гостю на одно из двух кресел, которые утащил сюда из дома, когда Сюзан купила новый гарнитур для холла.

• — Садитесь.

Стенли тут же опустился всем своим грузным телом в кресло, обитое ситцем в цветочек.

Бену снова пришлось нарушить молчание. Он встал, чтобы взять с письменного стола свою трубку.

— Прошу извинить, сигарет вам предложить не могу.

— Ладно. Свои имеются.

Потом Бен поинтересовался, зачем Эмили прислала его.

— У нее есть ко мне просьба?

— Ничего особенного. — Стенли сел, нога на ногу, одна штанина задралась, открыв красный носок. Белые туфли, красные носки. — Мне тут по дороге было, вот она и попросила заскочить. Просто сказать, чтобы вы не беспокоились.

— Боже мой, чего ради ей-то в ее положении взбрело в голову заботиться обо мне?

— А понятия не имею. — Он ухмыльнулся и пустил дым колечками.

— Стенли, как вы познакомились с Гордоном и его семьей? Вы давно дружите? Почему, когда нужна помощь, они обращаются именно к вам?

Смешок.

— У меня же машина, разве не понятно?

— Не вижу связи. При чем тут машина?

— А при том, что в ней все дело, lanie, — Снова это словечко, точно глиняный шарик, выстреленный мальчишкой из трубочки, без промаха бьющий между глаз. А Стенли уселся поудобнее. — Если у человека, как у меня, такси, он

всегда к месту. Как говорится, к вашим услугам. В любое время. Ну, скажем, нарвался там на хулиганов чей-то благоверный. Вы подбираете его и везете домой или там в больницу. Или выручить кого надо, если застукают. То же самое, пожалте. Или там парень лишнего набрался в пивной. Или дама ищет себе провожатого, а без машины-то, — он сложил пальцы в кукиш, — ищи, вот найдешь! Шлюха. Понятно, что говорю? Ты на месте. Пожалте. Ну берешь их, слушаешь, как они в жилетку плачутся. Ты им и банк, когда где ссудишь до завтра, — он потер пальцем о палец, — и так всю дорогу, говорю вам. Если у тебя такси, ты первым знаешь, когда там ищейки облаву готовят, можешь предупредить своих ребят. Каждую полицейскую дубинку знаешь, а заодно и сколько ей надо заплатить. Где, как говорится, соснуть можно, а где затаиться. Все самогонщики наперечет. Нужна кому stinka, так он прямо к тебе, а?

— Stinka?

В веселом изумлении, хотя и чуть пренебрежительно, он секунду во все глаза глядел на Бена, а потом расхохотался.

— Ну удостоверение личности. Domboek. Паспорт.

— И давно вы знакомы с Гордоном?

— Да тыщу лет. Когда еще Джонатан вот таким был. — Он показал рукой на фут от пола. В его словах, громовом хохоте таилось, подобно тени, нечто недосказанное.

— Вы тоже коса?

— Иисусе Христе, за кого вы меня принимаете? — Снова рев. — Мы зулу, белый. Ужели нет различия? Мой отец привез меня из Зулуленда еще ребенком. — Он заговорщически подался к Бену, погасил окурок. — Слушайте-ка, белый. На этих днях я отправлю туда обратно детишек. Здесь, в городе, малышам не место.

— Если б я мог своих собственных детей увезти отсюда, пока они были маленькими, — с чувством произнес Бен. — Совсем по-другому сложилась бы вся их жизнь.

— Как это? — Стенли не понял, — Это ж место ваше собственное. Разве нет? Ваш город. Ваших рук. А?

Бен покачал головой, нет. И какое-то время сидел, молча разглядывая трубку в руке.

— Нет, это место не по мне. Там, где я вырос… — он усмехнулся, — мне, знаете ли, было четырнадцать лет, когда я первый раз в жизни надел башмаки. А так только в церковь разрешалось. Видели бы вы мои ступни, какие они были

от вечной беготни за овцами по вельду.

— Мальчишкой я тоже смотрел за скотиной, — ухмыльнулся во весь рот Стенли, показывая свои крепкие белые зубы. — Мы такие еще сражения затевали в вельде, когда на водопой скотину гнали.

— И мы устраивали бои, стреляли из глиняных трубочек шариками.

— И лепили глиняных быков. И жарили черепах на костре.

— И грабили птичьи гнезда, змей ловили.

Они расхохотались, сами не зная чему. Что-то изменилось, и произошло то, что еще каких-нибудь несколько минут назад казалось невозможным.

— Ну по крайней мере нам обоим пока повезло. Выжили и в городе, — произнес наконец Стенли.

— Похоже, вам повезло больше моего.

— Разыгрываете?

— Ничуть, — сказал Бен. — Думаете, мне было легко приспосабливаться?

Стенли сардонически ухмыльнулся и умолк. Чтобы скрыть неловкость от сказанного, Бен спросил, не хочет ли Стенли кофе. И поднялся.

— Я пойду с вами.

— Нет-нет, не беспокойтесь. Сидите, пожалуй-

ста. — (Про себя думал: Сюзан…) — Я на минуту. — И, не дожидаясь, тут же вышел. Шел по мягкой под ногами, пружинистой лужайке. Сегодня он стриг газоны, и в ночном воздухе стоял сочный запах свежескошенной травы. По счастью, Сюзан была в ванной. Бог миловал, подумал он.

Когда чайник закипел, он на секунду замешкался. Подать в чашке из нового сервиза, купленного Сюзан в качестве парадного, или налить в старую? Первый раз в своей жизни он принимал дома черного гостя. Раздосадованный собственной нерешительностью, он беспомощно открывал и закрывал дверцу буфета. В конце концов взял две старые чашки, первые, что под руку попались, блюдца, которыми давно никто не пользовался. В чашки отсыпал по ложке растворимого кофе, залил кипятком. Поставил на поднос молоко, сахар и, чувствуя себя почти преступником, с виноватым видом поспешил прочь из кухни.

Стенли стоял у книжного шкафа, спиной к двери.

— А вы, стало быть, историю преподаете?

— В некотором смысле, да. — Он поставил поднос на край письменного стола. — Прошу.

— Так. — И, хохотнув и не скрывая вызова, Стенли поинтересовался: — И чему же она научила

вас, эта ваша история?

Бен дернул плечом.

— Пшик, — сам себе отвечал Стенли, поворачиваясь к своему креслу. — Знаете почему? А все потому, что вы, белый, воображаете, будто история творится там, где вы стоите, и больше нигде. Что бы вам прошвырнуться со мной в один прекрасный денек? Я вам как есть покажу, на что она взаправду похожа, история. Без прикрас. Дерьмовая, как эта жизнь. Сами понюхаете. Махнем ко мне в Софасонке-Сити, здесь, неподалеку. Не хотите?

— Хочу, Стенли, — мрачно отвечал Бен. — Я должен видеть Гордона, пока его не похоронили.

— Незачем это. Я ведь вообще.

— Нет-нет, вы идете на попятную. Сами только что сказали: я должен побывать там. Мне надо увидеть Г ордона.

— Не из приятных зрелище. Знаете, вскрытие там и все такое.

— Прошу вас, Стенли.

Стенли пристально поглядел на него, оценивая. Потянулся за чашкой, положил себе четыре ложки сахара.

— Благодарствуем, — произнес, прихлебнул кофе. И тут же с ухмылкой: — А ваша жена, знаете,

даже дверь мне открыть не захотела.

— Ну, время позднее. И потом, она вас не знает. Вы должны понять…

— Не надо извиняться, ладно. — Стенли засмеялся и расплескал кофе на блюдце. — Думаете моя жена открыла бы кому среди ночи? — Он громко прихлебывал кофе. — Ну, исключая, конечно, gattes. Фараонов то есть.

— И вас действительно не беспокоит полиция?

— Почему же. — Он снова хохотнул. — Они скучать не дадут, поверьте мне, а только я знаю, как с ними ладить. Но это не значит, что они меня оставили с миром. Среди ночи, в любой час. Такто. Иногда черт те чего ради лезут. Я не жалуюсь, не подумайте. Наоборот, — (с улыбкой во все лицо), — наоборот, прямо-таки все внутри полегчает всякий раз, как они наведаются. От благодарности. Я к чему, какого дьявола говорю? Ведь мы, ну я, жена, детишки, до сих пор за решетку почему не угодили? Только их заботами. — Он помолчал, долго вглядывался через открытую дверь в темноту, словно увидел там что-то интересное. Потом повернулся к Бену: — Не помню, сколько тому лет назад — я помоложе был, горячий парень. Сами понимаете, каково это, когда мать вдовая, отец умер, сестра водит компании с гангстерами,

а брат… — Он сделал большой глоток. — У меня брат был самый что ни на есть отпетый, так-то. Он был моим героем, я так вам скажу. Я ему во всем подражал, Коротышке, значит, и всей его банде. За пример брал. А потом они и его взяли. Сцапали в один прекрасный денечек.

— За что?

— Скажите лучше, за что не взяли. Разбой. Вооруженное нападение. Изнасилование. Даже убийство. У нас о таких говорят roeri guluwa[3].

Бен отвел глаза и смотрел в темноту все сгущавшейся ночи. Но только там ему представлялись не картины, каким ухмылялся Стенли.

— А потом?

— Веревка, что еще.

— Вы хотите сказать?..

— Да. На шею.

— Простите.

— А вы спрашиваете «за что?», — Стенли снял очки, вытер слезы на глазах от хохота. — Да вам-то зачем это?

Бен потянулся за пустой чашкой, поставил ее на поднос.

— Я ходил навестить его, понимаете ли, —

---

[3] Примечания: 3

Длинноствольное ружье, мушкет. *(африкаанс). Здесь:* отпетая голова.

неожиданно заключил Стенли. — За неделю до того, как его вздернули. Ну просто сказать прости-прощай, да будет тебе земля пухом и все такое. Толковали о том о сем. Хорошо так поговорили. Странно все-таки. Понимаете, вот уж кого не назвать было разговорчивым, так это Коротышку. А тут ну просто генеральная уборка по всем статьям. Больше двадцати лет прошло, а я слово в слово все помню. Сопли да слезы. Про жизнь в тюрьме. И смертельный ужас. И это-то мой бандит братец, который огонь и воду прошел и ни черта в жизни не боялся… Рассказывал, как приговоренные у них молятся п ред тем, как быть повешенными. Без сна и отдыха всю последнюю неделю напролет. Даже последним утром, когда ведут на виселицу, и то с псалмами — ведь идет человек. В штаны наделал, а псалмы поет. — Стенли умолк, вроде почувствовал неловкость от того, что вдруг разоткровенничался. Грубо выругался. — А! Что прошло, то быльем поросло. А только из тюрьмы я подался к матери и все ей рассказал о нашем разговоре. Она стояла в мбавула, в хибаре нашей, будь она проклята, где мы тогда жили, овсянку варили, и все кашляла от дыма — когда примус зажжешь, так от дыма не продохнуть. Сел я, сижу и смотрю на нее, на

жестянку с керосином, накрытую газетой, на примус, ведро на полу, фотографию вождя нашего крааля на стенке. Под кроватью картонки, чемоданы напиханы, не поймешь, на чем матрац держится — на кирпичах, что вместо ножек, или на скарбе нашем. Она и говорит: «Ну как там наш Коротышка, в порядке?» А я ей: «Полный порядок, ма, лучше не бывает». Ну мог я ей сказать, что его на следующей неделе повесят?

Потом они долго сидели молча.

— Еще кофе? — спросил Бен, чтобы не молчать.

Стенли поднялся.

— Нет, спасибо. Мне пора.

— Дадите мне знать, когда похороны?

— Если хотите.

— И тогда возьмете меня с собой в Соуэто?

— Я ж вам говорю, без пользы это. Неужели не понятно? Там кругом беспорядки, вы что, забыли? Не ищите себе неприятностей. Ваше тут дело сторона, так и оставайтесь в стороне.

— Как вы не можете понять, что я должен?

— Ну, мое дело предупредить, белый.

— Ничего не случится. Я ведь с вами.

Какое-то время Стенли не спускал с него жесткого взгляда, смотрел ему прямо в глаза. Затем бросил грубо:

— Тогда ладно.

А через день они поехали. Миновали старые Королевские копи, и возле электростанции Стенли свернул с автострады, и теперь они петляли по грязным проселкам, прорезывавшим пустыри на месте заброшенных рудников. «Смотри в оба за патрульными машинами, они здесь круглые сутки рыщут».

Ощущение чего-то абсолютно чужого с первого же взгляда на ряды одинаковых кирпичных строений. Не просто совсем другой город. Совсем другая страна, другие мерки, совершенно иной мир. Дети, копающиеся на грязных улочках. Машины и останки машин в тесных задних двориках. Цирюльники, предлагающие услуги на углах улиц Пустыри, лишенные признаков зелени, курящиеся кучи мусора и гоняющие среди них мяч мальчишки. То и дело на глаза попадались уродливые скелеты сожженных автобусов и сгоревших зданий. Впереди белого «доджа» мчалась стайка ребятишек, хохочущих, размахивающих руками, точно не было вовсе никаких следов побоища на каждом шагу и вообще ничего не случилось. Группы полицейских в полевой форме патрулировали улочки, магазины, пивные бары, школы.

— Куда теперь, Стенли? — спросил Бен.

— Здесь недалеко.

Они спустились разбитой гудронной дорогой вниз по холму: по обе стороны осыпавшиеся кюветы были завалены ржавыми консервными банками, картонными коробками, бутылками, тряпьем, ненужным хламом — и у длинного низкого строения, побеленного известкой, остановились. Здание походило на гараж, на вывеске было выведено в две строки:

ОТСЮДА В ВЕЧНОСТЬ
БЮРО ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

У входа старик на четвереньках натирал мастикой ступеньки, действуя щеткой и коленями, подложив под них грязную тряпку. В длинном узком желобе для стока нечистот, по лодыжки в грязной жиже, замерли, едва подкатил «додж», мальчишки, похожие на деревянные изваяния, и так и стояли, не шелохнувшись, выпучив глаза, глядя на выходивших из него мужчин. У крыльца в пыли валялись искореженные велосипедные рамы.

Стенли сказал что-то по-зулусски старику на крыльце, и тот, не отрываясь от дела, показал на дверь, забранную сеткой. Но прежде, чем они

подошли, дверь отворилась, и в ней показался черный человечек с тоненькими, сложенными как для молитвы ручками, он весь походил на богомола. Безукоризненно одетый — белая сорочка, черный галстук, черные брюки и черные же туфли без шнуровки на босую ногу.

— Мои соболезнования, сударь, — просипел он без выражения, даже не подняв глаз.

После недолгого объяснения со Стенли их пригласили войти. В этих холодных, суровых, выбеленных стенах не верилось, что там, за ними, есть солнце. Козлы для гроба посредине залы, больше ничего, пусто.

— Я не все еще закончил, — произнес гробовщик своим сиплым шепотом. — Но если вы будете добры…

Он повел их на задний дворик, они зажмурились от яркого, слепящего солнца. Здесь их взору предстали уставленные в штабеля гробы, большей частью из сосновых досок, едва оструганных, наспех сколоченные; другие, полированные, более дорогие, с блестящими медными ручками, были накрыты брезентом.

— Сюда, пожалуйста.

Человечек открыл железную дверь в неоштукатуренной кирпичной стене. На них пахнуло

ледяным холодом. Он пропустил их и закрыл дверь. И они сразу точно провалились в ледяной мрак. Одинокая лампочка в круглом плафоне чуть мерцала желтым светом на потолке, сквозь матовое стекло ярко-белым светилась лишь нить накаливания. Приглушенно гудел двигатель холодильной установки. Там, за стенами, оставались солнце и дети. Но это было далеко и неправдоподобно.

Перед ними проход. По обе стороны на металлических нарах трупы. Бен посчитал. Семь. Словно это было важно. Он почувствовал тошноту. Но заставил себя смотреть, не отвел глаз. Слева три и четыре справа. Изо ртов и ноздрей торчали ватные тампоны, темные от крови. Все нагие, исключая двух, обернутых коричневой бумагой. Эти, пояснил Стенли, уже опознаны родственниками.

Остальные неизвестны. Старуха с костлявым лицом, без единой морщинки на туго обтянутом кожей черепе, и груди, просто обвисшие складки кожи, только и угадывались по крупным и сморщенным на манер черепашьих головок соскам. Юноша с рваной раной на виске, глазница со стороны раны пустая, открывавшая взгляду красное нутро черепа. Слева поверх этих лежала

совсем юная девушка с неправдоподобно живым лицом, словно мирно спала, закрыв рукой свою почти детскую еще грудь. А ниже, от пояса, все представляло собой сплошное месиво, осколки костей вперемешку с черной запекшейся кровью. Тучный, горообразный труп. Женщина. С топором, так и застрявшим в черепе. Хрупкий старик с нелепым каким-то пучком белой шерстки на голове, медными кольцами в ушах, с выражением задумчивой сосредоточенности на лице, словно размышлял: нет, не вынести мне, что на меня навалили.

Гроб стоял на полу. Убранный с показной роскошью, обтянутый белым атласом, с латунными узорчатыми накладками поверх. В нем лежал Гордон, несообразный, нелепый какой-то, в черном воскресном костюме, с руками, скрещенными на груди. Они почему-то напоминали птичьи лапки, не руки. Лицо серое, неузнаваемое, так изменились у него черты, левая половина и вовсе искажена, черно-фиолетовая. Череп после вскрытия сложили кое-как, он смещался рубцом. И словно выпятили высокий воротничок сорочки, а он не закрывал резаный шрам на горле, под подбородком.

Теперь поневоле поверишь. Теперь он видел

собственными глазами. И все равно это оставалось непостижимым. Он должен был заставить себя даже сейчас, когда стоял над гробом, поверить, что это был Гордон, что это его усохшая круглая голова, что это он, этот жалкий прах в воскресном костюме. Он искал, за что бы ухватиться, взывал к памяти, которая подсказала бы разуму все, что не укладывалось в голове, и не мог ничего найти. И он чувствовал досаду, почти раздражение, когда пришлось опуститься над гробом, досада усугубилась тем, что он потерял равновесие в присутствии этого старика гробовщика и Стенли, покачнулся.

Солнце сияло, когда они вышли на воздух. Они не перемолвились ни словом. Стенли поблагодарил старого богомола, и они пошли по узкой улочке вокруг этого побеленного известкой строения туда, где детишки прыгали через сточную канаву. И тут же эти похоронные услуги, отсюда и в вечность, показались каким-то лишенным здравого смысла, неестественным воспоминанием, плодом больного воображения. И в то же время чем-то неотвратимым, что теперь будет преследовать, как нечистая совесть под этим буйным солнечным светом, где жизнь идет своим чередом, суетная и бесстыдная в своем плодо-

родии. Смерти, в ярости подумал он, попросту не должно быть места. Быть побежденным ею в такой вот летний день, когда весь мир в цвету и плодах земли, абсурд.

Они сели в машину, захлопнули дверцы. Стенли поглядел на небо, промолчал. Машина рванула с места и снова понеслась замысловатым путем по едва приметным проездам между одинаковыми домами, такое было ощущение, точно они просто кружили вокруг одного и того же места. Кирпичные стены в рекламах. Доски для афиш и объявлений с облезлыми обрывками бумаги. Мальчишки, гоняющие мяч. Цирюльники. Обломки машин и обуглившиеся развалины зданий. Куры. Мусорные кучи.

Дом Эмили ничем не выделялся среди всех остальных в ее пригороде, Орландо-Уэст. Цемент, рифленая жесть, палисадник, упрямо отстаивающий свои права у пыльной улицы. Стены внутри увешены старыми календарями и картинками на библейские темы. Потолка нет, над головой рифленое железо крыши. Обеденный стол, стулья, пара керосиновых ламп, швейная машинка, транзисторный приемник. Она в окружении близких друзей, преимущественно женщин, тут же без звука расступившихся, едва вошли они со

Стенли. На полу играли дети.

Она подняла глаза. Она не узнала Бена, может, от яркого света солнца, ворвавшегося в открытую дверь, а может быть, вообще думать не думала увидеть его здесь. Она смотрела на него пустыми, ничего не выражавшими глазами.

— О, мой баас, — выдохнула она наконец.

— Я был в бюро, попрощался с ним, Эмили, — сказал он, стараясь держаться прямо, это у него как-то неуклюже получалось, он не знал, что делать с руками.

— Доброе дело. — Она опустила голову, черный платок закрывал ее лицо. А потом снова посмотрела на него безжизненным взглядом. — Зачем они убили его? — спросила она. — Он ничего им не сделал. Вы же знали Гордона, баас.

Бен беспомощно обернулся, ища глазами Стенли, но этот верзила стоял, как вошел, в дверях, о чем-то шепотом переговаривался с одной из соседок Эмили.

— Они вот говорят, он, мол, сам повесился, — продолжала Эмили тихо, монотонным голосом, таким безразличным. — Но когда они утром привезли его, я пошла обмыть. Обмыла его как положено, баас, всего, я ведь жена ему. Я видела одного, что повесился, нет, не похож Гордон на

того. — Молчание. — У него же изломаны все косточки, баас. Его словно грузовик переехал.

Он тупо глядел на нее, а одна из женщин сказала:

— Пусть господин не думает, что Эмили хочет его обидеть, она оттого, что душой страдает. Что мы скажем, ну, которые здесь с ней сегодня? Нам еще повезло. Они и моего мужа взяли, в прошлом году это было. Ну продержали тридцать суток и выпустили. Полиция была добра к нам. Мы не в осуждение.

И другая женщина, с телом и грудью земли-родительницы:

— У меня семь сыновей, господин, а только пятерых нет дома. Одного за другим бог прибрал. Одного цоци убили. Другого ножом пырнули на футбольном матче. Третий на поезде служил, упал, и его колесами переехало. Один умер на рудниках. Одного забрала полиция. Но у меня еще двое осталось. И вот я говорю Эмили, что она должна быть счастливой, что дети-то с ней сегодня. Смерть всегда с нами.

Зашикали на мальчика, влетевшего вдруг со двора. Он тут же замер, увидев чужих.

— Роберт, поздоровайся с господином, — приказала Эмили, не повышая голоса. — Он был у

твоего отца. — И, повернувшись к Бену: — Это Роберт, он у меня старший. Сначала был Джонатан, теперь он.

Роберт попятился, на лице обида и гнев.

— Роберт, — повторила она, — скажи господину «добрый день». Поздоровайся.

— Не стану здоровья желать всякому вонючему буру, — выпалил он и метнулся в дверь.

— Роберт, — пробормотал Бен растерянно вдогонку, — мне хотелось бы помочь тебе.

— Идите к черту! Сначала убиваете, а потом хотите помочь. — Он был сейчас похож на змею, готовую ужалить, охваченный безнадежностью и весь в безудержном гневе и ярости своих шестнадцати лет.

— Но я не имею никакого отношения к его смерти.

— Какая разница?

Черный священник, старик, до того тихо несший слово мира своим прихожанам, тут бросился, отстранив женщин, к юноше и мягко взял его за руку. Но Роберт с неожиданной силой рывком высвободился, стряхнув руку пастыря, кинулся сквозь толпу людей, собравшихся на похороны, и исчез на улице. В воцарившейся неловкой тишине в комнате слышалось теперь

лишь назойливое жужжание осы, бившейся в оконное стекло.

— Morena[4], — произнес старик священник и прищелкнул языком, — не держите гнева на мальчика. Наши дети не понимают. Они видят, что происходит, и стали подобны осам, когда тронешь их гнездо. Но мы, прожившие жизнь, рады, что вы пришли. Мы не отводим глаза.

У Бена звенело в ушах. Чудно все как-то. Рассудок остро воспринимал все, что происходит, а самого его словно не было здесь. Сбитый с толку, абсолютно чужой здесь, незваный гость в чужом горе, которое ему тем не менее отчаянно хотелось разделить, он стоял и не отрываясь смотрел на женщину в центре комнаты.

— Эмили, — произнес он и вздрогнул от собственного голоса в этой тишине, нарушаемой лишь жужжанием осы, отгороженной окном от родной стихии, — вы должны сказать мне, если что-нибудь будет нужно… Пожалуйста, обещайте мне, что скажете.

Она смотрела и словно не слышала.

— Morena, вы добры к нам, — сказал священник.

---

[4] Примечания: 4

Уважительное обращение к старшим по положению *(язык зулу).* Соответствует английскому «сэр», а также «хозяин».

Сам не зная зачем, автоматически, Бен сунул руку в карман брюк и вынул бумажку в десять рандов. Положил ее на стол перед ней. На него все тут же уставились, все женщины, собравшиеся в комнате. Их взоры были обращены на него, словно нарочно, чтобы только не замечать зеленой бумажки на клеенчатой скатерти. И когда он, попрощавшись, оглянулся на них, прежде чем переступить порог, оглянулся почти с мольбой, они все так и стояли, застыв, точно на семейной фотографии.

В огромном «додже», раскалившемся на солнцепеке, было как в духовке, но Бен вряд ли вообще что-либо замечал. Даже группа подростков на углу, выкрикивавших что-то в его адрес и потрясавших кулаками, когда он выходил из дома, — даже это едва запечатлелось в сознании. Он захлопнул дверцу и сидел, уставившись в ветровое стекло на бесчисленные ряды одинаковых домишек, как мираж трепетавших в раскаленном воздухе. Стенли заерзал рядом, давая о себе знать.

— Ну белый? — прогудел он. Опять это: lanie.

Бен стиснул зубы.

— Теперь домой? — спросил Стенли. И не спросил, собственно, не было никакого вопроса в том, как он это сказал, скорее, осуждение.

Не в состоянии что-либо объяснить, в ужасе от одной мысли, что все это кончилось так неожиданно, вдруг и до такой степени бессмысленно, Бен попросил только остановиться где-нибудь, где можно просто посидеть и отдохнуть.

— Конечно, коли хотите. Только мы для верности рванем куда подальше, а то как бы вот эти недоростки камнями мне машину не забросали. — Он показал кивком головы на молчаливую и оттого еще более грозную фалангу парней на углу.

Не теряя времени, Стенли рванул с места задним ходом, свернул в первый попавшийся переулок, не снижая скорости, так что покрышки взвизгнули. Далеко за спиной вслед им что-то кричали, в зеркале заднего вида мелькали фигуры с распростертыми руками, выделывавшие в пыли движения какого-то странного танца. И еще неслось неистовое кудахтанье насмерть перепуганных кур, в последнюю секунду выпорхнувших из-под колес. Стенли с хохотом кивнул ему головой.

Снаружи дом Стенли ничем не отличался от всех остальных на его улице. Похоже, он решительно ничем не хотел привлекать к себе внимания. Внутри, однако, он был обставлен не

в пример лучше, чем у Эмили, даже с претензией на вкус, хотя и ничем не примечательный. Натертый линолеум, мебель из магазина Левиса, горка с выставленными напоказ блюдами и всяким до блеска начищенным медным великолепием. На серванте большой поднос, разрисованный райскими птицами, и кассетник для портативного магнитофона, на нем пустая кассета с изображением Ареты Франклин.

— Виски?

— Для меня это слишком крепко, вообще-то говоря.

— Сейчас в самый раз будет. — Стенли, ухмыльнувшись, пошел в кухню — слышно было, как с кем-то там пошептался, — и тут же вернулся с двумя стаканами. — Льда нет, извините. Этот проклятый керосиновый холодильник опять забарахлил. Ну, будем!

От первого глотка Бена чуть передернуло, второй ничего, пошел легче.

— Вы давно… здесь… живете? — спросил он неловко, не к месту.

Стенли язвительно усмехнулся:

— Теперь вам как раз только разговоры разговаривать. Какое, к черту, это имеет значение?

— Мне интересно.

— Понял. Дай в твои козыри заглянуть, я свои после покажу. Так, что ли?

— Когда вы зашли ко мне вчера, все ведь хорошо обошлось, — отвечал Бен, виски придало ему смелости, — так почему же сегодня вы держитесь так сухо? Чего ради вы играете со мной в кошки-мышки?

— Я же говорил, лучше было вам не приезжать.

— Но я хотел. Я должен был. — Он посмотрел прямо в глаза Стенли. — И я приехал.

— И вы воображаете, что-то изменилось?

— Конечно. Не знаю что, но это было важно сделать. Необходимо.

— Не очень-то вам понравилось, по правде, что вы увидели, а?

— Я поехал не за тем, чтобы мне что-то нравилось. Я должен был увидеть Гордона. Можете вы понять?

— Ну и что же? — Стенли сидел, вглядываясь в него, как могучий, исполненный ярости орел на краю своего гнезда.

— Увидел. Собственными глазами. Теперь я знаю!

— Что знаете-то? Что он не кончал самоубийством?

— Да. И это тоже. — Бен поднял свой стакан, теперь уверенней, чем прежде.

— А что это вам дает, белый? — За вызывающим тоном, каким это было сказано, в его глухом голосе теперь слышалось что-то другое — почти откровенное нетерпеливое любопытство. — Что за заботы о Гордоне? Такого рода вещи случаются ведь сплошь и рядом.

— Потому что его я знал. И потому что… — он не знал, как выразить это, но и умалчивать ничего не хотел. Поставил стакан, посмотрел Стенли в глаза, — сомневаюсь, знал ли действительно что-нибудь вообще до этого. А если и знал, то, казалось, какое это имеет отношение ко мне лично. Все это… ну, как обратная сторона Луны, что ли. Даже если знаешь о ее существовании, нет никакой необходимости считаться с этим в реальной жизни. — Молчание. Подобие улыбки. — А теперь вот люди там высадились.

— И что, вы вправду считаете, будто теперь не сможете жить, как прежде?

— Именно это мне и надо было установить. Неужели непонятно? — Теперь был раздражен Бен.

Стенли молча разглядывал его какое-то время, словно выслеживал нечто на лице, только еще откровеннее, чем прежде, изучая. Бен оглянулся.

Все было как в детской игре, кто кого переглядит, только это была не игра. Они молча подняли стаканы.

Потом Бен спросил:

— Кто-нибудь из близких присутствовал при вскрытии?

— Ну да. Я позаботился, чтоб там был их знакомый врач, ну, что их пользует. Сулиман Хассим. Целую вечность знаем его, еще с тех пор, как он приехал с дипломом из Витватерсранда. — Скривил губы, прибавил: — Хотя ничего это не гарантирует. Эти буры, они арканить мастера.

— На суде от этого никому не отвертеться, Стенли, — настойчиво произнес Бен. — Наши суды завоевали себе хорошую репутацию.

Стенли оскалился в улыбке.

— Вот увидите, — сказал Бен.

— Больше, чем покажут, не увидим. — Стенли поднялся с пустым стаканом в руке.

— Как это понять?

— А никак. — Стенли вышел. Из кухни крикнул: — Попомните мои слова! — Он вернулся в комнату со стаканом в одной руке, с бутылкой в другой. — Подлить на донышко?

— Нет-нет, спасибо.

— Слушайте, будьте мужчиной. — И, не разду-

мывая, щедро налил Бену в стакан.

— Нужно помочь Эмили, — сказал Бен.

— Не беспокойтесь, я за ней присмотрю. — Стенли залпом выпил половину и добавил беззаботно: — Теперь ей придется оставить жилище, а?

— Почему?

— Потому что так водится. Она теперь ведь что? Вдова.

— Но куда же ей деться?

— Чего-нибудь устроим. — И с озорной ухмылкой: — Мы на этом деле собаку съели.

Бен внимательно поглядел на него и покачал головой.

— Хотел бы я знать, Стенли, что у вас сейчас на душе.

— И-и… И не заглядывайте. — Он просто скорчился от хохота. И все в этой своей обезоруживающей манере.

— Как вы все это выносите? — спросил Бен. — Как вам удается избегать неприятностей?

— А вот я вам сейчас расскажу как.

Он вытер рот тыльной стороной руки, поглядывая выжидающе на Бена, готов ли тот слушать и понять, не отвлекают ли его невнятные, но назойливые голоса из кухни, ребячьи крики за окном

и собачий лай. По улочке на бешеной скорости промчался автомобиль.

— Это еще когда они забрали моего брата, — сказал он вдруг без всякой связи, — я решил, не пойду я кривой дорожкой, вовсе не было у меня желания кончить, как он. Ну, и нанялся я садовником в Боонсенс. Неплохие люди попались, комнатенку мне дали в пристройке на дворе. И все шло распрекрасно. Я даже себе подружку подцепил. Она на соседней улице няней служила. Имя у нее было Нони, а ее все Анни звали. Прелестная девушка. Ну и стал я ночи у нее коротать. И вот однажды стук в дверь, а она и не заперта. Хозяин. Раскричался и плеткой нас, плеткой. И так он нас отделал — я на четвереньках с кровати сполз в чем мать родила. — Похоже, он вспоминал все это теперь не больше как забавное происшествие, потому что сам же и посмеивался, рассказывая. — Ну я тут же, пока он меня до черты не довел, очистил помещение, — Стенли плеснул себе в стакан, Бен свое еще не выпил. — Приятель, я что скажу: в ту ночь я усвоил кое-что, о чем до сих пор понятия не имел. Что я сам себе не хозяин. Моя жизнь не моя, а принадлежит моему белому баасу. Это он заботится, где мне работать, он велит, где мне быть, а где нет, и что я должен

делать, а чего не должен — все, одним словом. Он меня в ту ночь всего по косточкам перебрал. Но не это главное, это еще куда ни шло. Другое. Сознание, что никогда я не буду человеком в своем собственном праве. А раз так, первое — это стать свободным. Вот я и начал ее искать, свободу. Нашел работенку на рынке, на подхвате поначалу. Потом прикопил денег, долю себе откупил, стал в пригороде торговать вразнос, по субботам и воскресеньям, пока собственную лавку не открыл в Диепклоофе. Но это не увлекало, пресно все это. Заполучить солидный капитал да выкарабкаться из мелюзги этой, заправилой стать. Чтоб все как у людей, вот ведь другие-то, им и работы — проверить мою приходно-расходную книгу да себе процент с прибыли взять. Это ли не свобода? Ну, в общем сложились мы, все вроде меня ребята, и купили машину. Через год я себе на собственную заработал. И назад уже не оглядывался.

— Теперь вы сам себе хозяин?

Стенли смущенно уставился на свои ботинки, стряхнул рукой пыль с носков.

— Точно, — сказал он. — А только не заблуждайтесь на этот счет, детка. Хозяин? Ровно настолько, насколько мне позволяют мои белые хозяева. Улавливаете? — Он выругался. — Ну ладно, я на-

учился понимать что к чему и не ждать чуда: оно все равно на нас не свалится. А мои дети, с ними-то как быть? Я вас прямо спрашиваю. А как насчет детей Гордона? Как насчет этих малолеток, что шли на нас с кулаками там, по улочке? А они просто не могут больше. Это вы можете понять? Они знать не знают, чему там жизнь научила таких, как я. А может, они и знают? Может быть, они лучше нас с вами? Кто знает. Лично я одно скажу, началось что-то огромное и страшное, а чем кончится, черт подери, никто не знает.

— Вот почему я и должен был приехать, чтобы увидеть собственными глазами, — тихо сказал Бен.

— Ну, на дорожку, — сказал тогда Стенли, выпил и налил себе еще. — Пора. Пока народ с работы не повалил. Тогда я уж ничего не гарантирую. — Несмотря на грубоватый тон, весь он как-то помягчал, почти ничего не осталось от былого Стенли, вызывавшего своей бесцеремонностью неприязнь. А жест, каким он коснулся плеча Бена, когда они поднялись и пошли, говорил о вконец восстановленном товариществе и доверии.

Весь обратный путь по лабиринту домов-близнецов они проехали молча, и это молчание у

обоих было исполнено — за всеми событиями этого дня, залитого солнцем, которое, казалось, никогда не зайдет, — одним: перед глазами стоял образ Гордона, высохшего и изувеченного, Гордона в этом гробу в холодном зале морга, с серыми пальцами рук, сложенных на узкой груди. Остальное спуталось, перемешалось в памяти и казалось несущественным. А то осталось. И еще ноющее, как боль, ощущение чего-то неотвратимого, надвигавшегося на них. Они промолчали всю дорогу до дома.

У изгороди из усыпанного ярко-оранжевыми ягодами боярышника Стенли затормозил. Он сказал:

— Больше я сюда не ездок. С вами. Они вас живо возьмут на прицел.

— Кто? На какой прицел?

— Неважно, — Он вынул из кармана пустую коробку от сигарет, нащупал в ящике для перчаток шариковую ручку и нацарапал номер телефона. — Вот, на случай, если понадоблюсь. Не застанете, скажите, что передать. Фамилии не называйте, просто скажите, звонил, мол, lanie. Ладно? А то напишите. — Он нацарапал и адрес, улыбнулся. — Пока. Не беспокойтесь. Нет причин.

Бен вылез из машины. «Додж» тут же рванул с места. Бен обошел дом и открыл ажурную железную калитку с почтовым ящиком на ней. И в тот же миг все это показалось ему совершенно чужим. Нет, не то, чего он успел насмотреться за весь длинный, вконец выбивший его из колеи день, а его сад, и дождевальные установки на газоне, и его дом, белые стены под крышей из оранжевой черепицы, и окна его дома, и полукруг веранды, и его жена, появившаяся в дверях. Словно он видел все это первый раз в жизни.

2

Похороны. Бен хотел непременно присутствовать, но Стенли отказал наотрез. Могут быть неприятности, отрубил он. Так оно и случилось. Гордона мало кто знал при жизни, а смерть его вызвала вспышку настоящей ярости, какой он и представить себе не смог бы. Тем более что это произошло почти вслед за историей с Джонатаном. Было такое впечатление, точно весь пригород ухватился за эти похороны, чтобы выразить все свое чувство тревоги, и замешательства, и накопившейся за эти месяцы долго сдерживаемой страсти, и стремления к полному и неизбежному очищению. Да что там черный пригород. Письма и телеграммы шли от людей, которые еще неделю назад и слышать не слышали ни о каком Гордоне Нгубене. Эмили, желавшая похоронить его тихо и без шума, оказалась в центре общественной шумихи. Фотография, где она сидит в своей кухне и смотрит невидящим взглядом на свечу, обошла все газеты и получила не одну международную премию.

«Уорлд» продолжала уделять этому особое внимание. Скоро д-р Сулиман Хассим, присут-

ствовавший при вскрытии от имени семьи покойного, стал известен не меньше, чем сам Гордон Нгубене. И хотя, следуя инструкции службы безопасности, д-р Хассим отказался давать какие бы то ни было интервью для печати, тревожные подробности продолжали выплывать на страницы газеты «Уорлд», затем «Дейли мейл», и тут же стоустая молва передавала их в качестве достоверных фактов, несмотря на категорические опровержения со стороны самого министра. Ко всем пожелавшим принять участие в похоронах обращались с самыми настоятельными призывами всемерно содействовать тому, чтобы похороны прошли без инцидентов. Однако в то же самое время на видных местах давно публиковались и сообщения об усиленных нарядах полиции, стягивавшихся в Соуэто со всего Витватерсранда. И в воскресенье пригород напоминал военный лагерь, кишевший бронетранспортерами и танками и отрядами подразделений по охране общественного порядка, вооруженными автоматическими винтовками. Местность патрулировали вертолеты.

С раннего утра сюда потекла людская река. Впрочем, пока все было спокойно. Чувствовалось, что люди напряжены, но никаких инциден-

тов — если не считать того, что служба охраны общественного порядка задержала под Преторией автобус, следовавший из Мамелоди. Пассажирам было приказано выйти, их прогнали сквозь строй полицейских, обрушившихся на людей с дубинками, хлыстами, ружейными прикладами. Было что-то невозмутимо-спокойное в том, как это делалось: откровенная неподдельная ожесточенность, не искавшая ни предлога, ни извинений. Это была система, тщательно отработанная, спокойная, точная. После чего автобусу было разрешено следовать в Соуэто.

Отпевание длилось долго. Молитвы, псалмы, речи. Вопреки очевидному напряжению умов скорбная сдержанность, и только. После похорон, однако, уже к вечеру, когда с кладбища потекли толпы совершить ритуал омовения рук в доме покойного, полиция попыталась отсечь поток. Несколько молодых парней принялись швырять камни, попали в полицейский фургон. Тогда и началось. Сирены. Слезоточивый газ. Ружейные залпы. Наряды полиции пустили в ход дубинки. Собаки. Дальше больше. Едва в облаках слезоточивого газа усмирялась толпа в одном квартале, где-нибудь поблизости возникала новая стычка. Так продолжалось, пока не опустилась ночь,

расцвеченная, точно иллюминацией, горящими зданиями — горели административный комплекс Управления по делам банту, винный погреб, школа в Мофоло. Не считая опрокинутых и горящих автомобилей. Всю ночь, постепенно утихая, продолжались мелкие стычки. Однако, едва рассвело, все, по утверждениям газет, было взято «под контроль». Так и осталось тайной число раненых, отправленных в больницы и приюты по всему Йоханнесбургу; часть просто исчезла в лабиринте домов. Официальное число убитых — четверо. Удивительно, если принять во внимание размеры беспорядков.

Старший сын Эмили Роберт ночью исчез. И прошло больше недели, пока он подал о себе весть. Письмо пришло из Ботсваны. Эмили с оставшимися двумя детишками перебралась в их маленькую кухню и сидела там, измученная, ошеломленная всем случившимся, перед фотографией Гордона, убранной увядшими цветами. А на кладбище в Доорнкопе гора венков покрывала холмик, под которым лежал не известный никому маленький человек, в честь которого так неожиданно разразилась эта буря.

На следующий день появилось сообщение, что д-р Сулиман Хассим арестован на основании

Закона о внутренней безопасности.

3

Пример воссоздания самое себя — капля воды. Капля держится силой инерции, равновесием центробежных и центростремительных сил. Утрачены они, и, набухшая под собственной тяжестью, она отрывается; или же, по закцну поверхностного натяжения, целое не дает ей расплескать себя, когда, кажется, оно уже переполнило свои пределы и должно вылиться через край. Тогда, готовая пролиться, она не проливается и продолжает держаться, вопреки закону земного притяжения, пытается сохранить себя до последнего. И новое состояние не приходит легко и естественно, но лишь когда преодолено внутреннее ее этому противодействие.

Испытанием на прочность для Бена был арест д-ра Хассима. Но даже после этого он старался держаться в рамках благоразумия. Первое, что он сделал, это позвонил Стенли.

Таксиста дома не оказалось, но женский голос обещал передать все непременно. Как передать, кто звонил? Просто скажите ему, что звонил lanie, белый то есть.

Тот откликнулся во вторник днем. Бен копался

в гараже, где единственно находил себе убежище, и, не в пример прежнему, допоздна торчал теперь там среди своих стамесок, пилочек, молотков и сверл.

— Lanie? — Стенли не назвался, но Бен сразу узнал его низкий голос. Да и никто больше не обращался к нему с этим жаргонным «lanie», одинаково означавшим «белый», а у него теперь и «дружище». — Что случилось?

— Нет, нет, ничего. Просто хотелось поговорить с вами. Найдется минутка?

— Я вечером буду у вас поблизости. Давайте в восемь вечера, годится? Могу подсадить у гаража, ну помните, где тогда у поворота на вашу улицу останавливались? До скорого.

По счастью, Сюзан собиралась куда-то на собрание, Йоханн пропадал по своим школьным делам, так что хоть с ними объясняться не надо было. Белый «додж» уже дожидался его, когда он добрался до этого гаража, Стенли поставил его неприметно за бензоколонкой. Под низким навесом от раскаленного за день асфальта удушающе пахло бензином. Красная точка, мерцавшая в водительском окне, выдавала Стенли, спокойно покуривавшего в кабине.

— Ну так что еще приключилось?

Бен устроился на заднем сиденье, оставил дверцу открытой.

— Вы слышали о докторе Хассиме?

Стенли нажал на стартер, засмеялся.

— Ну, а то. Захлопните дверцу. — Они проехали один квартал, другой, прежде чем он весело сообщил: — Эти буры знают свое дело, я же говорил.

— И что теперь?

— Если они станут играть по-грязному, мы в долгу не останемся.

— Вот поэтому-то я и хотел вас повидать, — горячо подхватил Бен. — Я не хочу, чтобы вы один расхлебывали теперь эту кашу, это несправедливо.

— А чего теперь расхлебывать? О чем вы толкуете, белый человек? Что, может, Гордон еще жив? И стоит стараться?

— Я понимаю, Стенли. Но это зашло слишком далеко.

Дерзкий смех.

— Да не дурачьте вы себя. Зашло?! Только начинается.

— Стенли. — Это прозвучало как мольба о его собственной жизни, когда он положил этому сильному человеку руку на запястье, покоившееся на рулевом колесе, точно хотел его удержать

силой, — Здесь уж мы ничего не поделаем. Мы должны позволить закону исполнить свое. И кто виновен, заплатит за это.

Стенли только фыркнул.

— Да они все в подкидного играют.

Бен предпочел игнорировать это замечание.

— Одно мы можем сделать, — сказал он. — Есть одна вещь, которую мы должны сделать. А именно: заполучить лучшего в Йоханнесбурге адвоката.

— Проку-то?

— Я прошу вас поехать со мной завтра к Дэну Левинсону. Он должен немедленно проинструктировать адвоката. Такого, кто не позволил бы им улизнуть, чего бы это ни стоило.

— Деньги не проблема.

— Это как понимать? Вы миллионер?

— Не ваша забота.

— Так едете вы завтра со мной?

Стенли раздраженно вздохнул.

— Какого черта. Ладно, едем. Говорю только, что все без пользы.

Они развернулись и поехали обратно, к заправочной станции, и остановились там же, в темном тупичке за бензоколонками, где в нос тут же ударил густой, застоявшийся запах бензина.

— Единственное, что остается, Стенли, — это дать суду возможность…

Тут уж Стенли просто разразился хохотом.

— Ладно. До завтра. Встретимся в конторе вашего элегантного либерала. Поглядим, как нам удастся заполучить адвоката, который воскресил бы Гордона и Джонатана.

— Не об этом речь.

— Знаю, — точно утешая себя или Бена, сказал он. — А только вы все еще верите в чудеса. Я — нет.

4

Судебное разбирательство по делу о смерти Гордона Нгубене совпало со школьными каникулами, именно с 21 апреля по 9 мая, так что Бен мог присутствовать на всех заседаниях. К тому времени интерес общественности, подогретый событиями в день похорон, двумя месяцами ранее, заметно поубавился. Негустая толпа черных на галерее для публики, среди них шумная компания, время от времени нарушавшая ход заседания возгласами: «Amandla!» — «Сила!» — и потрясавшая при этом сжатыми кулаками, — и только. Белых, кроме непременной на любом процессе группы репортеров, можно было по пальцам перечесть — несколько студентов и преподавателей из Витватерсранда, представительницы Черных шарфов[5], Прогрессивной реформистской партии, делегат Нидерландов в Международной лиге юристов, которому слу-

[5] Примечания: 5

Лига Черных шарфов — Женская лига в защиту конституции. Основана в 1955 г. как оппозиционная политике националистического правительства. Выступает против поправок к конституции, ущемляющих права цветного населения. Представительницы лиги носят черные шарфы в знак скорби, устанавливают «молчаливые пикеты» в местах, где ожидается появление членов кабинета министров и парламента.

чилось оказаться в Южной Африке по делам, да несколько зевак.

Многое о деле можно было узнать из исчерпывающего и объективного отчета о процессе, опубликованного Институтом расовых отношений. Отчет вскоре был запрещен цензурой, впрочем один экземпляр этого документа оказался среди бумаг Бена.

ГОРДОН НГУБЕНЕ (54 лет), неквалифицированный рабочий из Орландо-Уэст, Соуэто, во время ареста — безработный. Задержан 18 января с. г. на основании статьи 6 Закона о терроризме. Содержался на Й. Форстер-сквер. По представлению семьи арестованного 5 февраля в Верховный суд было подано заявление касательно ограничения действий тайной полиции, оскорбляющей достоинство и прибегающей к угрозам физического насилия по отношению к г-ну Нгубене, и против ведения допроса с применением незаконных мер. Однако 10 февраля заявление было отклонено за отсутствием доказательств. 25 февраля о смерти г-на Нгубене, находившегося в заключении, было объявлено по каналам ЮАРК, на следующий день было получено подтверждение полиции, при этом официально родственники об этом вообще не были уведомлены. 26 февраля официально

назначенный патологоанатом д-р П. И. Янсен произвел вскрытие, ассистировал от имени семьи покойного д-р Сулиман Хассим. Похороны г-на Нгубене состоялись в воскресенье 6 марта. На следующий день д-р Хассим был арестован на основании Закона о внутренней безопасности. Таким образом, консультации с ним со стороны представителей семьи исключены. В ожидании освобождения д-ра Хассима дознание о смерти г-на Нгубене, первоначально назначенное на 13 апреля, отложено sine die[6]. Суду было сообщено, что вероятность освобождения д-ра Хассима из-под стражи в ближайшие дни проблематична, и с учетом факта, что его подпись также значится на заключении о вскрытии, составленном д-ром Янсеном, назначается новая дата дознания, и слушание начинается 2 мая в полицейском суде Йоханнесбурга.

Согласно медицинскому заключению, представленному в первый же день, д-ру Янсену для посмертного вскрытия был представлен обнаженный труп мужчины банту средних лет, опознанный как Гордон В. Нгубене. Дата: 26 февраля.

---

[6] Примечания: 6
Без назначения новой даты, на неопределенный срок *{лат.).*

Вес 51,75 килограмма. Рост 1,77 метра. Л илова-то-серые трупные пятна обозначены на нижних конечностях, мошонке, лице и спине. Остатки жидкой среды с насыщением крови из правой ноздри. Язык в вытянутом положении, прикушен.

В заключении отмечались следующие следы повреждения трупа:

1. Круговое повреждение кровеносных сосудов на шее между щитовидным хрящом и подбородком и след обширного повреждения сосудов 4 сантиметра в ширину ниже обозначенного, наиболее явный по боковым кожным поверхностям шеи. Следов повреждения либо кровоизлияния в мышечных тканях не обнаружено. Трахея сжата. Подъязычная кость не повреждена.

2. Опухоль поверх правой скуловой кости со следами повреждений подлежащих соединительных тканей и перелом самой кости.

3. Три небольших, 3 миллиметра в диаметре, кругообразных повреждения на коже внутри левой ушной раковины и большее по размерам — в правой.

4. Обширная гематома в поясничной области.

5. Седьмое правое ребро сломано в месте соединения с грудинной костью.

6. Поверхностные повреждения и следы разрывов ткани поверх обоих лучезапястных суставов.

7. Заметная опухлость низа мошонки. Предметная проба, взятая оттуда, представляет сухое образование и показывает следы меди на коже.

8. Горизонтальные разрывы ткани и повреждения на обеих лопатках, грудине и брюшной полости.

9. Правая локтевая кость сломана приблизительно в 6 сантиметрах ниже сгиба.

10. Отчетливая гиперемия в обоих полушариях мозга с небольшими кровоизлияниями, мозговое вещество с кровоподтеками. Умеренная гиперемия и жидкостные накопления в легких.

11. Так или иначе повреждены поверхностно, с отдельными разрывами тканей колени, таранная кость, брюшная полость, ягодицы и верхние конечности.

Д-р Янсен установил, что причиной летального исхода явилось физическое повреждение шейной области, наблюдаемое обычно в случаях смерти от повешения. При перекрестном допросе он, правда, допустил возможность, что такого рода повреждения не исключены, очевидно, и при иных случаях, однако решительно заявил, что гипотезы на этот счет вне его компетенции.

Тем не менее он признал, что повреждения были получены в разное время, одни за четырнадцать — двадцать дней до смерти, другие за четыре дня и даже меньше. Он подтвердил, что на аутопсии присутствовал д-р Хассим и, насколько ему известно, заключение д-ра Хассима, за исключением ряда несущественных, впрочем, деталей, идентично его собственному. На вопрос адвоката Яна де Виллирса, относительно законности его, д-ра Хассима, права представлять семью покойного, д-р Янсен ответил, что понятия не имеет, зачем д-ру Хассиму понадобилось делать какое бы то ни было специальное заключение, коль скоро тот собственноручно подписал официальное.

После этого в качестве свидетелей были вызваны сотрудники службы безопасности. Капитан Штольц подтвердил, что во вторник 18 января около четырех часов дня он действительно, в соответствии с полученной информацией, был в доме покойного в сопровождении лейтенанта Б. Вентера, лейтенанта М. Бота и нескольких нижних чинов СБ из числа черных. Г-н Нгубене оказал сопротивление при аресте, и к нему были применены определенные принудительные меры. Впоследствии г-на Нгубене допрашивали, да, по ряду обстоятельств. Полиция имела осно-

вания полагать, что покойный был вовлечен в подрывную деятельность, и ряд изобличающих документов был действительно обнаружен в его, г-на Нгубене, доме. С учетом того обстоятельства, что дело касается государственной безопасности, означенные документы, к сожалению, не могут быть предъявлены суду.

По версии капитана Штольца, покойный отказался отнестись с пониманием к властям, хотя с ним обращались с неизменным уважением и корректностью. На вопрос адвоката Лоува, представлявшего защиту, капитан Штольц ответил, что по крайней мере в его присутствии к г-ну Нгубене никто никогда не применял мер физического воздействия и что тот пребывал в добром здравии, пока находился под арестом, если не считать редких жалоб на головные боли. 3 февраля он пожаловался на зубную боль, и на следующее утро его осмотрел местный хирург д-р Бернард Герцог. Насколько ему известно, доктор Герцог удалил три зуба и прописал какое-то лекарство в таблетках, но при этом подтвердил, что не находит ничего серьезного в состоянии заключенного. В соответствии с этим полиция и продолжала расследование, как обычно. На вопрос, что он имеет в виду под выражением «как

обычно», капитан Штольц сказал, что заключенного в восемь утра приводили из его камеры к нему, капитану Штольцу, на допрос, где тот и пребывал до четырех или пяти часов дня. За весь период его ареста они даже еще покупали ему продукты из своего собственного кармана. Он добавил, что покойному было разрешено в любое время «сидеть или стоять, как ему нравилось».

Утром 24 февраля г-н Нгубене неожиданно стал проявлять признаки агрессивности и попытался выпрыгнуть в открытое окно в кабинете капитана Штольца. Он вел себя «как сумасшедший», и успокоить его удалось лишь с помощью шести сотрудников СБ. В качестве меры предосторожности на него тут же были надеты наручники и он был закован в кандалы, прикрепленные к стулу. В этом положении он успокоился и около полудня сказал, что готов сделать полное заявление относительно своей подпольной деятельности. По требованию капитана Штольца лейтенант Вентер представил три страницы этого заявления, написанного по форме, где г-н Нгубене сетовал на то, что устал. Затем он был препровожден в свою камеру. На следующее утро, 25 февраля, некто сержант Крог доложил капитану Штольцу, что г-н Нгубене был обнаружен мертвым в своей

камере. Записка, найденная на теле покойного, была представлена суду. В ней значилось: «Й. Форстер-сквер. 25 февраля. Дорогой капитан, может, вам случится обследовать мое бренное тело, так вот, вы получите, наверное, то, что хотите. Я предпочитаю умереть, чем предавать моих друзей! Amandla! Сила! Йскренне, Гордон Нгубене».

На перекрестном допросе адвоката со стороны семьи де Виллирса капитан Штольц повторил, что покойный не мог жаловаться на обращение. На вопрос, как он расценивает тот факт, что на теле покойного обнаружены следы повреждений, он отвечал, что не имеет на этот счет ни малейшего понятия, бывает, что лица, содержащиеся под арестом, умышленно наносят себе повреждения самым разным образом. Какие-то могли быть следствием того, что произошло 24 февраля. Адвокат де Виллирс поинтересовался, не считает ли он, что было излишне вызывать шестерых физически сильных полицейских для усмирения человека хрупкого сложения, весившего около пятидесяти килограммов? На это капитан Штольц повторил, что заключенный действовал «как сумасшедший». На вопрос, почему на окне не было положенных решеток, исключающих возможные попытки заключенных выброситься

из такового, капитан отвечал, что решетки накануне были временно сняты в связи с ремонтом оконных рам.

Возвращаясь к записке, якобы найденной на трупе, адвокат де Виллирс заявил, что находит странным значащуюся на ней дату 25 февраля, поскольку тело, обнаруженное в шесть часов утра этого дня, уже носило на себе следы отчетливого трупного окоченения.

Капитан Штольц: «Возможно, он помутился рассудком».

Адвокат де Виллирс: «В результате пыток?»

Капитан Штольц: «К нему не применяли пыток».

Адвокат де Виллирс: «Равно как и третьего и четвертого февраля, когда он жаловался на головную и зубную боль?»

Капитан Штольц заявил протест судье по поводу того, что адвокат пытается возвести необоснованные подозрения на службу безопасности. Судья г-н П. Клоппер попросил защитника воздерживаться от инсинуаций, однако, разрешил продолжить перекрестный допрос. Улики прочно сводились к ранее выдвинутым им доказательствам, не хватало лишь отвода относительно инкриминируемого покойному участия

в деятельности АНК и «действиях, угрожающих безопасности государства». На вопрос о содержании письменных показаний, данных 24 февраля, капитан Штольц ответил, что документ содержит данные, которые не могут быть оглашены на настоящем судебном заседании, поскольку это затруднило бы действия тайной полиции в некоем важном расследовании.

Адвокат де Виллирс: «Я исхожу из положения, что единственной «подрывной деятельностью», в каковую когда-либо был вовлечен покойный, являлись его попытки установить, что произошло с его сыном Джонатаном Нгубене, якобы убитым в перестрелке во время волнений в июле прошлого года, хотя некоторые данные ведут к лицам, готовым засвидетельствовать, что фактически Джонатан умер в заключении в сентябре, то есть три месяца спустя».

Адвокат полиции г-н Лоув заявил протест против этого заявления как необоснованного и не имеющего отношения к делу.

Адвокат де Виллирс: «Ваша милость, представленное свидетельство есть намеренная попытка инкриминировать покойному нелепое обвинение в участии в «подрывной деятельности». Считаю себя вправе обратить внимание

на другую сторону дела, тем более что это свидетельствует в пользу моего аргумента, — мы имеем дело с невиновным человеком, умершим в тайной полиции при обстоятельствах, которые могут быть определены как в высшей степени подозрительные. Если тайная полиция заинтересована в своей репутации, ее представителям, казалось бы, естественно, не следует отметать реальные факты, представленные суду?»

На этом судья Клоппер отложил слушание до следующего дня. По возобновлении заседания он объявил, что это — частное разбирательство причин о смерти определенного лица, а не общее судебное расследование. Соответственно он отводит просьбу адвоката де Виллирса о представлении суду каких-либо свидетельств либо заявлений относительно смерти Джонатана Нгубене как не имеющих отношения к делу.

Адвокат де Виллирс: «Ваша милость, в таком случае у меня нет больше вопросов к капитану Штольцу».

В ходе второго дня слушания были вызваны свидетели от службы безопасности для подтверждения показаний, данных капитаном Штольцем. При перекрестном допросе неожиданно выявились некоторые противоречия в

свидетельских показаниях относительно решеток на окне и причин, по которым они были сняты, равно как и подробностей схватки 24 февраля. В довершение ко всему лейтенант Вентер признал на перекрестном допросе, что в том же кабинете и до этого была схватка с заключенным, а именно 3 февраля, за день до того, как к г-ну Нгубене был вызван местный хирург. На вопрос, было ли кому-либо еще разрешено свидание с заключенным, лейтенант Вентер отвечал, что, по заведенному порядку, его посетил полицейский судья, 12 февраля, в сопровождении капитана Штольца и его, лейтенанта Вентера, при этом заключенный не обращался к нему ни с какими жалобами.

Адвокат де Виллирс: «Вас удивило, что у него не было жалоб?»

Лейтенант Вентер: «Ваша милость, я не понимаю вопроса».

Г-н Клоппер: «Господин де Виллирс, я просил вас воздерживаться от подобного рода риторики».

Адвокат де Виллирс: «Как будет угодно вашей милости. Лейтенант, не можете ли вы сказать, присутствовал ли капитан Штольц также и при посещении заключенного хирургом четвертого

февраля?»

Лейтенант Вентер: «Меня там не было. Но думаю, капитан присутствовал».

Следующими были вызваны сержант Крог и двое полицейских, обнаруживших мертвое тело утром 25 февраля. Одно из одеял в камере покойного, как утверждалось при этом, они нашли разрезанным с помощью лезвия для бритья на узкие полосы, сплетенные в веревку, один конец которой был привязан к решетке на окне камеры, другой обвязан вокруг шеи г-на Нгубене. Свидетели разошлись в показаниях относительно того, как именно было привязано одеяло к решетке, а также положения тела, которое они обнаружили. (Сержант Крог: «Я сказал бы, ноги у него висели дюймов этак на шесть над полом». Полицейский Вельман: «Довольно высоко висел, голова почти касалась решетки, так что ноги, похоже, были на фут, а то и больше, от пола». Полицейский Лампрехт: «Насколько я помню, ноги почти касались пола».) В одном они не расходились: никто не видел Г. Нгубене после того, как он был помещен в камеру около половины шестого накануне. Согласно показаниям сержанта Крога, все камеры в течение ночи положено посещать с интервалом в один час, с тем чтобы удостовериться, что все в

порядке, однако в ту ночь по отношению к этой камере было явное упущение. «Мы были очень заняты, и я полагаю, кто-то просто не доглядел».

Адвокат де Виллирс: «Ну а если я поставлю вопрос так, что капитан Штольц либо кто-то другой из офицеров службы безопасности проинструктировал вас не входить той ночью в эту именно камеру?»

Сержант Крог судье: «Я решительно отвергаю это, ваша милость».

Затем, когда слушание было перенесено на 4 мая, адвокат от полиции г-н Лоув представил четыре письменных заявления заключенных, подтвержденные присягой и свидетельствующие, что все они видели Гордона Нгубене между 18 января и 24 февраля, что он был жив и здоров и что с ними самими должностные лица, ответственные также за расследование дела г-на Нгубене, прекрасно обращались. Тем не менее, будучи подвергнут перекрестному допросу, один из этих свидетелей, Арчибальд Тсабалала, отрицал, что когда-либо встречался в заключении с г-ном Нгубене, и заявил, что его заставили подписать свидетельские показания накануне суда. «Капитан Штольц несколько раз ударил меня резиновым шлангом и сказал, что будет бить,

пока я не подпишу». При этом он задрал рубаху и показал суду собственную спину, всю в кровоподтеках. Вызванный для дачи показаний, капитан Штольц показал, что означенный Тсабалала поскользнулся и упал с лестницы несколько дней тому назад. Он утверждал, что первоначальное заявление г-на Тсабалалы было сделано им абсолютно добровольно. После ряда дополнительных вопросов капитану Штольцу было разрешено отвести г-на Тсабалалу обратно на Й. Форстер-сквер. Продолжая опрос свидетелей, адвокат Лоув заявил, что остальные три свидетеля, чьи показания, данные под присягой, были представлены суду, не могут быть вызваны для перекрестного допроса, поскольку это связано с безопасностью государства. Несмотря на решительные возражения адвоката де Виллирса, судья постановил, что суд тем не менее примет их заявления в качестве свидетельских показаний.

Доктор Бернард Герцог, окружной хирург города Йоханнесбурга, засвидетельствовал, что утром февраля четвертого дня он был вызван капитаном Штольцем для обследования некоего заключенного, представленного ему под именем Гордон Нгубене. Он не нашел никаких отклонений от нормы в этом человеке. Г-н Нгубене

жаловался на зубную боль, и, поскольку три коренных зуба почти сгнили, он удалил их и дал г-ну Нгубене несколько таблеток аспирина в качестве болеутоляющего.

Следующий раз он видел покойного ранним утром 25 февраля, когда его вызвали на Й. Форстер-сквер в качестве свидетеля, где он и нашел г-на Нгубене мертвым, лежащим на полу камеры, одетым в серые брюки, белую сорочку и темно-бордовый пуловер, что и засвидетельствовал. Сержант Крог сообщил ему, что он лично обнаружил тело полчаса тому назад свисающим с оконной решетки и что, обнаружив, он вынул его из петли и положил на пол. Согласно показаниям сержанта, петля из байкового одеяла была затянута вокруг шеи настолько туго, что им пришлось перерезать ее найденным здесь же, в камере, бритвенным лезвием. По характеру rigor mortis[7], отчетливо проявившемуся к тому времени по совокупности признаков, он позволил себе сделать заключение, что смерть наступила не менее двенадцати часов тому назад.

Адвокат де Виллирс, занявший в ходе перекрестного допроса активно наступательную

---

[7] Примечания: 7
Трупное окоченение *(лат.)*.

позицию, не преминул остановиться на том факте, что д-р Герцог не счел нужным тщательней обследовать заключенного в означенный день четвертого февраля (д-р Герцог: «Чего ради? Он жаловался только на зубную боль») и что тот не может припомнить, присутствовал ли при осмотре капитан Штольц либо кто-то еще. На обвинение адвоката де Виллирса, что тот «поддался угрозам» тайной полиции либо пошел на сознательное сотрудничество с ними «в этой разыгрываемой ими отвратительной игре», д-р Герцог заявил решительный протест и обратился к суду за защитой. Что касается предварительного осмотра трупа, он отказался высказаться сколько-нибудь определенно о предположительном времени смерти на основании степени трупного окоченения, отметив, что таковое может быть обусловлено самыми разными причинами, то есть побочными обстоятельствами. Он не может дать никаких объяснений и относительно того, как, на его взгляд, могло случиться, что, когда двадцать шестого февраля официальный патологоанатом д-р Янсен приступал к вскрытию, труп оказался обнаженным. По просьбе адвоката де Виллирса в качестве свидетеля снова был вызван капитан Штольц. Однако тот не смог ответить

на вопрос, куда делась одежда, которая была на покойном в момент смерти, и почему она не была отправлена на экспертизу. Затем де Виллирс предложил официально выплатить семье компенсацию за пропажу носильных вещей покойного.

Тут же был объявлен перерыв до вызова служащего из морга при полицейской тюрьме. Однако тот не смог припомнить, была ли на поступившем к нему трупе одежда или нет.

Последним свидетелем, вызванным адвокатом Лоувом, был полицейский графолог, удостоверивший на основании сличения образцов почерков, что записка, найденная у покойного, написана Гордоном Нгубене. Этот факт был решительно оспорен специалистом, приглашенным адвокатом де Виллирсом, который привел длинный перечень расхождений между почерком на записке и почерком г-на Нгубене на других бумагах, написанных им действительно собственноручно. Г-жа Эмили Нгубене, супруга покойного, также отрицала, что это почерк ее мужа. Она сказала, что г-на Нгубене во время его ареста восемнадцатого января «избили и вытолкнули за дверь», что спустя примерно дней десять один человек, освобожденный из заключения на Й. Форстер-сквер,

сообщил ей, что ее муж подвергается жестокому обращению, и что, когда она четвертого февраля передала мужу смену белья и ей возвратили грязное, она обнаружила на брюках кровь и в заднем кармане три выбитых зуба (имеются в распоряжении суда). Она показала, что в разговоре с ней их врач Сулиман Хассим, который присутствовал на вскрытии, высказал серьезные сомнения относительно того, что смерть наступила от повешения с помощью разрезанного на веревку одеяла, как ранее утверждали. Но когда она собралась продолжать, адвокатом полиции был заявлен решительный протест против свидетельств из вторых рук. Судья протест принял. Адвокат Лоув также успешно отвел свидетельства специалиста касательно того, что второй подписи на заключении официального патологоанатома, а именно подписи д-ра Хассима, вообще могло не быть. Опрос свидетелей, проведенный адвокатом де Виллирсом относительно утверждений о пытках или жестоком обращении со стороны капитана Штольца в ряде других случаев, был отведен как беспочвенный и не имеющий отношения к делу.

После дальнейших показаний преимущественно формально-юридического порядка адвокат де Виллирс буквально произвел потрясение в

зале суда, вызвав в качестве свидетельницы некую Грейс Нкоси (18 лет) для показаний относительно обстоятельств ее пребывания на Й. Форстер-сквер. Она была арестована, как заявила, четырнадцатого сентября прошлого года и после того, как подверглась допросу со стороны целого ряда чинов тайной полиции (включая капитана Штольца и лейтенанта Вентера), через определенное время снова оказалась в кабинете капитана Штольца. Это было утром третьего марта. Против нее был выдвинут целый ряд обвинений, и всякий раз, когда она отрицала свою вину, ее избивали плетью из сыромятной кожи — sjambok, все знают, как это называется. Когда же она падала под ударами на пол, ее били по лицу и животу, а следы собственной крови приказывали вылизывать с пола. Затем капитан Штольц накинул ей на голову большое белое полотенце, обмотал концы вокруг шеи и стал душить ее. Как именно, она тут же на суде продемонстрировала. Она пыталась сопротивляться, но потеряла сознание. Согласно ее показаниям, так повторялось несколько раз. Последний раз она слышала, как капитан Штольц говорил: «Давай, давай, meid[8],

[8] Примечания: 8
Грубое обращение к небелой женщине *(африкаанс, сленг).*

что, язык прикусила? Может, хочешь кончить, как Гордон Нгубене?» После этого она снова потеряла сознание. Очнулась она в своей камере, а двадцатого марта была освобождена без предъявления какого бы то ни было обвинения.

Вопреки всем попыткам адвоката Лоува убедить ее признать, что все это либо плод ее расстроенного воображения, либо она могла просто ослышаться, что было произнесено имя Гордона Нгубене, как это бывает при головокружении, та настаивала, что говорит правду.

После того как адвокаты закончили опрос свидетелей, суд объявил перерыв до вечернего заседания для вынесения приговора. Г-ну Клопперу понадобилось для вынесения решения менее пяти минут. Хотя и не представляется возможным учесть все повреждения на теле покойного, сказал он, никаких исчерпывающих свидетельств, кроме заведомых домыслов, не представлено в доказательство виновности должностных лиц службы безопасности в применении физического насилия, равно и других нарушений законности. Налицо все свидетельства, что задержанный не раз проявлял агрессивность и, понятно, приводился в нормальное состояние с помощью физической силы. Есть все очевидные основания

заключить, что смерть наступила вследствие травмы, причиненной сдавливанием в области шеи, по совокупности признаков — путем повешения. Следовательно, суд находит, что Гордон Нгубене покончил самоубийством путем повешения утром двадцать пятого февраля и что, по доступным данным, его смерть не может быть отнесена ни к какому-либо акту или упущению, могущему быть поставленным в вину кому бы то ни было.

В интересах соблюдения всех формальностей материалы дознания были препровождены министру юстиции, однако шестого июня тот объявил, что дальнейшее расследование представляется лишенным оснований из-за отсутствия prima facie[9] состава преступления со стороны какого-либо лица или группы лиц.

---

[9] Примечания: 9
Прежде всего *(лат.)*.

5

Она ждала его на ступенях, ведущих в здание суда, еще после второго или третьего заседания, после того как процесс был отложен на день, — этакая маленькая черноволосая девушка с большими карими глазами, затерявшаяся и неприметная в толпе газетчиков. Ему так и показалось, когда он увидел ее в суде, что она выглядит поразительно юной для такой серьезной работы. В окружении множества людей, старше ее по возрасту, плотных здоровяков, развязных репортеров, ее юность почти физически ранила его тогда. Юность и эта ее открытость, искренность, неподдельность. Но сейчас, столкнувшись с ней, вдруг словно выросшей перед ним, он с удивлением обнаружил, насколько она старше, чем он себе представлял. Определенно ближе к тридцати, а не восемнадцать-двадцать, как ему показалось вначале. Подведенные глаза, глубокие, а это уж не скроешь, морщинки непреклонной решимости или страданий вокруг рта. Пожалуй, в дочери ему годится, но зрелая и без иллюзий, и уж не без жизненного опыта; и никаких следов неуверенности, неверия в собственные

силы. Твердая, непоколебимая и женственная. Знающая себе цену.

Бен вышел из здания суда раздраженный, недовольный собой. Вышел погруженный в собственные мысли. И не только от того, что произошло в суде, от чего-то гораздо большего: он уже свыкся с присутствием целой толпы лиц из тайной полиции в зале заседаний, откровенно разглядывавших присутствующих, перебирающих одного за другим на предмет более тщательного изучения. И каждый чувствовал себя виновным, пусть для этого и не было никаких причин. В тот день в первый раз здесь был и полковник Вильюн. И когда глаза этого, уже с проседью, слегка покровительственного в обращении офицера вдруг отыскали Бена в толпе, в них отразилось что-то: удивление? неодобрение? — не это даже. Просто констатация факта: ничто не укрыто от его взора. Вот от чего смешался Бен. Поэтому он едва заметил девушку, когда вышел из дверей. А она, загородив ему дорогу, заговорила неожиданно низким для такого создания голосом:

— Господин Дютуа?

Он с нескрываемым изумлением — не спутали ли его с кем-нибудь другим — оглядел ее.

— Да.

— Я Мелани Брувер.

Он остановился и стоял выжидательно, настороженно.

— Я так понимаю, вы были знакомы?

— С кем?

— С Гордоном Нгубене.

— Вы из газеты? — спросил он.

— Да. Я из «Мейл». Но это мой личный вопрос.

— Я предпочел бы не говорить на эту тему. — Бен сказал это тоном, не допускающим возражений, как если б разговаривал с Линдой или Сюзетт.

Но что его удивило, так это ее ответ.

— Понимаю, — сказала она. — А жаль. Мне хотелось бы узнать о нем побольше. Это, должно быть, был какой-то особенный человек.

— С чего вы взяли?

— Ну, хотя бы эта его решимость, с какой он пытался докопаться до причин смерти своего сына.

— Любой поступил бы точно так же, коснись это его ребенка.

— Чего же вы ощетинились?

— Я? Нет. Просто это был самый обычный человек. Как я, как все другие. В этом все дело. Неужели не понимаете?

Она вдруг улыбнулась всем своим полным и щедрым ртом.

— Это-то и заинтриговало меня. В наше время обычный человек — большая редкость.

— То есть как вас прикажете понимать? — Он смотрел на нее с подозрением, хотя уже обезоруженный ее улыбкой.

— А так, что очень редко встречаются люди, готовые быть просто человеком — и со всей мерой ответственности за это, знаете ли. Не согласны? Ну, за свою человечность.

— Я действительно здесь не судья. — Она удивительным образом заставила его почувствовать себя виновным. Что в конечном счете он сделал, чего добился? Выжидал, медлил, ну каких-то мелочей добился, и только-то. А может, она дурачит его?

— А как вы узнали об этом? — поинтересовался он, как бы прощупывая почву. — Ну, что я знал Гордона?

— Мне Стенли рассказал.

— Так вы и Стенли знаете?

— Кто ж его не знает.

— Ну так вряд ли он дал мне лестную характеристику, — ляпнул он и сам понял, что получилось неловко.

— О, Стенли на ваш счет удивительно деликатен, господин Дютуа. — Она посмотрела ему

прямо в глаза. — Но вы сказали, что предпочли бы не обсуждать эту тему, так что прошу прощения. До свидания.

Он смотрел ей вслед, пока она спускалась по широкой лестнице. Там она махнула ему рукой на прощание, маленькая невзрачная фигурка. Он тоже вздернул руку, скорее в надежде вернуть ее, чем попрощаться. Но ее уже след простыл. И когда он спускался по лестнице, чтобы влиться в запруженную толпой и залитую солнцем улицу, перед глазами у него светились ее большие искренние глаза, а в душе саднило чувство утраты, словно он потерял нечто прекрасное и непостижимое, и, только протяни руку, возможное, хотя он и сам не мог себе объяснить, что именно.

Она лишила его покоя на весь остаток дня, и уснул он, размышляя о ней: что она сказала о Стенли, о Гордоне, о нем самом. Темные глаза и такая ранимость в линии губ.

Двумя днями позже в перерыве на второй завтрак он сидел в маленьком греческом кафе поблизости от здания суда. Почти все места были заняты. Он как раз принялся за свой чай с ломтиком хлеба, подрумяненным на огне, когда у его столика, накрытого несвежей, в пятнах, полиэтиленовой скатертью, вдруг возникла невесть

откуда она.

— Не возражаете, я к вам присяду? Ни одного свободного места.

Бен вскочил, неловко двинув столик, чай расплескался на блюдце.

— Конечно. — Он потянул за спинку стул напротив, предлагая ей сесть.

— Не стану вам докучать разговорами, если вы не в настроении, — сказала она, а глаза ее смеялись. — Не обращайте на меня внимания.

— Нет-нет, почему же, — поспешил он. — В суде сегодня все шло отлично.

— Вы находите?

— А вы? — Он не мог скрыть возбуждения. — Как этот Тсабалала выступил против них, да и вообще. Все их дело на ладан дышит. Де Виллирс мокрого места от них не оставит.

Она усмехнулась:

— Вы действительно полагаете, что это изменит исход дела?

— А как же. Ясней ясного. Де Виллирс на их собственной лжи их и посадит в лужу.

— Хотелось бы верить.

Официант подал ей замусоленное меню и принял заказ.

— А почему вы так скептически настроены? —

спросил Бен, когда тот ушел.

Она оперлась подбородком на согнутые в локтях руки и посмотрела на него.

— Что вы намереваетесь делать, если из этого ничего не выйдет?

— Мысли такой не допускаю.

— Боитесь?

— Чего?

— Я не имею в виду ничего конкретного. Просто так, не страшно?

— Боюсь одного — я вас не понимаю.

Он вынужден был смотреть ей в глаза.

— Распрекрасно вы все понимаете, господин Дютуа. И отчаянно хотите, чтобы это удачно обернулось.

— Один я? А другие?

— Да, мы тоже. Причины только разные. Вы ведь не просто зритель.

— Так, значит, вы все-таки за материалом для газеты, — задумчиво протянул он, не скрывая горького разочарования.

— Нет. — Она смотрела на него неподвижным взглядом, не шелохнувшись. — Я же сказала. Еще в прошлый раз. Просто мне самой хочется знать. Должна знать.

— Должны?

— Да. Хотя бы потому, что я и сама не умею оставаться зрителем. Я понимаю, я журналистка, и предполагается, что должна быть объективной и не причастной ничему на свете. А только я бы сама с собой не ужилась, если б на этом и поставила точку. Это, ну… понимаете, рано или поздно каждый ведь начинает доискиваться смысла собственного существования. Вот я и подумала, может, вы мне поможете.

— Мы с вами даже не знакомы.

— Да. И все-таки я готова рискнуть.

— Такой уж большой риск?

— А вы как думаете? — Было нечто обезоруживающе щутливое в том, как важно она это произнесла, — Может, вы знаете что-нибудь более опасное для человека, чем неожиданно оказаться над пропастью?

— Ну, как сказать, — тихо промолвил он.

— Уходите от ответа? Что бы я ни спросила, только и слышу: «как сказать», «возможно» или «что я имею в виду». А я хочу знать почему? А то, что вы не такой, как все, без вас знаю.

— Откуда это?

— От Стенли, от него.

— А если он ошибается?

— Он слишком много в жизни насмотрелся,

чтобы ошибаться на этот счет.

— Расскажите мне о нем, — попросил Бен, ухватившись за спасительную мысль перевести разговор на другую тему.

Мелани поняла, расхохоталась.

— Вот уж кто мне ни разу в помощи не отказал. Обращаюсь не только по газетным делам, хотя и это тоже. Я в том смысле, что на ноги мне помог стать, особенно вначале, когда я только пришла работать. Вы этот его бесшабашный вид всерьез не принимайте. Это у него напускное.

— И такси просто камуфляж?

— Конечно. Ну и потом, так свободней, всегда сам себе хозяин. Похоже, пасется на контрабанде. Может, алмазы, — Она улыбнулась. — Он и сам чем-то алмаз напоминает, правда? Большой черный необработанный алмаз. Одно я только давно установила: если уж действительно понадобится человек, на которого можно положиться, так это Стенли.

Официант принес ей чай и бутерброды.

Она подождала, пока он уйдет, и тогда сказала, возвращаясь к началу разговора:

— Вот почему я и решила: воспользуюсь-ка случаем поговорить с вами.

Он налил себе еще чаю и, забыв положить са-

хар, пристально смотрел на нее.

— Знаете, — признался он, — я так и не могу понять, кто вы. Верить вам, или вы просто самая коварная журналистка, какую только можно себе представить.

— Испытайте, — сказала она спокойно.

— На что бы вы там ни рассчитывали, — выпалил он, — а я действительно мало что могу рассказать о Гордоне.

Она чуть заметно повела плечом и молча жевала бутерброд, крохотные крошки прилипли к губам. Она облизала губы, и его тронуло, как это у нее по-детски получилось.

— Ну не за этим же я пришла сюда.

— Понимаю. — Он улыбнулся, почувствовал себя вдруг по-мальчишески свободно.

— Меня потрясло, когда я увидела сегодня этого Арчибальда Тсабалалу, — сказала она. — Стоять и говорить им прямо в лицо, что они с ним сделали. Зная, что через несколько минут он снова окажется в руках своих палачей. — Ее темные глаза были доверчиво устремлены на него. — Не укладывается в голове. Да и весь их народ… они единственные, кто может позволить себе такое. Им нечего терять, только жизнь. Да и можно ли это прозябание назвать жизнью? Хуже некуда.

Остается надеяться только на чудо, а вдруг?.. При условии, что их не перебьют всех до единого. А что, правительство может выиграть войну против целой армии трупов?

Он ничего не ответил, понимая, что вопрос не к нему.

— Но вы, — сказала она, помолчав. — У вас есть все, что человек может потерять. Вы-то как же?

— Не говорите так. Пожалуйста. Ничего я путного не сделал.

Она не спускала с него глаз, молча покачала головой. Длинные черные волосы мягко качнулись, и лицо стало как в раме.

— Что вы такое вообразили, Мелани?

— Ничего. Нам пора. Скоро начнется заседание. А то без места останемся.

Он поднялся, рукой подозвал официанта. Расплатился за обоих. А потом они шли по улицам, людным в этот час. И до самого здания суда не сказали друг другу ни слова.

И последний день суда. Едва дослушав приговор, он, ошеломленный, с трудом передвигая ноги от нахлынувшей вдруг усталости, поспешил прочь из зала и остановился уже на тротуаре. Его обтекала толпа, большей частью черные, кричащие и размахивавшие кулаками, поющие песни

о свободе. А за ним сквозь толпу пробирались те, кто, как и он, вышли из зала суда. Он мешал, и его толкали. Но и это едва доходило до сознания. Слишком неожиданно все кончилось, будто кто взял и обрубил. Приговор звучал настолько нелепо, что он тупо повторял слово за словом, чтобы собрать их во что-то осмысленное. Следовательно, суд находит, что Гордон Нгубене покончил жизнь самоубийством через повешение февраля двадцать пятого дня и что на основании имеющихся свидетельств его смерть не может быть отнесена за счет какого-либо действия либо упущения, могущего быть рассмотренным как уголовное преступление с чьей бы то ни было стороны.

Двое из толпы пробирались к нему, но он обратил на них внимание, лишь когда кто-то тронул его за руку. Стенли в своих темных очках и с вечной улыбкой, хотя сейчас это была скорее гримаса какая-то. Стенли и повисшая у него на руке Эмили.

Первое, что бросилось в глаза, это ее безобразно искривленный рот. Она пыталась что-то сказать и все не могла и просто кинулась ему на шею и принялась рыдать у него на груди. Она повисла на нем всей тяжестью могучего тела, и, чтобы

сохранить равновесие, он машинально обхватил ее за плечи. Так они и стояли, будто обнявшись, пока Стенли мягко, но решительно не оторвал ее от него. А на ступенях, ведущих в зал суда, вспыхивали блицы репортеров.

Как и она, Бен слишком был переполнен чувствами, чтобы говорить и замечать, что творится вокруг.

Один Стенли не терял присутствия духа. Он положил свою ручищу Бену на плечо и пророкотал:

— Ну-ну, белый, все в порядке. Главное, мы пока живы.

И они исчезли в толпе, словно их и не было.

И почти тут же что-то нежное коснулось его руки, и голос сказал:

— Идемте.

В самое время, потому что полицейские с собаками уже разгоняли толпу, прежде чем она могла бы вылиться в демонстрацию. Так они и оказались снова в том жалком кафе, что и накануне. В этот час там было почти пусто. На потолке горела единственная лампа дневного света, остальные мерцали. Они прошли к столу за зеленым барьером из пластика и заказали кофе.

Бен, занятый собственными мыслями, меньше

всего был расположен сейчас разговаривать. Ей и не нужно было ничего объяснять, и, только допив кофе, Мелани спросила:

— Бен, вы действительно ждали другого приговора?

Он поглядел на нее, уязвленный этим вопросом, и молча кивнул.

— Что теперь?

— Зачем вы спрашиваете? — взорвался он.

Она промолчала, жестом показала официанту: еще два кофе.

— А вы что-нибудь понимаете? — спросил он с вызовом.

Она спокойно ответила:

— Да, конечно, понимаю. А на что еще они могли решиться? Не признаваться же, что сами кругом не правы?

— Не верю, — упрямо твердил он. — Это же не что-нибудь, это — суд закона.

— Назовем вещи своими именами, Бен. Ведь в функции суда вовсе и не входит решать, кто прав или не прав в абсолютном смысле. Его дело применить закон, букву.

— Откуда в вас столько цинизма? — Он был ошеломлен.

— Почему цинизма? — Она покачала голо-

вой. — Просто я стараюсь не витать в облаках. — Глаза у нее потеплели. — Знаете, я до сих пор помню, как отец, когда я была совсем маленькой, изображал, бывало, деда-мороза. Он всегда баловал меня самым немыслимым образом, но любимым его развлечением было рождественское представление. Но уже лет в пять или шесть я прекрасно понимала, что все эти деды-морозы сплошной вздор. А вот решиться сказать ему об этом никак не могла, ведь ему это доставляло столько радости.

Он тупо уставился на нее.

— Мы говорили о Гордоне. Не вижу, какая тут связь?

— А такая, что мы все разыгрываем друг перед другом дедов-морозов, — сказала она. — И все боимся посмотреть правде в глаза. А зачем? Рано или поздно все равно ведь приходится.

— И «правда» в том, чтобы отринуть понятие справедливости? — спросил он гневно.

— Вовсе нет. — Она отвечала ему тоном взрослого превосходства, когда хотят успокоить ребенка. — Я никогда не перестану верить в справедливость. Просто я вынесла из жизни, что в определенных обстоятельствах тщетно искать ее.

— Какой прок в системе, где больше нет места справедливости?

Она посмотрела на него с иронией.

— Это уж точно.

Он только качал головой.

— Вы еще очень молоды, Мелани, — сказал он. — И размышляете категориями молодости — все или ничего.

— Вот уж нет, — возразила она. — Я отвергла абсолюты в тот же день, когда перестала верить в деда-мороза. Но прежде, чем бороться за справедливость, надо очень отчетливо представить себе, что это такое — справедливость. А она познается от обратного. Надо знать своего врага. С этого надо начинать.

— И вы совершенно уверены, что знаете врага?

— По крайней мере не прячу голову в песок.

Раздраженный от сознания того, что его загнали в тупик, он рывком встал, двинул стулом, даже не притронувшись к кофе, который она заказала.

— Я ухожу, — сказал он. — Здесь не место для разговоров.

Ни словом не возразив ему, она тоже поднялась. И пошла за ним следом.

Уже затих гул городского транспорта, и улицы

без толпы лежали мертвыми, как пустыня. Горячий, насыщенный запахами большого города воздух висел неподвижным маревом, вяло колышущимся между громадами, зданий.

— Не очень-то забивайте себе голову всем этим, — сказала Мелани, когда они вышли и зашагали по тротуару. — Прежде всего постарайтесь выспаться. Понимаю, вам нелегко пришлось.

— Вам куда? — спросил он, испытав вдруг панический ужас при мысли, что вот сейчас она уйдет, и все.

— Я на автобус. Мне на Маркет-стрит, — Она уже повернулась, чтобы идти.

— Мелани, — позвал он, решительно не понимая, что с ним происходит. Она обернулась, резко, так что взметнулись ее тяжелые длинные волосы. — Можно я провожу вас?

— Если вам по пути.

— Где вы живете?

— Вестден.

— Рукой подать.

Какое-то мгновенье они стояли лицом друг к другу, такие оба незащищенные в безжалостных лучах заходящего солнца. («И так-то вот решается жизнь, тривиально, случайно», — запишет он потом.)

— Спасибо, — сказала она.

И больше, до автомобильной стоянки, они не проронили ни слова. И после, в машине, и когда уже проехали мост и свернули на Ян Смэтс-авеню и уже миновали Эмпайр-роуд. Может, теперь он и раскаивался в чем. Он предпочел бы ехать домой в одиночестве. А ее присутствие слепило, как яркий свет.

Дом стоял в старом районе пригорода, на улочке, скатывавшейся с холма. Просторный дом на участке вдвое против обычного, огороженном белым штакетником, кое-где в нем виднелись проломы. Уродливый старый дом двадцатых или тридцатых годов, с осевшей и покосившейся верандой и колоннами, увитыми бугенвиллеями; зеленые ставни, тоже давно перекосившиеся и кое-как висевшие на полуистлевших от времени петлях. Но что радовало глаз, так это сад. Никаких там лужаек на новый лад, фонтанчиков и экзотических уголков, просто честные ухоженные клумбы, деревья, кустарник и пышная зелень овощных грядок.

Бен вышел из машины открыть ей дверцу, но она опередила его. И теперь он стоял перед ней нерешительный, удрученный, не зная, что сказать.

— Вы… это здесь вы живете? — наконец спросил он. Никак уж не сочеталось с ней то, что было перед глазами.

— Мы с отцом.

— Ну, — сказал он, — мне, пожалуй, пора. — И никак не мог решить, должен ли он попрощаться с ней за руку, ну, то есть первым подать руку.

— Вы не зайдете?

— Нет, благодарю вас. Никак не расположен для светской беседы.

— Папы нет дома. — Она сощурилась под ослепительно ярким закатным солнцем. — Он в горах, на Магалисберге, он ведь у меня альпинист.

— Один?

— Ага. Немножко беспокоюсь, ему ведь уже под восемьдесят и здоровьем не блещет. Но его не удержишь от этих гор. Обычно мы с ним вместе ходим, а на этот раз пришлось вот остаться из-за суда.

— И вам здесь не скучно жить?

— Скучно? Нет. Я ведь сама себе хозяйка, ничто меня здесь не удерживает. — И чуть погодя: — А потом, каждому нужно вот такое место, где можно уединиться, когда все опостылело.

— Понимаю. Это мне знакомо. — И тут же поймал себя на мысли, что, похоже, сказал больше,

чем следовало бы. — Но знаете, я ведь постарше вас.

— Ну и что? У всех по-разному.

— Да, но вы молоды. Неужели вы не предпочитаете этому, — он показал на дом, — бывать в обществе, развлекаться, что естественно в вашем возрасте?

— Что вы называете развлекаться? — спросила она, снова с этой ее иронической усмешкой.

— Ну, что молодежь обычно имеет под этим в виду.

— А-а. Ну в этом я преуспела на свой собственный лад, когда была помоложе, — сказала она. И тут же, не без тени загадочности впрочем: — Знаете, я уже даже замужем побывала.

Его это по-настоящему заинтриговало. Нет, в самом деле, такая юная, такой ребенок. Но и это растворилось, едва он заглянул ей в глаза.

— Вы сказали, что торопитесь домой, господин Дютуа, — напомнила ему Мелани.

До этого она, помнится, называла его просто по имени. И неожиданно для себя, может быть, из-за этой официальности, он вдруг сказал, что с удовольствием зашел бы, если ему предложат чашечку кофе.

— Я ведь так и не выпил тот, что вы заказа-

ли, — сказал он.

— Ох уж эти мне угрызения совести. — И все-таки она с явным удовлетворением пошла к сломанной железной калитке и дальше по неровной, мощенной камнем тропке, едва угадывавшейся среди разросшейся зелени, к веранде. Она еще долго копалась в сумке, отыскивая ключ. И вот дверь открыта.

— Прошу!

И он пошел за ней, и они остановились в просторном кабинете. Две обычные комнаты с прорубленной в стене аркой, обрамленной с обеих сторон чудовищно огромными бивнями. Стены почти сплошь были уставлены книжными полками, встроенными вперемежку с чудесными антикварными шкафами со стеклянными дверцами, а рядом с ними — еще и еще, из обычных сосновых досок. По полу были разбросаны потрепанные персидские коврики, шкуры газели, антидорки и сернобыка. Занавеси на оконных проемах были из выцветшего вельвета, когда-то цвета старого золота, а теперь просто грязно-желтые. Репродукции в просветах между книжными полками: «Девушки на мосту» Мунка, «Тит» Рембрандта, натюрморт Жоржа Брака, ранний Пикассо, «Поле с кипарисами» Ван Гога. Несколь-

ко громадных кресел со спящими кошками на каждом; изысканной инкрустации шахматный столик с резными фигурками из слоновой кости и черного дерева, явно восточного происхождения. Старинный кабинетный рояль и тут же ящик от походного военного столика. Стол, как и два поменьше, как и все вообще свободное пространство, включая и каждый кусочек пола, был усыпан связками бумаг и книгами, открытыми, как пришлось, на какой-то странице, с обтрепавшимися от старости закладками. По полу вились провода, соединяющие проигрыватель с двумя стереоколонками. В комнате стоял застоявшийся запах табака, кошек, пыли и плесени.

— Устраивайтесь поудобней, — сказала Мелани, подхватив с первого попавшегося стула груду книг, газет, бумаг и заодно убеждая одного из этих бесчисленных, вконец обленившихся, жирных котов уступить место гостю. И тут же метнулась к шкафу с пластинками, дверцы которого были распахнуты настежь, потому что он был так забит, что его при всем желании не закроешь, и щелкнула выключателем маленькой настольной лампы. И весь этот живописный хаос тут же растворился в тусклом, серовато-коричневом от вечной пыли и желтом у самой лампочки свете.

Каким-то непонятным образом она удивительно вписывалась в эту комнату, хотя в то же время казалась напрочь чужой и совершенно здесь не к месту. Вписывалась, потому что была здесь в собственном доме, так уверенно прокладывала себе дорогу в этой неразберихе; и не к месту, потому что все здесь было такое древнее, заплесневелое и отжившее свой век, а она такая юная.

— Ну от кофе вы, значит, не отказываетесь, — сказала она, еще не успев отойти от лампы. Желтый свет падал ей на плечи и на щеку, и золотым блеском в нем отливала темень ее волос. — А может, что-нибудь покрепче?

— А у вас найдется?

— После сегодняшнего нам с вами просто необходимо. — Она пошарила где-то сбоку арки, среди этих чудовищных бивней. — Бренди?

— С удовольствием.

— Содовой?

— Спасибо.

Она вышла, а он принялся исследовать эту двойную комнату, путаясь ногами в проводах, тянувшихся к динамикам, механически проводил рукой по корешкам на книжных полках. Похоже, в подборе книг здесь исповедовали то же абсолютное пренебрежение к системе, как

и вообще ко всему в этой комнате. Хаос. В беспорядке поставленных как попало книг труды по праву, а рядом Гомер на древнегреческом, библия и целая подборка комментариев к ней, книги по философии, антропологии, фолианты с описаниями путешествий в старинных кожаных переплетах, история искусств, музыки, «Птицы Южной Африки», ботаника, пособия по фотографии, английский, испанский, немецкий, итальянский, португальский, шведский, латинский словари; сборник пьес, романы из серии «Пингвин-букс». И ни одной новой книги — все, видно, читаные-перечитаные, с замусоленными страницами. В тех, что он брал с полки и листал, были загнутые страницы, отчеркнутые абзацы, поля испещрены комментариями, написанными мельчайшим, едва различимым почерком, подлинно минускулами.

Он задержался только у шахматного столика и, нежно касаясь искусно вырезанных фигур, сделал несколько ходов, разыграв начало испанской партии и умиротворяясь ее классической гармонией, ход белыми, ход черными, белыми, черными. И вдруг это ощущение, внезапное и неожиданное, почти физически мучительной зависти: и что, можно вот так жить, играя эти-

ми фигурами после своих старых, облезлых, захватанных, прикасаться к ним ежедневно, как может позволить себе Мелани?

Она вошла так тихо, что он не слышал. И вздрогнул, когда она тихо сказала:

— Я вот здесь накрою.

Она сбросила туфли и теперь пристроилась в кресле, которое предлагала до этого Бену. Ноги поджала под себя и сидела с кошкой на коленях.

Он освободил от хлама стул напротив и взял рюмку со штабеля книг, на который она ее поставила. Две здоровенные серые кошки тут же потянулись к нему и стали тереться о ноги, поводя хвостами и довольно урча.

Так они с ней сидели и пили, молча и не считая времени, в сумраке этой беспорядочной комнаты. И он ощущал, как тупое, тяжелое оцепенение спадает с него, подобно намокшему пальто, медленно освобождает плечи и падает на пол. На улице, за окном спускалась ночь. А в сумерках комнаты, обласканные мягким, подобным желто-солнечному, свечением лампы, почти неразличимые, неслышно двигались кошки, держась дальше от этого единственного источника света, прячась от него по углам.

На какой-то миг, и только на один какой-то

миг, грубая действительность этого долгого дня отпустила его: зал суда, смерть, нагромождение лжи, пытки, Соуэто и город — все, что так нестерпимо навалилось на него в этом жалком кафе. Не то чтобы это совершенно исчезло, остался след, шершавый, как на рисунке древесным углем, ощутимый под пальцами, но если легонько провести рукой, то линии стираются и размазываются.

— Когда приезжает ваш отец?

Она пожала плечами:

— Понятия не имею. Он живет вне расписания. Дня через два-три, наверное. Неделя, как он уехал.

Он обвел рукой комнату.

— Знаете, так я себе представляю кабинет доктора Фауста.

Она ухмыльнулась:

— Точно. Он здесь и обитает. Если б отец верил в дьявола, непременно продал бы ему душу.

— Чем занимается ваш отец? — Он с облегчением ухватился за эту тему, чтобы не говорить о себе, и о ней, и обо всем, что произошло.

— Был профессором философии. Несколько лет назад вышел в отставку. Теперь живет, как ему нравится. А время от времени отправляется в

горы, собирает гербарии и всякую всячину. Исходил всю страну, до самой Ботсваны и Окаванго.

— Ну и вы не против оставаться здесь, предоставленной самой себе?

— Почему я должна быть против?

— Я просто спрашиваю.

— Мы прекрасно ладим. — В полумраке, едва рассеиваемом золотистым светом лампы, в знакомом окружении, где все до мелочей свое, было легче сбросить с себя скрытную сдержанность. — Понимаете, ему было около пятидесяти, когда он вернулся с войны, и в Лондоне они поженились. С моей матерью. Дочь его старых друзей. Намного моложе его. Три недели, всего-навсего, продолжался их роман, ведь до войны он знал ее совсем ребенком и не обращал на нее никакого внимания. И поженились. Но привыкнуть к Южной Африке она так и не смогла, ровно через год после того, как я родилась, разошлись. Она вернулась в Лондон, и с тех пор мы больше не виделись. Он сам один меня вырастил. — Она улыбнулась ему, широко и открыто. — Одному богу известно, как он справлялся, более непрактичного человека на свете не сыщешь. — Какое-то время они молчали, и только мурлыканье кошек нарушало тишину, да скрипнуло кресло, когда она устроилась по-

удобней. — Он учился на юридическом, с этого начинал, — сказала она. — Был адвокатом. Но затем решил, что сыт по горло, бросил практику и уехал в Германию изучать философию. Это уже в начале тридцатых. Какое-то время учился в Тюбингене, в Берлине, и еще год в Йене. Но был настолько подавлен всем, что произошло тогда в третьем рейхе, что в тридцать восьмом вернулся. Когда разразилась война, пошел в армию, чтобы воевать против Гитлера. А кончилось тем, что три года просидел в немецком концлагере.

— А вы?

Она вскинула на него глаза и минуту изучающе его разглядывала.

— Что я?

— Что вас привело в журналистику?

— Иногда я сама себя спрашиваю. — Она помолчала, и только ее большие загадочные глаза светились в сумраке комнаты. А затем, словно вдруг решившись на что-то очень трудное, сказала: — Ладно, я вам расскажу. Не знаю почему, терпеть не могу исповедоваться. Но если вам интересно…

Он сидел не шелохнувшись, боясь спугнуть разлившееся по телу расслабление, откровение души, еще недавно немыслимое, — к нему рас-

полагала угасающая вечерняя заря за окном, и мягкие сумерки, разливавшиеся в комнате, и сама кроткая доброта этого старого дома.

— Я росла под стеклянным колпаком, — сказала она. — Не то чтобы он был человек-собственник, но ограждал меня от чего только можно. Я думаю, просто он столько всякой грязи насмотрелся в этом мире, что хотел, как мог, меня защитить. Ну, не от страданий вообще, а от ненужных страданий. И потом, в университете, я избрала самое безопасное и привлекательное. Филологию. Надеялась преподавать литературу. Затем вышла замуж за человека, которого знала еще по школе, одного из своих учителей. Он обожал меня, на руках носил, ну совсем как отец. — Она тряхнула головой, и он смотрел на водопад ее темных волос. — Думаю, с этого и начались все беды.

— Но почему? — Он почувствовал внезапную острую боль тоски по Линде.

— Я не знаю. Может быть, просто во мне был заложен дух противоречия. Или наоборот. Я. между прочим, родилась под знаком Близнецов, знаете, — (с вызывающей улыбкой). — В глубине моего существа я страшно ленива. Не было ничего легче, чем потакать своим причудам, позволять себе, едва поднявшись, снова нырнуть в одно из

этих старых добрых кресел. Но это опасно. Вы понимаете, что я хочу сказать? Я в том смысле, что каждый может, конечно, обложившись мягкими подушками, всю жизнь вести этакое восхитительное существование, пока, по сути, и жить-то не перестанешь, разучишься чувствовать и сочувствовать, пребывая в вечном трансе. — Она сидела и крутила бренди в стакане. — Пока в один прекрасный день не обнаружишь, что жизнь, собственно, давно ускользнула вот так, между пальцев, а ты давным-давно не больше чем этакая безногая личинка, и уже не человеческое существо, а просто-напросто вещь, милая и бесполезная. И даже если ты попытаешься звать на помощь, тебя не поймут. Господи, тебя и не услышат. А и услышат, так подумают, просто вот, мол, новая мода завелась, и станут над тобой сюсюкать.

— И что вас выбило из колеи?

— Ничего действительно драматического и захватывающего и не понадобилось. Просто одним прекрасным утром вы открываете глаза и обнаруживаете, что внутри что-то покалывает и не дает покоя, а что, вы не понимаете. Вы идете в ванную, возвращаетесь к себе и вдруг, когда проходите мимо гардероба, видите себя в зерка-

ле. И замираете. Смотрите. Прочь одежды, они мешают вам вглядеться в себя. Лицо и тело — все, как обычно, вы смотрели на свое отражение тысячу раз. Ничего не изменилось, кроме одного. Ничего-то вы раньше не видели. Просто потому, что никогда и не смотрели. И сейчас, неожиданно это вдруг ударяет в глаза, потому что перед глазами абсолютно незнакомая фигура. Вы всматриваетесь в собственные глаза, и в свой нос, и в свои губы. Вы прижимаетесь лицом к гладкому, холодному стеклу, пока оно не запотеет, стараясь вглядеться в него, различить собственные черты. Отходите и оглядываете себя со стороны. Трогаете себя собственными руками, чтобы убедить себя, да вот же вы, вот. Но нет, не вы. Чужая, потому что касаешься и не чувствуешь прикосновения к своей плоти. И тогда в тебе возмущается твое живое естество. И, возмущаясь, требует бежать прочь, как есть нагой, на улицу, и прокричать все, что есть самого мерзкого, непристойного, что ты думаешь о людях. Но ты подавляешь это, конечно же. И оттого чувствуешь себя только еще крепче запертой в этой тюрьме. И потом вдруг осознаешь: вся твоя жизнь, которую ты провела в ожидании того нечто, что должно было случиться, и есть то особенное, действительно стоящее,

ради чего стоит жить. А то, что было, — одна сплошная трата времени.

— Я знаю, — тихо сказал Бен, и произнес это скорее для себя. — Я могу понять это чувство: ожидание и ожидание, точно сама жизнь — вклад в какой-то банк. Такой, знаете ли, депозит, что может быть выплачен вам в любой день, ну целое состояние. А потом открываете глаза, и оказывается, что жизнь не больше чем скромная кредитка в заднем кармане брюк. Никаких депозитов.

Она выбралась из кресла и, обойдя заваленный бумагами письменный стол, остановилась у окна, а он смотрел на ее маленький изящный силуэт в оконной раме, какой-то по-детски беспомощный, на угловатые, как у ребенка, плечи, точеную округлость бедер.

— Если и было что-то конкретное, что открыло мне глаза, — произнесла она, оборачиваясь, — так самое что ни на есть тривиальное на свете. Однажды наша прислуга почувствовала себя плохо, и вечером я повезла ее домой, она жила в Александре. Я выросла у нее на руках, она служила еще у папы, а после моего замужества перешла к нам с Брайеном. Мы прекрасно ладили. Прилично платили ей и так далее. А тут я, понимаете, первый

раз в жизни переступила порог ее дома. И меня это потрясло. Крохотный кирпичный домик в две комнатушки. Без потолка, без электричества, цементный пол. Как сейчас помню, стол, покрытый куском линолеума, пара расшатанных стульев да стенной шкафчик для посуды. Это в первой комнате, а в другой — кровать да жестянки из-под керосина. И все. Здесь жили она с мужем и тремя детьми и еще две сестры мужа. По очереди спали на кровати, остальные на полу. Никаких матрацев. Зима, дети кашляют. — У нее перехватило горло. — Вы понимаете, это была не бедность, ну как общепринятое понятие, что ли: всякий знает про бедность, читает в газетах, видим, не слепые, у иных даже общественное сознание развито. Но Дороти… Ведь я считала, что знаю. Она помогла отцу вынянчить меня; мы жили с ней под одной крышей, дня без нее не прошло, сколько я себя помнила. Такое чувство было, точно у меня первый раз открылись глаза на чужую жизнь. Словно впервые в жизни обнаружила вдруг, что, кроме меня, существуют, — проговорила она раздельно, — и другие, чужие жизни. И хуже всего сознание, что ничего-то я не знаю о жизни — ни о своей, ни о жизни других людей, — Она резко повернулась, обошла стол и взяла у него из рук

пустой стакан. — Давайте я вам еще налью.

— Мне хватит, — сказал Бен. Но она уже исчезла, за ней бесшумными тенями мелькнули кошки.

— Позвольте, но не поэтому же вы развелись? — сказал Бен, когда она вернулась.

Она стояла спиной к нему, выбрала и поставила на проигрыватель пластинку. Бетховен, одна из последних его сонат. Повернула ручку громкости, сделала совсем тихо, и музыка вкралась в хаос комнаты.

— Ну кто ж тут однозначно ответит, — сказала она, сворачиваясь в клубок в своем кресле. — Конечно, нет. Было и много другого. Просто я все больше и больше стала бояться быть в четырех стенах. Я стала раздражительной, сама понимала, как я безрассудна и необузданна. Бедный Брайен терялся в догадках, что вдруг случилось. И папа тоже ничего не понимал. В сущности, примерно год мы были каждый сам по себе. Я избегала смотреть в его сторону потому, что просто не знала, что я могу ему сказать. После развода я тут же сняла себе квартиру.

— Но теперь-то вы снова с отцом, — напомнил он.

— Да. Но не для того, чтобы меня снова балова-

ли и портили. Только потому, что теперь во мне нуждается отец.

— Ну а потом вы стали журналисткой, — напомнил он ей.

— Я думала, это заставит меня или хотя бы поможет проявить себя. Не даст снова погрузиться в это мое не оправданное реальной действительностью прежнее благодушие. Заставит открыть глаза и заметить наконец, что происходит вокруг.

— Радикальная мера.

— А мне и нужно было что-то радикальное. Я себя слишком хорошо изучила. Мне ведь ничего не стоило снова опуститься до эдакого самопрощения и беззаботного наслаждения жизнью. А я отважилась сказать себе: не будет этого больше. Вы понимаете?

— И помогло? — Бен почувствовал, как со вторым глотком бренди по телу разлилось тепло, вконец освобождающее его от недавней ледяной скованности.

— Мне и самой хотелось бы ответить прямо, — «А вы-то как думаете?» — говорил ее взгляд. А потом она сказала: — И я уехала, решила побродить по свету. Поначалу здесь, по Африке, а потом…

— С южноафриканским-то паспортом? Как это вам удалось?

— Не забывайте, по матери я англичанка. Так что паспорт я выправила британский. Кстати, и посейчас незаменимая вещь, когда газете нужно послать репортера.

— И что, не было никаких проблем?

Короткий, горький смешок.

— Не скажите. Хотя я их и не искала. Даже наоборот, бежала от них. — Подернула плечом с досадой. — Ей-богу, не пойму, чего ради мне плакаться вам в жилетку. Вам-то какая радость?

— Ну вот, теперь вы уклоняетесь от ответа.

Она посмотрела ему прямо в глаза, что-то взвешивая, раздумывая. А затем, в попытке отогнать нечто, вдруг навалившееся на нее, взметнулась с кресла и принялась ходить по комнате, машинально выравнивая стопки книг.

— В семьдесят четвертом я была в Мозамбике, — выдавила она наконец, — Тогда, после переворота, еще только набирал силы ФРЕЛИМО, в стране все бурлило. Кто за кого — не поймешь. — Нахлынувшие воспоминания, видно, мешали ей сосредоточиться. Так и не поворачиваясь к нему лицом, она сказала: — Ну вот, как-то вечером, когда я возвращалась в отель, меня остановили

пьяные парни, кто, что — не знаю. Я предъявила мое корреспондентское удостоверение, но не это им было нужно.

— Ну и…

— Ну, вы не понимаете? — переспросила она. — Ну а то, что отволокли на какой-то пустырь, изнасиловали и бросили, — И с неожиданным смешком: — А знаете, что самое худшее было для меня во всей этой истории? Нет? Вернуться среди ночи в отель и обнаружить, что отключили горячую воду.

Он развел руками, протестующе, весь негодование.

— И вы что, не могли… ну, заявить, или как это называется?

— Кому?

— На следующее же утро вы улетели обратно и… — подсказывал он.

— Нет, конечно, — сказала она. — У меня ведь было задание от газеты.

— Безумие!

Она только плечами пожала, ее забавлял этот его бессмысленный гнев.

— Двумя годами позже, — спокойно продолжала она, — новая поездка.

— Только не говорите мне, что все повтори-

лось.

— Ничего не повторилось. Как и всех иностранных журналистов, меня тогда задержали. Заперли в какой-то школе, пока проверяли аккредитацию. Продержали пять дней, в классе нас было человек пятьдесят, может шестьдесят. Ни сесть, ни лечь. Чувствуй плечо соседа. — Она хмыкнула. — Здесь главное была не жара, не духота или всякие там твари, а просто, что не выпускали. Можете себе представить, проторчать в джинсах, не снимая их, все пять суток? — Она плеснула себе из бутылки, которую принесла, машинально. Себе и ему. — А вскоре после этого газета направила меня в Заир, — продолжала она рассказывать, — когда началось восстание. Но там все обошлось не в пример лучше. Если не считать того, что однажды вечером, когда плыли на какой-то моторке, попали под перекрестный обстрел. Лодку в щепки; выплыли, цепляясь за обломки. Слава богу, хоть нас не изрешетили. Мужчину рядом со мной прошили пулей в грудь навылет, но он ничего, вытянул. К счастью, быстро стемнело, и стреляли наугад.

Она умолкла, и он молчал, а потом, просто ошеломленный, спросил:

— Скажите, и все это не испачкало вам душу?

Ну вот это, что было в Мозамбике, разве это не заставило вас почувствовать, что вы никогда, никогда не сможете быть такой, как прежде?

— Может быть, я не хотела быть такой, как прежде.

— Но для человека вашего круга, женщины…

— В чем разница, не вижу. Наверное, мне было даже легче, чем другим.

— Простите, не понял?

— Ну, освободиться от себя самой. Переступить себя. Научиться меньше истязать себя вопросами.

Он одним глотком выпил Всеs что было в стакане, тряхнул головой.

— А почему это вас удивляет? — спросила она. — Взять вот хоть вашу историю с этим Гордоном. То, что на вас свалилось естественно, само собой, мне пришлось постигать на пустом месте. Заставлять себя делать каждый дюйм вслепую. Порой просто страшно подумать, что я так ни к чему и не пришла. А может, «прийти к чему-то» — это тоже не больше чем частица великой иллюзии?

— Как вы можете говорить, будто мне что-то далось естественно? — запротестовал Бен.

— А разве нет?

И тут оно взметнулось в нем, внезапное освобождение от уз, подобно стае голубей, выпущенных из неволи. Вдруг и разом. Не пытаясь остановить или сдержать это в себе — откровенность Мелани и покой этой комнаты, растворившейся в полумраке, придали ему смелости, — он дал излиться всему, что долгие годы таил на душе. Он говорил о своем детстве на ферме в Оранжевом свободном государстве и страшной засухе, в которую они все потеряли; о вечных странствиях, когда отец устроился на железную дорогу, и рождественских путешествиях на поезде к морю; о годах, проведенных в университете, и этом своем нелепом бунте, который он учинил против преподавателя, когда тот велел его другу выйти из аудитории; о Лиденбурге, где он встретился с Сюзан; о недолгом учительстве в Крюгерсдорпе в школе для бедных, откуда они уехали по настоянию Сюзан, не ужившейся в этой глуши среди людей, которые им не ровня; о своих детях — своевольной и удачливой Сюзетте, мягкой и любящей Линде, не оправдавшем надежд Йоханне, агрессивном и необузданном. Он рассказал ей о Гордоне; о том, как Джонатан по субботам и воскресеньям работал у них в саду и как он рос угрюмым и непослушным, а потом

связался с сомнительной компанией и пропал во время беспорядков; о том, как Гордон пытался выяснить, что же все-таки произошло, и о его смерти; о Дэне Левинсоне и Стенли и своей поездке на Й. Форстер-сквер; о капитане Штольце с белым глянцевитым шрамом через всю щеку, о том, как он стоял тогда у дверей и все играл апельсином, подбрасывая и ловя, и, поймав, давил его с откровенным чувственным наслаждением; рассказывал, не упуская ни малейших подробностей, обо всем, важном и не имеющем отношения к делу, а просто запавшем в голову, о своей жизни день за днем вплоть до сегодняшнего.

Потом они сидели и молчали. Долго-долго. За окном опустилась ночь. Время от времени в тишину врывались звуки проносившегося мимо автомобиля, далекой сирены «скорой помощи» или полицейской машины, лай собаки, голоса прохожих, но все одинаково приглушенные тяжелыми занавесями и рядами книг, выстроившихся на полках но стенам. Давно умолк Бетховен. И единственное, что нарушало застывший интерьер комнаты, — это кошки. Время от времени они, легкие как тени, двигались украдкой. Или их урчание, когда они, отвоевав любимое место, вылизывали себя розовыми языками, прежде чем

успокоенно впасть в свою кошачью летаргию.

Но вот Мелани опустила ноги на пол, поднялась и взяла у него стакан.

— Хотите еще?

Он покачал головой: нет.

Какое-то мгновение она оставалась рядом с ним, совсем близко, так близко, что он чувствовал легкий запах ее духов. Но она повернулась и вышла из комнаты со стаканами, и платье метнулось от этого ее резкого движения и облегло ноги, и босыми ногами она неслышно ступала по полу. И от этой ее неслышной походки и непередаваемой грации ее движений ему ударило в голову, он почувствовал, как кровь прилила к лицу и пересохло горло. И еще от одного; от сознания, что вот он и она одни в этом полутемном доме, и еще только молчаливый свет лампы, и книги, и крадущиеся тени кошек, а за стенами этой странной комнаты с аркой, которую поддерживают бивни слонов, наверное, трудно себе предположить, сколько еще других комнат и других сумерек и тьмы, и все пустым-пусто, до осязания этой пустоты и сна, успокоения и тишины. Сознание же, помимо всего, ее присутствия здесь, этой молодой женщины, Мелани, двигающейся невидимо в темноте, знакомой и только более

близкой оттого, что она неслышно ступала босыми ногами, достижимая, только протяни руку, переполненная своей неподдельной искренностью и открытой женственностью, заставило его почти в смятении подняться. И едва она вошла, он сказал, что подумать только, как поздно, и что ему пора уходить.

Она, ни слова не сказав, провела его к двери и вежливо открыла ее. На веранде была темень непроглядная, и только от накаленного за день каменного пола веяло теплом. Она не включила свет.

— Зачем вы пригласили меня к себе? — спросил он вдруг. — Зачем вы подошли ко мне там, в суде?

— Вы были такой одинокий, — отвечала она без тени сентиментальности. Просто и искренне.

— До свидания, Мелани.

— Обещайте, что дадите мне знать, если что надумаете, — только и сказала она.

— В каком смысле?

— Не знаю. Прежде сто раз подумайте. Не кидайтесь сломя голову. Но если решитесь идти дальше в этом деле Гордона и я вам понадоблюсь, — он чувствовал на себе в темноте ее взгляд, — я с удовольствием помогу.

Он ничего не ответил. Подставил лицо мягким порывам вечернего ветра и молчал. Она стояла в дверях, пока он шел к автомобилю. В нем боролись чувство холодной вежливости и другое, безрассудное и нелепое, — вернуться и войти с ней и закрыть за собой дверь. И выбросить из головы весь мир. Но он знал, что это невозможно. Она сама и вернула бы его обратно в этот мир, которому принадлежала. И не колеблясь, он поспешил через сломанную калитку и сел в свою машину. Включил зажигание, развернулся, вырулил на дорогу и покатил под уклон, мимо ее дома. Не разглядеть было, стоит ли она в дверях. Но он знал, она должна быть где-то там, в темноте.

— Где ты пропадал? Почему так поздно? — бросилась Сюзан с вопросами, в голосе ее звучали упрек, но и беспокойство. — Я уж думала, с тобой что-нибудь случилось, собиралась звонить в полицию.

— Почему со мной должно что-то случиться? — отмахнулся он досадливо.

— Ты знаешь, сколько времени?

— Просто я не смог сразу поехать домой, Сюзан. — Ему не хотелось объясняться, но она упрямо ждала в дверях кухни, и свет бил ему в глаза. — Суд объявил сегодня приговор.

— Знаю. Слышала в новостях.

— Тогда ты должна понять.

Она вдруг подозрительно оглядела его. И уже другим тоном:

— От тебя пахнет вином. — Теперь в голосе было только раздражение.

— Извини. — Он не стал оправдываться перед женой.

Возмущенная, она посторонилась, давая ему пройти.

— Я понимаю, ты устал, — сказала она, смягчаясь, — А я сегодня такой ужин сотворила.

Он с благодарностью и виновато заглянул ей в глаза.

— Ну зачем было беспокоиться.

— Йоханн уже поужинал, он спешил в шахматный клуб. А я тебя ждала.

— Спасибо, Сюзан.

Она накрыла в столовой, пока он принимал душ. Он вошел с мокрыми волосами, от зубной пасты покалывало язык. Она достала серебро, открыла бутылку «шато либерте», зажгла свечи.

— В честь чего это?

— Я знала, как это все должно тебя огорчить, Бен. И я подумала, мы с тобой заслужили спокойный вечер, вместе. Просто ты и я.

Он сел. Она машинально подала ему руку для вечерней молитвы. А потом она положила на тарелки рубленое мясо, рис и овощи, и все это у нее получалось, как всегда, изящно, каждое движение. Ему хотелось поблагодарить, сказать: «Право, Сюзан, не надо, я совсем не голоден». Но он не решился и, чтобы не огорчить ее, делал вид, что наслаждается едой, а сам боролся со смертельной усталостью, тяжелым комом лежавшей внутри, навалившейся вдруг так, что не разогнуться было.

Она говорила оживленно, изо всех сил старалась вызвать его улыбку и заставить расслабиться. А получилось все наоборот. Звонила Линда и просила ему кланяться, она и Питер, к сожалению, не смогут выбраться к ним на субботу и воскресенье, он весь в работе, готовится к лекции. Мать Сюзан тоже звонила, из Кейптауна. Отец должен открыть в ближайшие неделю-другую какое-то административное здание в Вандербилпарке, и они постараются побыть там. Сначала Бен еще пытался слушать, но усталость вконец сломила его.

И это не ускользнуло от Сюзан, и она умолкла на полуслове.

— Бен, ты ведь не слушаешь.

Он встряхнулся, посмотрел на нее.

— Извини. — И вздохнул. — Прошу прощения, Сюзан. Я действительно отключился.

— Я так рада, что все кончилось, — сказала она неожиданно с чувством и тронула его за руку. — Ты меня по-настоящему напугал последнее время. Ты не должен принимать все это так близко к сердцу. Ну да все страшное теперь позади.

— Позади? — еще переспросил он, пораженный. — Мне показалось, ты сказала, будто слышала в новостях о приговоре? Это после всего-то, что вскрылось при расследовании, такой приговор…

— Суд выслушал все факты, Бен, — сказала она мягко.

— Но и я тоже! — едва не взревел он. — И позволь мне сказать тебе…

— Ты не специалист, как и любой из нас, — терпеливо возразила она. — И мы с тобой ничего не понимаем в законах.

— А судья, он что понимает? Он даже не юрист. Просто служащий по гражданскому ведомству.

— Он должен знать, что делает, у него многолетний опыт. — И с неизменной своей улыбкой: — Ну хватит, Бен. Дело закрыто. Никто не может ничего изменить.

— Они убили Гордона, — сказал он. — Сначала

они убили Джонатана, затем его. Неужели это сойдет им с рук?

— Будь они виновны, суд бы так и сказал. Я была не меньше твоего поражена, Бен, когда услышала о смерти Гордона. Но теперь-то что толку ломать над этим голову. — Она с силой сжала его руку. — Все кончилось, и хватит об этом. — И с улыбкой, пытаясь ободрить — кого только — его или себя, продолжала: — Ну, доедай свой ужин и пошли спать. Выспишься как следует, и все станет на свои места.

Он не отвечал. Сидел с отсутствующим взглядом и слушал, не понимая, словно она говорила на чужом, незнакомом языке.

6

В воскресенье утром фотография Эмили, обнимающей Бена, красовалась на первой странице английской газеты с заголовком через всю полосу: «Лицо печали». Во врезке давалось краткое изложение фактов расследования («подробно см. на стр. 2») и следовала подпись: «Г-жа Эмили Нгубене, супруга умершего в заключении, утешаемая другом семьи г-ном Беном Дютуа».

Его это покоробило, да. Но не больше. Ничего приятного, конечно, когда тебя выставляют напоказ всему свету. Но газетчики, что с них возьмешь. А вот Эмили явно потеряла над собой всякий контроль. Надо все-таки думать, что делаешь.

Что касается Сюзан, то ее это просто сразило. Настолько, что она не пожелала даже идти на воскресную службу.

— Как, как я буду сидеть там, зная, что на нас все пялятся? Что о тебе люди подумают?

— Идем, Сюзан. Я согласен, это совершенно неслыханно, вполне в духе бульварной прессы. Но что, в сущности, произошло? И потом, что мне оставалось делать, отшвырнуть ее?

— Если б ты держался от всего этого подальше

с самого начала, ты не навлек бы на нас такого позора. Ты хоть понимаешь, чего все это может стоить моему отцу?

— Сюзан, ты делаешь из мухи слона.

Но после полудня телефон звонил, не переставая. Жизнерадостная пара, их друзья, ехидно поинтересовалась, правда ли, что Бен «завел новую зазнобу»; еще кто-то, включая молодых Вивирсов, пожелавших принести им свои заверения, что они и впредь могут рассчитывать на их симпатии и поддержку. Однако все остальные, почти без исключения, были настроены отрицательно, почти враждебно. Директор школы, тот без околичностей напирал на одно: осознает ли Бен, что он — служащий министерства просвещения, что политические акции учителей встречаются там крайне неодобрительно.

— Но господин Клуте, какое это имеет отношение, ради всего святого, к политике? Женщина потеряла своего мужа. Она убита горем.

— *Черная* женщина, если позволите, Дютуа, — холодно отчеканил директор.

— Не вижу никакой разницы. — Бен еле сдерживался.

— Похоже, вы и вправду потеряли способность видеть! — Прохрипел Клуте своим астматиче-

ским дыханием, — И вы еще спрашиваете, при чем тут политика? А как насчет Закона о нарушении нравственности, а?

Один из коллег Бена среди церковных старост, Хартценберг, позвонил вскоре после воскресной службы в церкви.

— Не удивлен, что вас не было на утренней службе, — сказал он в трубку, явно желая пошутить, что, впрочем, получилось топорно. — Стыдно на глаза появляться, так надо полагать?

Но что его по-настоящему задело, так это звонок Сюзетты.

— О боже, папа, я всегда знала, что ты — сама наивность, но это… Обниматься с черной толстухой при всем честном народе… это уж слишком.

— Сюзетта, — возразил он ей в сердцах, — если у тебя есть хоть элементарная способность думать о будущем…

— Думать о будущем? От тебя ли я это слышу?! — перебила она с едкой иронией. — Да у тебя хоть мысль единая шевельнулась, как все это может отразиться на твоих собственных детях?

— Не надо об этом, Сюзетта. К своим детям я всегда проявлял больше внимания, чем это делаешь ты. — Это прозвучало куда более зло и жестоко, чем ему хотелось бы, но просто не было

сил выносить все это.

— Это ты с Сюзеттой разговаривал? Таким тоном? — спросила его Сюзан, когда он снова сел за стол.

— Да, с ней. Я ожидал от нее куда больше здравого смысла.

— А ты не находишь это нелепым? Получается, все кругом не правы, весь мир, один ты прав? — резко сказала она.

— Можете вы все оставить отца в покое? — взорвался вдруг Йоханн. — Ради бога, что он такого страшного сделал? Да что бы ни сделал, на сочувствие может человек рассчитывать? А ты как бы поступила…

— Я определенно не стала бы вручать свою судьбу в руки садового уборщика, — отвечала она холодно.

— Не надо преувеличивать, — с укором сказал ей Бен.

— Интересно, кто из нас начал?

Снова зазвонил телефон. На этот раз его сестра Элен, бывшая замужем за промышленником. Ее все случившееся скорее откровенно позабавило, и тем не менее даже она не преминула подпустить шпильку.

— Вот так так! И это человек, который всю

жизнь пилил меня за то, будто бы я только и ищу возможности попозировать перед фотографом на приеме.

— Это не смешно, Элен.

— А по мне, так очень забавно. Правда, зачем только было осложнять, это делается проще, если так уж невтерпеж было увидеть свою личность в газетах.

И даже в голосе Линды, когда она позвонила ближе к вечеру, прозвучал мягкий упрек.

— Папа, я знаю, у тебя самые добрые намерения… Но право, не лучше ли держаться подальше от газет, тем более что тобой ведь руководит-то нелицемерное желание помочь людям.

— Звучит на манер доводов твоего Питера, скажи еще о нелицемерном братолюбии, — отвечал он, не в силах скрыть досады. Весь день он ждал ее звонка, надеясь, что уж она-то его поймет.

Секунду Линда молчала.

— А я и не скрываю, что это сказал Питер. Просто я согласна с ним.

— Так ты что же, действительно думаешь, будто я специально устроил всю эту затею с фотографами?

— Нет, конечно же, нет! — Он представил себе ее вспыхнувшее от возмущения лицо. — Извини,

папа, я не хотела прибавлять тебе огорчений. Просто мне нелегко пришлось сегодня.

Он тут же забыл о своей мимолетной досаде.

— В каком смысле?

— Ну, что я могу сказать. Студенты… От них снисхождения не дождешься. А спорить с ними бесполезно.

И только одного звонка не было. Нет, он не ждал его, немыслимо. И все-таки весь этот тягостный день самым близким для него человеком оставалась она. Неотступно пребывала у него в мыслях, стояла перед глазами, как позавчерашним вечером в сумрачном свете этого старого дома в Вестдене.

Поговорив с Линдой, он отключил телефон и пошел пройтись. На улицах было пусто, и вечерняя тишина постепенно приносила умиротворение в смятенную голову.

Когда он вернулся, Сюзан собиралась ложиться спать. Она сидела в ночной рубашке за туалетным столиком, и из зеркала на него смотрело ее искаженное гневом, бледное без косметики лицо.

— Спать собираешься? — виновато спросил он. — А я прошелся, подышал.

— На сегодня с меня хватит. Ты не находишь?

— Ну пожалуйста, постарайся понять, — сказал он примирительно и потянулся было к ней обнять ее, но тут же опустил руки.

— Старалась. Больше нет сил.

— Ты так несчастна со мной?

Она резко повернулась к нему, и во взгляде ее мелькнул почти испуг, но она тут же заставила себя сохранить спокойствие.

— А разве ты пытался сделать меня счастливой, Бен? — сказала она безразлично. — Так что, пожалуйста, не терзай себя мыслями, что можешь сделать несчастной.

Он смотрел на нее во все глаза, не зная, что сказать. А она тут же отвернулась, закрыла лицо руками и разрыдалась.

Он подошел, нерешительно дотронулся до нее и почувствовал, как она вся напряглась.

— Оставь меня, пожалуйста, — произнесла она сдавленным голосом, — Все в порядке.

— Ну может, мы поговорим?

Она тряхнула головой — нет! — поднялась и молча ушла в ванную, даже не взглянув на него, и закрыла за собой дверь. Он еще подождал несколько минут и пошел к себе, как делал, когда пытался обрести утраченное вдруг равновесие, как всегда в таких случаях, раскрыл одну из

своих книг по шахматам и стал разыгрывать на старенькой, выцветшей доске классические шахматные партии старых мастеров. Но сегодня и это не принесло радости. Мешало чувство, что вот он, самозванец, жалкий любитель, повторяет ходы, сделанные двумя давным-давно умершими мастерами. Раздраженный, он оставил шахматы и убрал доску в ящик стола. Затем, все еще не отказываясь привести мысли в порядок, принялся за свои записи: короткую, ему одному понятную летопись всего, с самого начала. На бумаге это было легче видеть в целом, создавалась объективная картина, где все стройно и неминуемо прослеживается, подобно прожилкам на листочке с живого дерева. Так было легче идти от частного к целому, сравнивать, оценивать. Однако в конечном счете и тут все сводилось к этому короткому вопросу Мелани: «А дальше что?»

Потому что ничего не ясно и ни с чем не было покончено, как полагала Сюзан. Теперь, после этой фотографии, меньше, чем когда бы то ни было. Может, это вообще только начинается. Если б знать.

В одиннадцать часов вечера, словно его кто подтолкнул, он поднялся, пошел в гараж и сел в машину. У самого дома священника он чуть

было не передумал, когда увидел, что во всех окнах, кроме одного, темно. Но он решительно отринул всякую нерешительность и постучал в парадную дверь.

Ему пришлось подождать, пока преподобный Бестер в красном халате и шлепанцах собственноручно не открыл ему дверь.

— Оом Бен? Бог мой, что привело вас сюда на ночь глядя?

А он всматривался в это напряженное, узкое лицо.

— Отец мой, ныне я яко Никодим в доме твоем. Мне нужно слово твое, — сказал он шутливо.

Прежде чем посторониться и пропустить его — это не ускользнуло от Бена, — преподобный Бестер секунду пребывал в явном замешательстве.

— Конечно же. Проходите, — сказал он, но в голосе его послышался отчетливый вздох.

Они прошли в кабинет с пустыми стенами и паркетным полом.

— Чашечку кофе?

— Нет, благодарю вас. — Он достал из кармана свою трубку, — Вы не возражаете, если я закурю?

— Прошу вас, как вам будет угодно.

Теперь, когда он был здесь, он почувствовал

неуверенность, не зная, с чего начать, как подступиться к тому, зачем пришел. И в конце концов сам священник начал в своем профессиональном тоне, сказав, что, как он полагает, Бен пришел побеседовать о том, что напечатано в газете?

— Да. Вы были у нас, когда Эмили приходила с просьбой помочь ей. Помните?

— Да, конечно.

— Так что вы знаете весь ход вещей.

— Итак, оом Бен, что же произошло?

Бен раскуривал свою трубку.

— Неприятности, — сказал он. — Дотоле я черпал уверенность лишь от сознания, что дело перейдет в суд, и все тайное станет явным. Я был уверен, что будет вынесен справедливый приговор. О чем не уставал твердить и всем остальным, тем, кто был менее моего уверен в исходе дела.

— Ну и?

— Зачем вы спрашиваете? Вы знаете, что произошло.

— Суд праведен, и ничто не укроется от ока его.

— Но разве вы не читали газет, отец? — спросил он. — И в радость ли вам то, что вышло на свет божий?

— Нет, конечно, — отвечал преподобный Бе-

стер. — Всего несколько дней назад я сказал моей жене: стыд и срам то, что господь посылает на наши головы. Но теперь дело кончено, и справедливость торжествует.

— Вы называете это справедливостью?

— А что?

— А то, что я там был, — едва ли не крикнул он. — Я слышал каждое сказанное там слово. Как сказал адвокат де Виллирс, это…

— Однако, оом Бен, вам-то уж известно, как облекают они свои доводы по долгу службы.

— А долг судьи — делать вид, что фактов, которые очевидны, не существует?

— Да все ли это подлинно факты, оом Бен? Как мы можем сказать уверенно? В мире, куда ни глянь, столько лжесловия.

— Я знал Гордона. И то, что они говорили о нем, сплошная ложь.

— Никто, кроме бога единого, не видит в сердцах наших, оом Бен. Не самонадеянно ли говорить за кого бы ни было, кроме себя самого?

— У вас нет веры в вашего друга? И вы не любите ближнего своего?

— Погодите, — с величайшим терпением возразил ему Бестер, точно стремясь обратить непокорного. — Чем слепо опровергать, не заду-

маетесь ли вы о том, что у нас есть все резоны гордиться нашей юриспруденцией? Вот вы на газеты ссылаетесь. А что в газетах о России пишут, нуте-ка? А вы говорите, газеты… Да хоть и Африку взять, она большая. Уверяю вас, кое-где вообще бы до суда дело не дошло.

— А какой прок от того, что здесь дошло до суда, если сила все равно в руках горстки людей? Единственный, кому они позволили открыть рот, — это Арчибальд Тсабалала, разве он тут же не отрекся от всех показаний, что они силой навязали ему до суда? А эту девушку возьмите, которая рассказывала, как ее пытали…

— Ужели не понимаете вы, что нет проще и древнее в мире уловки спасти собственную шкуру, нежели посылать проклятия на голову стражей своих?

— Арчибальд спасал свою шкуру? Да ему куда как легче было бы держаться заявления, что они ему продиктовали. Он бы мог выйти из зала суда свободным человеком, вместо того чтобы снова угодить за решетку, в руки собственных палачей.

— Ну, видите ли, оом Бен, — сказал молодой священник, теперь уже с некоторым раздражением, — никто не отрицает, что наше общество,

как, впрочем, и любое другое, не свободно от ошибок и даже дурных поступков. Но, возмущая себя против властей предержащих, вы возмущаетесь против духа христианского. Они облечены властию бога нашего, и упаси нас, господи, сомневаться в праведности решений их. Ибо сказано: кесарю — кесарево.

— И даже если кесарь узурпирует то, что принадлежит богу единому? Если он начинает решать вопросы жизни и смерти, я все равно должен укрепить ему руку? Как тогда насчет богу — богово?

— Нет зла на земле, которого не исцелит молитва господу нашему, оом Бен. Не приличней ли нам с вами преклонить теперь колена и помолиться о нашем правительстве и каждом лице, облеченном властью.

— Эх, святой отец, нет ничего проще как переложить собственную ответственность на плечи господа бога.

— Не святотатствуете ли вы, оом Бен? Ужели вы утратили веру в него?

— Слушайте, вопрос не в том, утратил я веру или нет. Он без меня управится. Вопрос вот в чем: ждет ли он, чтобы я сделал по словам его? Вот этими двумя руками.

— Что именно?

— А вот за этим я и пришел к вам. Что я могу сделать? Что должен сделать?

— Сомневаюсь, можем ли мы что-либо сделать, вы или я.

— Даже если собственными глазами видишь несправедливость? Ждете, чтобы я отвратил лицо свое?

— Нет. Каждому дано уверовать, что место его в мире этом без упрека. Что он чист в сердце своем. Ибо в остальном мы уповаем на милость его и волю его, что не будет тщетной ревностная молитва правого человека, — он попал в свою стихию, — не будет конца страданиям, пока не откажется всякий взять и править законом в руках своих. Бог создал порядок в мире, не хаос. Вспомните, что Самуил сказал Саулу: «Подчиниться лучше, нежели принести в жертву».

— Мою проблему не решить цитатами, — сказал Бен, и голос у него прервался. — Помогите мне!

— Помолимся, — сказал молодой человек, поднимаясь со стула.

Какое-то мгновение Бен смотрел на него, ничего не понимая, обиженный. Потом подчинился. Они опустились на колени. Но он не мог смирить-

ся. Пока священник молился, он просто пялил глаза на стенку перед собой. И какие усилия ни прилагал он, стараясь вслушаться в слова, они звучали одним мерным да-будет-воля-твоя. А ему нужно было что-то еще, совсем другое.

Когда они наконец поднялись, преподобный Бестер сказал чуть ли не откровенно весело:

— Так как все-таки насчет чашечки кофе?

— Нет, я, пожалуй, поеду домой, ваше преподобие.

— Надеюсь, вы прозрели в очах своих?

— Нет, — отвечал он. — Не прозрел.

Пораженный, молодой человек взирал на него. Бену даже стало его жалко.

— Чего же вы хотите? — спросил священник.

— Справедливости. Или я хочу слишком многого?

— Что известно нам о справедливости, если мы забываем о воле господа нашего?

— А что вообще нам известно о воле господа? — бросил он в ответ.

— Оом Бен, оом Бен, — молодой человек окинул его умоляющим взглядом, — ради всего святого, никогда не делайте ничего опрометчиво. Это само по себе ужасно.

— Опрометчиво? — переспросил он. — Понятия

не имею, опрометчиво это или нет. Просто не знаю, как иначе.

— Прошу вас, обдумайте это, оом Бен. Подумайте обо всем, что за этим стоит.

— Я вот о чем думаю, святой отец. Раз в жизни, один только раз человек должен решиться и рискнуть всем.

— Человек может завоевать мир и потерять собственную душу.

Сквозь сизый дым трубки, окутавший облаком маленькую комнату, он пытливым, горящим взглядом разглядывал лицо священнослужителя.

— Единственное, что я знаю, — сказал он, — стоит ли сохранять душу, если этим я дам восторжествовать несправедливости?

Они пошли пустым коридором к двери.

— Что вы собираетесь делать? — спросил его преподобный Бестер, когда они вышли и остановились на ступенях веранды, вдыхая прохладный ночной воздух.

— Мне так хотелось бы ответить вам. Так хотелось бы понять самого себя. Единственное, что я знаю, — я должен что-то сделать. Может быть, бог мне поможет. — Он медленно спускался по ступеням, шел опустив плечи. И, обернувшись к этому

молодому человеку в высоком прямоугольнике двери, он сказал: — Молитесь за меня. У меня такое чувство, будто что-то должно случиться, будто рушится последняя грань…

И он ушел в ночь.

7

Вот уже три часа, как эта изящная химическая блондинка выдерживала его в приемной. Они с ней не поладили в первую же минуту, едва она установила, что о приеме не было условлено и, что того хуже, он отказался говорить о цели своего визита к доктору Герцогу и не проявил ни малейшего интереса, пока она перечисляла всех других хирургов, которые сегодня принимали.

— Доктор Герцог на консультации. Возможно, его не будет несколько часов.

— Я подожду.

— Он может вообще не быть сегодня.

— Я подожду.

— Даже если он будет, у него столько записано на понедельник, что он может не принять вас.

— Рискну.

Казалось, он даже не замечал ее раздражения. С полнейшим безразличием сел и принялся листать старые потрепанные номера журналов «Тайм», «Панч», «Скоп», памятки для будущих матерей, брошюры по планированию семьи, оказанию первой помощи и иммунизации. Надоедало, он вставал и смотрел в окно на глухую

стену здания напротив. И все это время не проявлял ни малейших признаков нетерпения. Придется, буду ждать хоть полдня, говорит себе кошка, устраиваясь у мышкиной норки. Так и он.

Доктор Герцог появился около половины первого. Не кивнув даже в сторону дожидавшихся его пациентов, посмотрел на них пустыми глазами, пошептался с этой изящной особой и скрылся за дверью с табличкой со своей фамилией. Девица тут же поспешила за ним. Через дверь, оставшуюся полуоткрытой, было слышно, как они о чем-то совещаются вполголоса. Затем доктор Герцог выглянул и бросил на Бена быстрый взгляд. Секретарша вышла, закрыла за собой дверь и с победным видом уселась за свой стол.

— Доктор Герцог говорит, что, к сожалению, не сможет принять вас сегодня. Если вас устроит, могу записать на среду…

— Да мне на несколько минут.

И, не обращая внимания на ее гневный протест, прошагал мимо нее, постучал и вошел, не дожидаясь приглашения.

Хирург одарил его из-за своего столика, заваленного медицинскими карточками и бумагами, сердитым взглядом.

— Разве секретарь не сказала вам, что я занят? — спросил он, не скрывая раздражения.

— Это неотложно, — сказал Бен, протягивая ему руку. — Бен Дютуа.

Доктор Герцог, не привста-в с места, нехотя подал руку.

— Чем могу служить? Видите, я завален делами.

Крупный мужчина с телосложением мясника. Неряшливый венчик седых волос вокруг лысины. Густые с сединой брови свирепого рисунка. Рябое лицо, покрытое сетью лиловых прожилок. Он сидел, перебирая пальцами бумаги, разбросанные на столике, в куртке сафари с короткими рукавами, открывавшими покрытые густой шерстью руки. Пучки волос торчали даже из ушей и ноздрей.

— Я относительно Гордона Нгубене, — сказал Бен, присаживаясь без приглашения на стул для пациентов.

Дородный, плотный мужчина перед ним не шевельнулся, ни единая жилка на лице не дрогнула. Наоборот, теперь это была холодная маска, подобно той, каменной, в которую обращается лик человеческий, когда по старинному преданию часы бьют шесть раз пополуночи. Невидимые

ставни захлопнулись на его глазах.

— Что относительно Гордона Нгубене? — бросил он.

— Все, что вы о нем знаете, — спокойно отвечал Бен.

— Почему бы вам не испросить копию судебного разбирательства у министра юстиции? — резким и почти великодушным жестом он показал наверх. — В ней все сказано.

— Я присутствовал на суде на всех, с первого до последнего, заседаниях, — сказал Бен. — Что сказал суд, я знаю доподлинно.

— Значит, вы знаете столько же, сколько я.

— Прошу меня извинить, — сказал Бен, — но у меня несколько иное впечатление.

— Могу я узнать, чем объясняется ваше участие в этом деле? — Вопрос был довольно простой, другое дело тон, каким он был задан, — зловещее предупреждение.

— Я знал Гордона Нгубене. И решил не отступаться от этого дела, пока не докопаюсь до истины.

— Не этим ли занимался суд, господин Дютуа?

— Вы знаете не хуже моего, что суд не ответил ни на один действительно важный вопрос.

— Господин Дютуа, не ступаете ли вы на доволь-

но опасный путь? — Доктор Герцог потянулся к коробке с сигарами, лежавшей открытой на столе, подчеркнуто не предлагая Бену. Не сводя с посетителя взгляда своих холодных глаз, неторопливо обрезал сигару и раскурил от зажигалки, изображавшей женскую фигурку в откровенно непристойной позе.

— Для кого опасный? — переспросил Бен.

Врач пожал плечами, пустил дымок.

— Вы не заинтересованы, в том, чтобы была сказана вся правда? — настаивал Бен.

— В рамках моей компетенции дело закрыто. — Хирург принялся перебирать на столе бумаги. — И я уже сказал вам, что чрезвычайно занят. Так что, если вы не возражаете…

— Почему служба безопасности вызвала именно вас в ту пятницу утром, четвертого февраля? Если он действительно жаловался на зубную боль, естественнее было бы пригласить стоматолога.

— Все виды медицинской помощи заключенным оказываю здесь я.

— Потому что вы отлично ладите со Штольцем?

— Потому что я окружной хирург.

— Вы ездили один или с помощником?

— Господин Дютуа, — коновал оперся на подлокотники кресла, точно готовясь рывком бросить всю свою тушу вперед, — я не намерен обсуждать эти вещи с первым встречным.

— Я просто спрашиваю, — сказал Бен. — Мне подумалось, что хирургу всегда кто-то ассистирует, даже если речь идет об удалении зуба. Ну, подать инструмент и все такое.

— Капитан Штольц оказал мне всяческую помощь.

— Значит, он присутствовал при осмотре Гордона? На суде вы сказали, что не помните.

— Ну, с меня хватит! — в ярости выкрикнул доктор Герцог, рывком поднявшись. Теперь он стоял, опираясь своими волосатыми руками о стол. — Я уже просил вас освободить помещение. Если вы сию же минуту не удалитесь сами, мне не останется ничего другого, как вышвырнуть вас.

— Я с места не двинусь, пока не узнаю доподлинно все, за чем пришел.

С проворностью, просто удивительной для этакой груды, хирург обогнул стол и замер прямо перед Беном.

— Убирайтесь!

— Извините, доктор Герцог, — сказал Бен, сдерживаясь, — но вам не удастся заткнуть мне рот на

манер того, как служба безопасности проделала это с Гордоном Нгубене.

Он думал, тот набросится на него. Но врач только тяжело дышал и из-под густых бровей какое-то мгновение сверлил Бена жестким взглядом. Затем, пылая негодованием, вернулся к своему креслу и, тяжело дыша, потянулся за оставленной в пепельнице сигарой.

— Слушайте, господин Дютуа, — выговорил он наконец, все еще тяжело дыша. — Чего ради вам нарываться на неприятности ради какого-то грязного негра?

— Потому что мне случилось знать его. И еще потому, что слишком уж легко многие усвоили себе привычку: что ни случись, просто-напросто пожимать плечами.

Врач улыбнулся, теперь с этаким жизнерадостным цинизмом, обнажив все свои золотые коронки.

— Ох уж эти мне либералы со своими заоблачными идеалами. Знаете, вам бы с мое пообщаться с этим народцем, да каждодневно, вы бы в момент другое запели.

— Я не либерал, доктор Герцог. Я самый что ни на есть обычный человек.

Тот выслушал, благосклонно хмыкнув.

— Понимаю. Не подумайте, что осуждаю вас. То есть я хочу сказать, что понимаю ваши чувства, ну вы знали этого малого и все прочее. Но послушайте, что я вам скажу: не стоят эти эмоции того, чтобы ввязываться в такого рода вещи. Конца не будет неприятностям. Когда я был помоложе, я тоже вмешивался куда не следовало. Но жизнь научила.

— Потому что спокойней… содействовать? Так ведь можно выразиться?

— А чего еще вы ждете от человека в моем положении, господин Дютуа? Господи Иисусе, каждый думает о себе.

— Так вы их и вправду боитесь?

— Я никого не боюсь! — Вся его недавняя агрессивность накатила на него, улыбки как не бывало. — Но я не дурак набитый, вот что я вам доложу.

— Зачем вы прописали Гордону Нгубене таблетки, если ничего не нашли у него?

— Он сказал, что у него головные боли.

— Скажите мне, доктор Герцог, только откровенно, вас обеспокоило его состояние, когда вы осмотрели его в тот день?

— Ни капельки.

— И тем не менее через две недели он умер.

Доктор Герцог молча попыхивал сигарой, не удостоив его ответом.

— Вы уверены, что эти две недели ни разу больше не видели его?

— Меня спрашивали об этом в суде. И я сказал «нет».

— Но сейчас мы ведь не в суде.

Врач шумно затягивался сигарой. От едкого дыма в кабинете трудно было дышать.

— Вы ведь видели его, разве нет? Они снова посылали за вами.

— Ну и что с того, какая разница?

— Так это правда?

Я ничего не говорил.

А если я представлю свидетелей, которые покажут каждый ваш шаг? И, предположим, они готовы подтвердить, что вы были на Й. Форстер-сквер как раз накануне смерти Гордона?

— Где это вы добудете такие доказательства?

— Я спрашиваю вас.

Подавшись всем телом вперед, доктор Герцог тяжело дышал ему в лицо. Потом хохотнул напряженно.

— Ладно, приехали, — сказал он. — Хватит блефовать.

— Как был одет Гордон в то утро?

— Вы что? Как это я могу помнить такие мелочи? Вы знаете, сколько у меня на дню пациентов?

— Помнили же вы, когда осматривали труп в камере?

— Просто потому, что пришлось писать заключение.

— Но не могло же вам не броситься в глаза, если он был в другой одежде, чем в первый раз. Такие вещи запоминаются. Ведь вы профессионал.

Неожиданный иронический смешок.

— А вы любитель, господин Дютуа. Этим все сказано. Ну, ладно, а теперь мне надо работать.

— Вы понимаете, что в ваших руках равно явить правду или задушить ее?

Доктор Герцог поднялся и прошел к двери.

— Господин Дютуа, — сказал он, оглянувшись, — как бы вы поступили на моем месте?

— Я спрашиваю, доктор, как поступили вы.

— Сумасбродная затея, — сказал доктор Герцог, — не более. — И открыл дверь. Секретарша тут же перехватила его взгляд. — Мисс Гусен, скажите, пожалуйста, доктору Хьюджесу, я жду его.

Бен, нехотя, недовольный собой, встал и направился к двери.

— Вы уверены, что больше ничего не хотите мне сказать, доктор?

— Ничегошеньки, уверяю вас. — Он сверкнул всеми своими золотыми коронками. — Не подумайте, что мне безразличны ваши заботы, господин Дютуа. Радостно сознавать, что остались еще люди, подобные вам, и я желаю вам всяческих благ, поверьте, — Теперь речь его лилась свободно, плавно, полная благожелательности и понимания, этакий златоуст, сытно отобедавший. — Только, — он улыбнулся, а глаза оставались холодными, — всегда чертовски жаль попусту тратить время.

8

Едва открыв калитку и увидев мужчин, столпившихся на ступенях веранды, еще до того, как мозг сосчитал, что их там семеро (а некоторых он узнал в лицо), — еще до этого он уже все понял. Был первый день нового учебного семестра, и он возвращался из школы.

Штольц протянул листок бумаги.

— Ордер, — объявил он зачем-то, хотя и так все было ясно. На щеке тонкий белый шрам. — Мы прибыли с обыском. Полагаю, мы можем рассчитывать на ваше содействие? — Утверждение, не вопрос в голосе.

— Проходите. Мне нечего скрывать. — Это не был шок, не был даже страх — вот так открыть калитку и увидеть их перед собой на ступенях собственного дома. Все показалось абсолютно неизбежным и логичным. Единственное, что сверлило мысль, — это сознание нереальности того, что именно он оказался втянутым в то, что сейчас происходит. Словно дурной сон. Руки-ноги отказывались двигаться.

Штольц повернулся к своим людям и по очереди представил их. Но большая часть имен

проскользнула мимо сознания, кроме одного-двух, которых Бен и так знал. Лейтенант Вентер, улыбающийся юноша с курчавыми волосами, знакомый Бену по их встречам на Й. Форстер-сквер. А по суду он запомнил Вослу, приземистая такая фигура, и Коха, широкоплечего атлета, человека с густыми, нависшими бровями. Они стояли, изготовившись, словно команда регбистов, раздосадованная, что вот опаздывает автобус на стадион. Все ухоженные, гладко выбритые, напомаженные, в спортивных куртках или в летних костюмах; все как на подбор пышущие здоровьем, модные мужчины с обложек, молодые отцы семейств. Такие сопровождают своих жен субботним утром за покупками в супермаркеты.

— Так вы позволите нам войти? — спросил еще Штольц с профессионально отточенной иронией в голосе.

— Конечно. — Бен посторонился, и они толпой повалили в коридор.

— Вы нас ждали? — спросил Штольц.

И тут вдруг все оцепенение как схлынуло. Разом. Он даже изобразил улыбку.

— Не скажу, что сидел и ждал вас, капитан. Но и неожиданным ваш визит тоже не назову, — от-

вечал он.

— В самом деле?

И тут помимо собственной воли он ляпнул:

— Ну завернули же вы к Гордону, едва прослышали, что он занялся расследованием обстоятельств смерти своего сына.

— Значит ли это, что вы также предпринимаете некое расследование?

На секунду во всей этой толчее людей в коридоре воцарилась мертвая тишина.

— Полагаю, этим и обязан вашему визиту, — ядовито отвечал он. — Это доктор Герцог наговорил вам?

— А вы и к нему успели? — Черные глаза Штольца оставались непроницаемыми.

Бен пожал плечами.

Появление Сюзан из столовой приостановило перепалку.

— Бен, что здесь происходит?

— Служба безопасности, — сказал он безучастно. И, обращаясь к Штольцу: — Моя жена.

— Здравствуйте, госпожа Дютуа. — И снова, строго следуя формальностям, Штольц представил по одному всех своих людей. — Прошу извинить за беспокойство, — сказал он в конце, — но мы должны осмотреть дом. — Он повернулся

к Бену: — Где ваш кабинет, господин Дютуа?

— На заднем дворе. Я вас провожу. — Он прижался к стене, чтобы дать им пройти.

Побелевшая от гнева Сюзан стояла, уставившись на них.

— Не понимаю, что здесь происходит, — сказала она.

— Буду признателен, если вы пройдете с нами, мадам, — ответил Штольц и добавил с деланной улыбкой: — Просто чтоб не надумали дать тягу и кого-то там предупредить.

— Здесь не преступники, господин капитан, — отвечала она колкостью на колкость.

— Извините, осторожность не помешает, — сказал он. Так что, если вы будете столь любезны… — А в кухне спросил: — Кто еще живет в доме из членов семьи?

— Сын, — отвечал Бен. — Но он оставлен в школе на дополнительные занятия.

— Слуги?

— Я обхожусь без слуг, — холодно отвечала Сюзан.

— Тогда идемте.

Кабинет был тесным, а при таком наплыве людей и вовсе. Казалось, они наступают друг другу на ноги. Сюзан предложили присесть, но она только

отрывисто бросила «нет». Тогда Бен спокойно расположился на стуле у двери, чтобы не торчать у них на дороге, а она осталась молча стоять в дверях, напряженная как струна. Один вышел сторожить снаружи, стоял с сигаретой в руке спиной к Сюзан. Шестеро остальных принялись методически обследовать комнату, суетливые, вездесущие, как стая саранчи. Ящики письменного стола были выдвинуты, составлены на полу в штабель, и Штольц со своим лейтенантом принялись опустошать их, перебирая содержимое. Вентер сидел на корточках перед шкафчиком — Бен смастерил его специально, чтобы хранить школьные бумаги: экзаменационные билеты, циркулярные письма, текущие отчеты, памятные записки, докладные, расписание уроков, инспекторские отчеты. Кох еще с одним шарили по полкам в угловом шкафу, там он держал свои личные документы: счета, расписки, квитанции об уплате подоходного налога, страховое свидетельство, банковские извещения, метрики, письма, семейные альбомы, дневники, которые время от времени вел. Начал он их еще в студенческие годы, а когда стал учительствовать — сначала в Лиденбурге и потом в Крюгерсдорпе, — у него вошло в привычку просто записывать все, что

представлялось интересным или забавным. Всякие казусы на экзаменах, выписки из сочинений учеников; уморительные слово-обороты их с Сюзан малышей, пометки по поводу почему-либо запомнившихся разговоров — вдруг когда-нибудь понадобятся; впечатления, размышления о своей работе или о текущих событиях, о книгах, которые читал, — все это, однако, большей частью не представляющее ровным счетом никакого интереса и непонятное для кого бы то ни было, кроме него. Последние годы он, случалось, доверял бумаге и вовсе уж абсолютно личное: свои отношения с Сюзан, мысли о Линде, Сюзетте или Йоханне, о друзьях. А теперь вот Кох со своим коллегой дотошно листали все это страничку за страничкой, тщательно вчитываясь, пока остальные полицейские обследовали мебель, отыскивая, очевидно, в ней тайники, осмотрели даже обивку стула (Бену пришлось подняться), задние стенки полок, коробку с шахматными фигурами и даже вазочку из полудрагоценного камня, привезенную некогда из Юго-Западной Африки. И наконец, Кох свернул ковер — что под ним?

Тут уж Бен не выдержал.

— Почему бы вам не сказать просто, что вы

ищете? — выпалил он, — и не тратить, ни времени, ни сил. Я ничего не прячу.

Штольц поднял на него глаза — он копался в третьем по счету ящике стола — и бросил:

— Не беспокойтесь, господин Дютуа. Все, что нас интересует, мы найдем.

— Дело ваше, я просто хочу помочь вам.

— Вот именно, наше.

— Что ж, вы достойны его.

Поверх горки ящиков его письменного стола на него сверкнули черные пристальные глаза.

— Господин Дютуа, вы просто не знаете, чем мы заняты ежедневно, каждый божий день, а то бы поняли, почему мы так щепетильны.

— Не могу не оценить вашего усердия, — съязвил он.

Штольц не принял шутки, парировал холодно, даже жестко:

— Не уверен. Позвольте усомниться в вашей искренности. В том-то и вопрос со всеми вами, критиканами. Одного понять не можете, что сами же прокладываете врагу дорогу. Коммунистов не выловить, если сидеть сложа руки и сладко подремывать. Попомните мое слово. А они этим и пользуются.

— Я ни в чем не обвинял вас, капитан.

Штольц ответил не сразу, помолчал.

— Просто хочется, чтобы вы поняли. Не все, что приходится делать, доставляет нам удовольствие.

— Но есть наверняка и другие способы, капитан, — рассудительно сказал Бен.

— Понимаю, вам неприятно, что у вас учиняют обыск, — сказал Штольц, — а только поверьте мне…

— Да я не об этом, — сказал Бен, — подумаешь, частный случай. Я о другом.

И тут вдруг все как по команде замерли. Не стало слышно даже шелеста страниц, а то он стоял словно в червоводне, где копошатся тысячи шелковичных червей. И наоборот, откуда-то издалека донесся обычный велосипедный звонок.

— О чем же тогда? — спросил Штольц.

И все они стояли и ждали, что он ответит. Вот тогда-то он и решил принять вызов.

— О Гордоне Нгубене, — сказал он. — И о его сыне. И о многих других, им подобных.

— Я вас правильно понял? — очень спокойно поинтересовался Штольц. Шрам у него на щеке, казалось, стал еще белее. — Вы обвиняете нас…

— Я только сказал, что все это, вашу работу то есть, можно делать и другим образом.

— Вы хотите сказать…

— Оставляю это на вашей собственной совести, капитан.

Офицер молча разглядывал его. Так они сидели в разных углах маленькой комнаты, заполненной полицейскими чинами, и не замечали никого вокруг. Были и другие, все они были здесь, целая комната глаз, но их Бен не видел, одного Штольца. И именно в этот момент Бен вдруг понял со всей ясностью, хотя и отнесся к этому совершенно спокойно: дело больше не только в «них», каких-то там отвлеченных людях, не только; не в какой-то еще более абстрактной «системе». А вот в этом человеке. В этом худощавом бледном человеке, стоящем теперь перед ним лицом к лицу, за его, Бена, собственным письменным столом, среди разбросанных повсюду останков и реликвий всей его жизни. Это ты. Теперь я знаю тебя в лицо. И не думай, что сможешь и мне заткнуть глотку. Я не Гордон Нгубене.

На том и кончился их разговор. Они не стали даже продолжать обыск, словно враз потеряли всякий интерес к нему. Может, они вообще не относились к этому серьезно: так, разминка для мышц, не более.

Страница, на которой мелькнула фамилия д-ра

Герцога — Бен сделал заметки после встречи с окружным хирургом, — попалась Вентеру на глаза, когда ящики стола были поставлены на место, закрыты шкафы, а на письменный стол услужливо сложили все, подлежащее конфискации. И эта страница оказалась здесь среди всех остальных бумаг, писем и дневников Бена. Ему был выдан первый экземпляр расписки об изъятии, второй они оставили себе.

Вернувшись в дом, они попросили показать им спальню. Сюзан пыталась было вмешаться: это, по ее представлениям, было слишком личное и чересчур унизительно, вульгарно, наконец, вмешиваться в такое. Штольц принес извинения, но настоял, чтобы обыск был произведен. В уступку Сюзан было разрешено не присутствовать при этом и побыть в гостиной в компании с этим Вентером, а Бен повел остальных в спальню. Они пожелали узнать, это ли именно его кровать и где его гардероб. Наспех проверили его одежду, заглянули под подушку. Один из них забрался на стул и заглянул на платяной шкаф, пока другой перелистал Библию и еще две книги, оказавшиеся на тумбочке у кровати. После этого все вернулись в гостиную.

— Кофе? — выдавила из себя Сюзан.

— Нет, спасибо, мадам Дютуа. У нас еще полно дел.

У парадной двери, провожая их, Бен сказал:

— Похоже, мне следует поблагодарить вас за такое культурное обхождение.

Штольц отвечал без улыбки:

— Вот мы и поняли друг друга, господин Дютуа. Если у нас появятся подозрения, что вы от нас что-то скрываете, мы вернемся. Хочу, чтобы вы знали — времени у нас хватит. Надо будет, весь дом перевернем.

За официальностью тона, каким все это было сказано, и всей его манерой держаться Бену виделся — а может быть, это ему показалось? — человек, сидящий в закрытой камере в ярком свете электрической лампы и методически исполняющий свое дело, если потребуется день и ночь, пока не будет поставлена последняя точка.

Они ушли, а он еще минуту-другую стоял перед захлопнувшейся дверью, физически ощущая расстояние, отделявшее его от окружающего мира. И все это почти спокойно, может быть, даже с некоторым облегчением.

Он слышал, как за спиной у него захлопнулась дверь спальни. И повернулся ключ. Господи, как будто это было необходимо. У него и в мыслях не

было идти теперь к ней.

Мысли и чувства все еще были отключены. Он не мог, просто не в состоянии был проанализировать, что произошло. Действовал механически. Он пошел в гараж и принялся там расчерчивать под распил какую-то деревяшку, бесцельно, просто чтобы чем-то себя занять. Постепенно движения обрели логику, стали осмысленными, пусть даже смысл их и заданная цель пришли на ходу. Он делал потайное дно для ящика с инструментами, прилаживая его так, чтобы никому и в голову не пришло, что оно двойное. Теперь, если придется что-то действительно прятать от их вездесущих глаз, у него будет тайник. Какое-то время физическая работа успокаивала сама по себе. Не акт самозащиты, нет. Прямо противоположное. Определенное и решительное. Некое новое начало действовало в нем.

9

Среда 11 мая. День, о котором не скажешь: обычный. Я о вчерашнем визите людей из СБ. Трудно передать на бумаге все это, но я постараюсь. Излагать полными предложениями полезно, подобно дыханию полной грудью. Попытаюсь. Но рубеж перейден, решительно и бесповоротно. Отныне я буду делить свою жизнь на До и После. На манер того, как говорят о всемирном потопе. Или о яблоке с опасного древа познания, плоде грехопадения нашего. Можно теоретизировать, да. Но о привычнейшем из событий — смерти, — что скажешь, не испытав? Кто постигнет, не испытав? Сейчас, на расстоянии, я, как никогда остро, осознаю, что случилось. До? Представляется, я был просто ошеломлен. Но теперь день сегодняшний. После. Странно и необычно. Все чужое. Дети, они говорят «доброе утро», а ты смотришь и не узнаешь их лиц, не знаешь, отчего они к тебе обращаются. Звонок посылает тебя из класса в класс, и ты подчиняешься, не осмысливая причины. Открываешь рот без малейшего представления, что скажешь. Все само по себе. Твои собственные слова звучат в ушах как чужие,

и твой голос — чужой и доносится из далекого далека.

Здание, комната, столы, классная доска, парты, кусочки мела — все странно. Утрачены причинные связи с целым. Ты полагал: вот здесь тебе и предстоит идти, выбирая дорогу; что неким необъяснимым образом ты — часть целого. Теперь же это непостижимо. Теперь ты таишь в себе нечто свое, чем не смеешь поделиться ни с кем на свете. Ничего общего с тайной, отнюдь. («Ни в жизнь не угадаешь — вчера они нагрянули ко мне с обыском!») Нечто другое по сути своей. Как если б ты существовал в другое время или в другом измерении. Ты по-прежнему видишь других, тебе подобных, обмениваешься звуками речи. Но не более как по стечению обстоятельств, ненамеренно. Ибо ты по другую сторону. Как это объяснить?

Третий урок свободный. Бродил по школьному двору. В воздухе осень. Падают листья, обнажая структуру ветвей. Четкие, открытые глазу линии. И никогда не было так странно. Время от времени доносятся голоса из классов, выхваченная из целого фраза, пение, дробное, ни с чем не связанное. В дальнем конце здания чистят фасад. Одно и то же, снова и снова. Удручающе, как деревья, не

отягощенные листьями, как голые, точно проволока, ветви; бесцельно, бессмысленно.

В холле поет хор. Государственный гимн. По случаю предстоящего на этой неделе… — на этой неделе? кажется, так — посещения школы администратором. Мелодия ломается на фразы. Первая, вторая; мальчики, девочки; затем все вместе. И-и, раз. Жить иль погибнуть — все в воле твоей, Южная Африка, край дорогой. Еще раз, пожалуйста: Жить иль погибнуть — все в воле твоей… Нет, нет, не так. Продолжаем. Вот, теперь лучше. С самого начала, пожалуйста. Нам благовест звучит с безоблачных небес. Пойте открытым ртом. Жить иль погибнуть, жить иль погибнуть, жить иль погибнуть — все в воле твоей. Всем, сколько нас есть, погибнуть. Всем вам, милые маленькие дети, поющие невинными голосами, вам, девочки, заливающиеся краской от смущения и краешком глаз поглядывающие на мальчиков, боже упаси, чтоб только не заметили выдавленный утром прыщик на носу; вам, мальчики, исподтишка раздающие друг другу тычки под ребра линейкой или пришлепывающие потной ладошкой соседу мистический знак на спину — передай дальше! Жить иль погибнуть вам, в воле твоей, о Южная Африка, край

дорогой!

А через несколько минут мы все вернемся в класс, словно ничего не случилось, каждый за свое. Мне спрашивать, вам отвечать. Я буду преподавать вам урок об этой земле, о господствующем направлении ветров, зонах осадков, океанских течениях, горных цепях и реках, о национальном продукте, о попытках человека взять под контроль выпадение дождя и покончить с опустошительными сухими сезонами. Я стану учить, откуда вы родом, рассказывать о трех суденышках, на которых приплыли первые белые люди — о африканеры, — и о первой товарообменной сделке с готтентотами, и первом вине, и первых свободных бургерах, как они обосновывались на берегах Лисбека в 1657 году. О пришествии гугенотов. О династии губернаторов ван дер Стел и политике, исповедуемой ими:

о Симоне, взявшемся сосредоточить белых в Капской провинции и споспешествовавшем росту естественного классового расслоения, о его сыне Виллеме Адриане, поставившем себе целью, напротив, экспансию, подвигнувшем первых фермеров открывать новые земли и селиться среди туземцев; о расовых трениях, диспутах на этот счет, пограничных войсках. 1836 год:

массовый исход эмигрантов-буров — Великий трек — в поисках свободы и независимости в других землях. Недолгая победа Бурской республики, последовавшая за открытием алмазов в Кимберли и золота в Витватерсранде. Наплыв чужеземцев и торжество интересов британского империализма. Англо-бурская война, концентрационные лагеря, лорд Милнер, англизирование школ. 1910 год: объединение, Союз и новое начало, «Южная Африка превыше всего». Дальше. Буры восстают против решения их собственного правительства поддерживать Великобританию в 1914 году. Доведенные до нищеты, фермеры стекаются в города. Восстание рудокопов в 1922 году, буры против империалистов. Большевики в России тоже. Официальное признание языка африкаанс. Перевод Библии. 1933 год: Коалиционное правительство. Война. Африканеры уходят в подполье. Оссева-Брандваг. Нерушимые мечты о республике. И наконец, националистическое правительство у власти. Итак, вы сами можете видеть, мальчики и девочки, мы прошли долгий путь. Вспомните, как говорили, когда поднялось восстание против ван дер Стела в 1706 году: «Я

не уйду. Я африканер, и пусть даже landdrost[10] убьет меня или посадит за решетку, я отказываюсь держать язык за зубами». Всю нашу историю, дети, можно определить как извечный и непрекра-шающийся поиск свободы против диктата преуспевающих завоевателей из Европы. Свободу, выраженную на языке этой новой земли, этого континента. Мы, буры, некогда были первыми борцами за свободу Африки, показавшими путь остальным. И теперь, придя наконец к власти на своей собственной земле, мы хотим даровать такое же право самоопределения всем остальным окружающим нас народам? Они должны иметь свою собственную отдельную территорию. Мирное сосуществование, всестороннее развитие для всех — не это ли выражение нашего собственного понятия о чести и собственного достоинства и альтруизма? В конце концов, у нас нет другого выбора. Нам некуда идти из этих просторов. Это наша судьба. Жить или погибнуть — все в воле твоей, Южная Африка, край дорогой! Нет, нет, что-то не так. Попробуем еще раз.

Бескрайние просторы. Поездки по железной дороге мальчишкой. Конечная платформа по бо-

---

[10] Примечания: 10
Управляющий аннексированной территорией *(африкаанс).*

ковой ветке до нашей станции, семь часов на эти тридцать пять миль. Остановки у каждого столба, грузят и разгружают бидоны с молоком, грузят уголь, заливают воду, а то останавливаются и вовсе среди пустого поля, в вельде, и воздух струится зыбким горячечным маревом на горизонте. И название. Написано краской на белой дощечке, столько-то футов над уровнем моря, столько-то миль до Кимберли, столько-то до Кейптауна. Абсолютная бессмысленность, если принять во внимание, что и написано-то так, что ничего не разберешь. Какое, к черту, имеет значение, как называется пустое место или сколько от него миль до следующего ничто?

С самых ранних лет всякий знает, или верит, или ему внушают, что определенные вещи существуют в определенных обстоятельствах. Например, что общество основано на порядке, здравом смысле, справедливости. И что, как только порядок нарушается, всякий может воззвать к врожденной порядочности либо здравому смыслу, а то призвать к законности, дабы исправить ошибку и потребовать ее устранения. А потом без всякого предупреждения появляется Мелани и говорит вскользь такое, чему отказываешься верить; ты обнаруживаешь, что все, что считал

условием первым и непременным всему сущему, то, что просто принимал за должное и само собой разумеющееся, — всего этого попросту не существует. Ожидал видеть нечто незыблемое, оно оборачивается просто ничем. За дощечкой, возвещающей название, и высоту, и расстояние, — ничто, пустое пространство, в лучшем случае отмеченное сарайчиком из рифленой жести, молочными бидонами да пустыми пожарными ведрами.

Все, что принимал за данное с такой уверенностью, не затрудняя себя даже сомнениями, теперь обращается иллюзией. Ваша уверенность — доказанная ложь. А что будет, если попробуешь доказать обратное? Не должен ли ты поначалу учиться от и до новому языку понятий?

«Гуманность». Обычно это слово употребляется как синоним состраданию, милосердию, сочувствию, честности. «Он такой гуманный человек». И что надо выстраивать ряд антонимов: безжалостность, бессердечие, безразличие, бессовестность?

Темнеет.

А все-таки Мелани — свет во мраке. (Но почему? Имею ли я право даже мысль такую допускать?)

Суть проблемы: столкнувшись единожды,

пусть мельком, позволив хотя бы усомниться, ненароком, уже бесполезно притворятся, будто все это тебя не касается. Она была права. Мелани. Мелани. И единственный вопрос здесь тот, что задала она: «Что дальше?»

Начать с того, что было. Остановись, естественный ход вещей: что-то случается — я реагирую, и что-то выступает в качестве противодействия. Пришло в движение нечто громадное, грубое, неуклюжее. И в этом причина моего состояния. Потрясение? Так попытаемся быть разумными, объективными: так ли я абсолютно беспомощен — нет же, — неуместен по существу, а действиями своими все только усложняю? А не то, что сама мысль об отдельном человеке, пытающемся вмешаться, абсурдна?

Или я ставлю вопросы неверно по существу? Есть какой-нибудь смысл в попытках быть «разумным», в самом поиске «практических» аргументов? Конечно же. Рассуди я, чего могу добиться в практическом смысле, я мог бы не тешить себя даже надеждой. Значит, здесь должно быть что-то другое. Но что? Может быть, просто автоматизм поступка, когда делаешь то, что сделал бы всякий, потому что ты — это ты, потому что ты оказался на месте всякого другого.

Я Бен Дютуа. Здесь я стою. Никто другой, как я. Здесь. Сегодня. Сейчас. Посему должно быть нечто, что могу сделать именно я — не потому, что это важно или значимо, но просто потому, что только я. Потому, что мне случилось быть Беном Дютуа; потому что никто другой в мире не является Беном Дютуа, один я.

Так что не по существу и вопрос: что со мной станет? Или: как могу я действовать против моего собственного народа?

Может быть, это неотъемлемая часть самого выбора: тот факт, что я извечно воспринимал «мой собственный народ» как настолько само собой данное, вынуждает меня теперь размышлять на пустом месте. Никогда раньше для меня здесь не было проблем. «Мой собственный народ» всегда был вокруг меня и со мной. На каторжной ферме, где я вырос, в церкви по воскресеньям, на продажах имущества с молотка, в школе, на вокзалах и трамвайных остановках, в трущобах Крюгерсдорпа, у себя в пригороде. Люди говорят на моем языке, хранят на устах имя господне, делят со мной историю, которую кто-то из ученых называл «историей европейской цивилизации в Южной Африке». Мой народ, что выстоял три столетия и сейчас стоит у власти и которому

теперь грозит угасание.

«Мой народ». А еще есть и «другие». Лавочник-еврей, англичанин-аптекарь — все, кто обрели в городе естественную среду обитания, иначе Родину. И черные. Мальчики, которые пасли со мной овец и с которыми я воровал абрикосы и насмерть пугал обитателей хижин, выставляя в оконце привидения из тыквы с прорезанными глазницами, подсвеченными изнутри сальной свечкой, и которых наказывали со мной заодно, хотя мы были такими разными: мы жили в доме, они — в грязных лачугах, где крышу над головой, чтобы не унесло, придавливали камнями. Их одаривали нашими обносками. Им было велено стучаться с черного хода. Они подавали нам за столом, нянчили наших детей, выносили за нами ночные горшки, величали нас «baas» и «miesies»[11]. Мы не спускали с них глаз, и платили за услуги, и проповедовали им святое евангелие, и помогали им, понимая, как им-то достается в жизни. Но все это оставалось в рамках незыблемого: «мы» и «они». Такая простая и удобная межа. Сказано было, и верно, что не надлежит людям смешиваться, что каждому должен быть отведен свой удел земли,

[11] Примечания: 11
Хозяин; госпожа *(африкаанс).*

где ему жить и вести себя сообразно и среди таких же, как он. И будь даже этого не предписано без обиняков в Священном писании, но определенно же предполагается многоликостью творения отца нашего всеведущего, и не приличествует и не надлежит нам вмешиваться в творение рук его либо пытаться улучшить пути его. Ибо этот путь, какой есть, извечен.

Но вдруг и всего этого становится недостаточно, это больше не действует. Что-то бесповоротно изменилось. Я стою на коленях у гроба моего друга. Обращаюсь на кухне к женщине в трауре, какой могла бы быть в скорби моя собственная мать. Вижу отца, отчаянно разыскивающего сына. Случись, я так же разыскивал бы своего. И причина этой скорби и этих неустанных поисков тоже «мой народ».

Так кто он, «мой народ сего дня»? Кому мне хранить и нести свою верность? Должен же быть кто-то, что-то должно быть? Или никого, ничего, и ты совершенно один в этом пустынном *вельде* под табличкой с названием несуществующей станции?

Единственное, что весь день тревожит мою память, куда как более овеществленное, нежели эти вот добротные каменные школьные корпуса, —

это то далекое лето, когда мы с отцом перегоняли овец. Засуха, та, что отняла у нас все, оставила ни с чем, обожженных зноем, одних на всем белом свете среди белых же скелетов.

Все, что было до этой засухи, никогда меня особенно не занимало, да и в памяти не запечатлелось, ибо тогда и только там я впервые открыл себя и весь мир. И мне кажется, вот я ищу себя на грани надвигающегося нового сухого белого сезона, быть может, куда более жестокого, чем тот, что запомнился с детства.

Что дальше?

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Ночью город выглядел незнакомым, другой город. Когда они подъехали к придорожной таверне «У дядюшки Чарли», солнце село. Но еще раньше, у дымящих на всю округу труб электростанций, нестерпимый пламень солнца померк в тяжелом облаке дыма и гари, размазался, подобно румянам. Зимний холодок повис в воздухе. Сеть выветриваемых временем и погодой дорог и тропинок в вельде; затем железнодорожный переезд. И, круто свернув направо, дорога разбежалась по улочкам, обстроенным рядами прилепившихся друг к другу, приземистых строений. И наконец они здесь, и все, как в прошлый раз, вокруг них, и, как и в прошлый раз, они были переполнены чувствами, но только теперь другими. Темнота зримо смягчала и затушевывала неистовство противостоявших сил, скрывала детали, резавшие глаз. Нищета? Мерзость запустения? Где вы это видите? — вопрошала она. Все было как было, оглушая самим фактом своего существования, чуждым, пугающим даже. Хотя темнота же и успокаивала. Она скрывала от откровенно уставившихся на тебя глаз. А свет, мелькавший в

квадратных оконцах неисчислимых домиков — мертвенно-бледный, газовый, теплый от свечей и керосиновых ламп, — вызывал в памяти дорогие сердцу детские воспоминания о поездах, проносившихся в ночи мимо забытого богом разъезда. Нет, здесь все было наполнено жизнью, только с донельзя приглушенным звуком. Словно выключили привычный уху диапазон частот, оставив лишь нечто скрытое от слуха и тайное, осязаемое не слухом, но плотью. Сотни тысяч отдельных жизней, чье существование тогда, в первый раз, ощутимо воспринималось: детей, играющих в футбол, цирюльников, женщин на перекрестках улиц, молодых людей с сжатыми кулаками — теперь обратились в расплывчатое очертание некоего единого вездесущего организма, урчащего и шевелящегося, жадно поглощающего все и вся, подобно гигантской утробе, и переваривающего, проталкивающего дальше волнообразным сокращением своих стенок, чтобы либо усвоить либо извергнуть в темноту.

— Что это вы разглядываете? — поинтересовался Стенли.

— Стараюсь запомнить дорогу.

— Не старайтесь, это не для вас занятие. — Но он сказал это без тени неприязни, с симпатией

даже. — А потом, я-то здесь на что?

— Знаю. Но предположим, мне придется как-нибудь добираться самому?

Стенли рассмеялся, круто рванул руль, бродячая собака едва не угодила под колеса.

— И не пытайтесь, — сказал он.

— Не могу я, Стенли, вечно висеть у вас камнем на шее.

— К черту. Мы одно дело делаем.

Это его тронуло больше, нежели все, что он слышал от Стенли до этого. Выходит, в конце концов права Мелани: каким-то непостижимым путем его «приняли».

Он позвонил Стенли накануне вечером. До этого целый день терзался сомнениями. А чтобы Сюзан ничего знать не знала, пошел звонить из телефона-автомата за три квартала от дома. Договорились встретиться от четырех до половины пятого, но Стенли еще опоздал. Так что, когда эта его громадина белый «додж» показался на стоянке, там, где они и в прошлый раз встречались, было чуть не половина шестого вечера. Хоть бы извинился, ни слова. По правде говоря, его даже удивило раздражение Бена.

На этот раз он был без этих своих темных очков, они торчали из кармана коричневой куртки.

Сорочка в полоску, галстук в цветочек, не галстук, а гербарий. На манжетах сорочки запонки с крупную монету.

Он рванул с места так, что, когда взревел мотор и взвизгнули колеса, садовник в голубой робе на лужайке против гаража только рот разинул и долго смотрел им вслед.

— Я думаю, следует кое-что обсудить с Эмили, — сказал Бен, когда машина спокойно покатилась наконец по улицам. — И в вашем присутствии, конечно.

Стенли подождал, что еще. Присвистнул, довольный. Согласен.

— Служба безопасности устроила у меня обыск третьего дня.

Здоровяк рывком повернулся к нему.

— Вы что, шутите?

— Нет, правда.

Трудно сказать, какой реакции он ждал, все, что угодно, только не этого: из нутра Стенли раздался утробный хохот, он чуть не пополам согнулся от смеха и едва на тротуар не выехал.

— Что вас так развеселило?

— Они в самом деле нагрянули к вам? — Хохоча и будто не веря собственным глазам, он пялился на Бена. И тут же хлопнул его по плечу. — Ну,

встряхнитесь же, белый. — Он еще долго фыркал от смеха и, вытирая слезы, спросил: — А зачем это они, как по-вашему?

— Я думаю, тут не обошлось без доктора Герцога. Он ведь был на суде. Ну, я и отправился поговорить с ним в расчете выяснить, что он действительно знает о Гордоне.

— Он что-нибудь сказал?

— Ничего не вытянуть. Но я уверен, он знает больше, чем пожелал сказать. Или боится полиции, или сотрудничает с ними.

— А чего вы еще ожидали? — Стенли усмехнулся, — Так это он и вывел на вас фараонов? Забрали что-нибудь?

— Старые записи. Ну, письма кое-какие. Ничего особенного. Да ничего и не было. Может быть, они просто хотели припугнуть меня.

— Не очень-то обольщайтесь.

— Что вы имеете в виду?

— По тому, что вы знаете, они и впрямь могут подумать, что здесь дело серьезное.

— Не верю, чтобы они были настолько глупы.

— Белый вы человек, — протянул он с самоуверенной ухмылкой, — никогда не переоценивайте этих типов из СБ. Конечно, с ними не зевай, в любую щель пролезут, этого у них не отнимешь.

Им ведь только намекни, будто они на какой-то там след вышли, — ну заговор там, — и я вам говорю, их уж ничем не убедишь отступиться. Хуже пиявки присосутся. По упрямству тупому эти gattes ну просто чемпионы. Я их не первый год знаю. Уж если они решили, что, мол, бомбу ищут, тут хоть их носом в компот тычь, они богу поклянутся, что это бомба.

Бен почувствовал, как у него помимо воли заходили от злости желваки. Но он не дал себя убедить.

— Говорю вам, Стенли, они просто хотели припугнуть меня.

— Так чего ж вы не испугались?

— Именно потому, что они так старались. Если они намереваются меня шантажировать, я должен знать с какой целью. Что-то должно стоять за этим. Без вас мне не справиться. Но если вы мне поможете, мы раскопаем, что за этим кроется. Знаю, это — нелегкое дело, придется запастись терпением. Но мы с вами, Стенли, можем действовать вместе. Это наш последний долг перед Гордоном.

— Последний? Вы уверены, что больше уже ничего не изобразишь? Ну, что поздно?

— Вы помните день, когда я сказал: мы должны

быть осторожны, пока это не зашло слишком далеко? Вы тогда еще посмеялись надо мной. Вы сказали, что это только начинается. И были правы. Теперь я понимаю. Ну так вот, я дойду до конца. Если поможете.

— Что значит до конца? — Теперь Стенли был предельно серьезным.

— Сам пока не знаю, а только придется размотать всю цепочку.

— Думаете, они позволят?

Бен тяжело вздохнул, сказал:

— Какой смысл загадывать, Стенли. Будем довольствоваться тем, что есть, наше дело идти шаг за шагом.

Этот здоровенный парень за рулем, рядом с ним, только хмыкнул, но с явным облегчением. И они долго ехали молча в густом дыму и пыли дороги, пока Стенли не затормозил у какой-то черной дыры, что равно могло быть переулком и обыкновенным пустырем. Когда Бен потянулся открыть дверцу, Стенли остановил его.

— Нет-нет, погодите. Это чуть дальше. Сначала я проверю.

— Вы что же, не предупредили ее?

— Сделано. Лишних глаз не хочу. — И, поймав на себе недоумевающий взгляд Бена, объяснил: —

Здесь, в кабаке, полно осведомителей. А у вас своих проблем хватает, а? Ну, пока. — И, хлопнув дверцей, исчез в темноте.

Бен слегка опустил стекло. В машину тотчас потянуло едкой гарью. Сознание — ощущение? — освобожденного от телесной оболочки звука переполнило его и все нарастало. И снова, только еще с большей силой, нахлынуло чувство, будто он в некоем чудовищном чреве, урчащей утробе: вот оно бьется, черное сердце, сокращаются и расслабляются мышцы, железы извергают свою непостижимую субстанцию. В отсутствие Стенли все это обрело еще более угрожающий и зловещий вид, вырисовалось в некоем аморфном и оттого только более жутком своем естестве. То, что заставляло его оставаться здесь и сидеть и ждать, притаившись, когда напряжена каждая жилка и пересохло во рту, не было больше страхом перед бандой цоци или полицейским патрулем и не сознание, что он может вдруг подвергнуться нападению среди ночи, а нечто переполняющее и непостижимое, как сама ночь. Начать с того, что он не знал даже, где находится. И случись, Стенли не вернется по какой-то причине, он никогда ни за что не выберется отсюда. У него ни карты, ни компаса, равно как

ни малейшего представления, куда и как идти в этой кромешной тьме, — ничего, на что можно было бы опереться в памяти. У животных хоть инстинкт, а тут ничего, ну ровным счетом. Открытый всем мукам и беззащитный перед ними, он сидел, не смея шелохнуться, чувствуя, как по коже бегают мурашки даже от легкого дуновения воздуха в щелку чуть приоткрытого окна.

В этой беспросветной ночи Соуэто воспринимался более реально, чем тогда, в первый раз, средь бела дня. Просто потому, что с ним не было Стенли. Никогда прежде не ощущал он так остро полной и абсолютной изоляции двух этих миров и того факта, что лишь через посредство их двоих, его и Стенли, этим мирам дано соприкоснуться, пусть на миг и условно, и что только с помощью Гордона это вообще стало возможным. Гордон. Все неизменно возвращалось к нему.

Так он сидел, всецело во власти этих неистово захвативших его мыслей и потеряв счет времени, пока вдруг рядом с ним не оказался Стенли.

— Вам не привидение являлось? — спросил тот, и Бен разглядел в тусклом свете загоревшейся в кабине лампочки, как он улыбается во все лицо.

— Похоже на то. — От облегчения он даже позволил себе пошутить. — Теперь я знаю, что

такое Черная Опасность, которая внушает людям такой ужас.

Где-то неподалеку, на соседней улочке, пронзительно закричала женщина, и эти душераздирающие вопли, точно ударами, рассекли ночь.

— Что случилось? — Бен засуетился, готовый выпрыгнуть из машины и бежать на помощь.

— Откуда мне знать? Убивают. Насилуют. Все, что угодно.

— И мы ничем не можем помочь?

— Жить надоело?

Крик оборвался каким-то глухим животным воем и тут же растворился в нестройном ропоте ночи.

— Но Стенли…

— Пошли. Тетушка Эмили ждет вас.

Возвращенный к реальности этим деловым тоном, Бен последовал за ним. Но тут же поймал себя на том, что по-прежнему напряженно вслушивается в темноту, не раздастся ли снова этот крик. Они шли от одной высокой фонарной мачты к другой, поставленным редко, с прожекторами на каждой и создававшим вкупе с ровными блоками строений впечатление концлагеря. Время от времени Бен спотыкался — о жестянку, искореженное автомобильное крыло;

какой только хлам не покрывал темную улочку! Стенли шел легко и уверенно, подобно огромной черной кошке в родной стихии.

Они прошли через шаткие воротца и поднялись по ступенькам. Стенли постучал, Бену показалось, условным стуком. Плащ и шпага, тайный стук. Совсем как в захватывающей игре из далекого детства. Эмили тут же открыла, словно ждала у двери. Крупная, в своем старомодном длинном платье до полу, она казалась бесформенной массой плоти. Посторонилась, давая им пройти. В комнате горела единственная газовая горелка, и углы тонули в полумраке. У стены, противоположной двери, под старым одеялом, прижавшись друг к другу, спали дети; Бен еще подумал: пирожки на противне. На полке буфета стоял включенный транзистор, еле слышно играла музыка. Все как было. По стенам так же висели картинки из календаря и какие-то плакаты. На выскобленном добела столе стояла швейная машинка. Старая доверова плита в углу. Ваза с искусственными цветами. Цветастые занавески. Застоявшийся, навечно продымленный, спертый от запаха немытых тел воздух. За столом сидел маленький седой человек в потертом черном костюме, походивший на юркую ящерицу свои-

ми очень черными, очень блестящими глазами, мигающими в бесчисленных складках морщинистого лица.

— Это отец Масонване из нашей церкви, — представила его Эмили, точно извиняясь за его присутствие.

Человечек улыбнулся, обнажив беззубые десны.

— Мы уже встречались, — сказал он, — когда morena был здесь в прошлый раз.

— Баас должен сесть, пожалуйста, — сказала Эмили. — Вот на этот стул, другой у нас сломался.

Бен сел, чопорно и прямо, на некотором расстоянии от стола.

— Ну, — объявил Стенли от двери, — я пошел. Толкуйте на здоровье. Пока.

Бен в испуге даже приподнялся.

— Почему вам не остаться?

— Да клиент тут один ждет. — Сказал Стенли. — Не беспокойтесь. Я вернусь. — И, не дав Бену возразить, выскользнул, снова с удивительной для такой громадины ловкостью. И они остались втроем у стола, освещенного шипевшей газовой горелкой.

— Я поставлю воду для чая, — сказала Эми-

ли, — но только придется подождать. — Она все возилась у плиты в углу, не решаясь сесть в присутствии Бена.

— Я не хотел бы затруднять вас, — сказал он, повернувшись к священнику.

— Отец Масонване столько для меня делает, что вы, — тут же возразила Эмили.

Маленький человечек на это только загадочно улыбнулся.

— Я пришел поговорить с вами, Эмили.

— Да, это хорошо, баас.

— Теперь, когда суд бросил нас, нам самим придется собирать свидетельские показания, какие только сможем. Стенли готов помочь мне. Мы должны разузнать все о Джонатане и Гордоне, чтобы смыть с них позор.

После каждой фразы он делал паузу, ожидая, что она ответит, но она молчала, и священник тоже молчал. Закашлял ребенок на полу у стены, другой что-то пробормотал во сне.

— Мы не можем вернуть им жизнь, — сказал Бен. — Но должны сделать так, чтобы такого рода вещи никогда не повторились.

— У вас добрые намерения, morena, — произнес наконец старик священник. Он говорил медленно и очень правильно, точно взвешивал каждое

слово. — Но лучше забыть. Ибо если мы не предадим забвению боль нашу, то ненависть и горечь оставим в сердцах наших.

— Но когда нечем дышать, разве не проветривают комнату?

— Только в грозу ведь не открывают окна.

— Нет, — сказала, чуть не выкрикнула Эмили. — Нет, баас прав. И не потому, что я не хочу отступиться от всего этого, а потому, что все это дурно. Одно то, что Джонатан мертв, что Гордон мертв… — Она едва перевела дух оттого, что сказала столько слов подряд. Но, отдышавшись, продолжала: — Дай бог это перенести. Но я прощу… Отец Масонване внушил мне урок. — Она воздела глаза, и свет падал теперь прямо на ее круглое лицо. — Но они покрыли грязью имя Гордона. Они оклеветали моего мужа. И мы должны очистить его от скверны, не будет иначе мира его праху.

— Нет, сестра Эмили, — произнес старый пастор, покачав головой. — Нет и нет. — И его собственный, ставший сухим голос обрел вдруг настойчивость. — Те люди, что совершили это над ним, суть грешники, бедные духом, и не ведают, что творят. С терпением отнесемся к ним. Нам должно возлюбить их, ибо порушатся иначе

все устои в царствии этом.

— Они убили Гордона, — горячо возражал Бен. — Человека, который мухи не обидел. И еще убили Джонатана, вовсе ребенка. Как же можете вы говорить, что они не ведают, что творят?

Священник только покачал седой головой.

— И еще скажу: не ведают, что творят, — повторил он, — Не верите вы мне? Знаю, что тяжко говорить это, но истинно говорю. Не ведают. Даже стреляя детей наших, не ведают. Ибо думают, что не важно это, думают, будто не людей убивают, думают, не воздастся им за нас. Мы должны помочь. И это единственно. Они нуждаются в нашей помощи. Не в ненависти, но любви.

— Вам легко говорить, — сказал Бен. — Вы священник.

Старик усмехнулся, снова обнажив свои беззубые розовые десны.

— Да, я смирился, когда они забрали моих сыновей в тюрьму, morena, — произнес он. — И всякий раз, как я иду в город, я обязан предъявлять полиции свой паспорт. Бывают и среди них, что обходятся со мной уважительно. Но есть и другие, из молодых, моложе моих сыновей, что швыряют его на землю едва взглянув. Было время, и у меня была одна лишь ненависть к ним, когда в сердце

моем была горечь, яко орех горький миндаль. Но я поборол это и открылись мои глаза. И осталась жалость к ним, и теперь я молюсь за них перед господом богом нашим.

— Они смешали с грязью имя Гордона, — спокойно возразила Эмили, смотря прямо перед собой, точно не слышала его слов.

— Не страшишься ли ты, сестра Эмили? — предостерег он ее.

Она покачала головой.

— Нет. Настает такое, когда устаешь страшиться, — отрезала она.

— Только сегодня ты еще оплакивала мужа. И вот ты уже готова осушить слезы на глазах.

— Я их все выплакала, отец Масонване, — отвечала она. — И вот господь бог послал мне бааса.

— Подумай, что ты говоришь.

Эмили замерла в полутьме у стены, где спали ее дети.

— Отец, вы всегда учили меня верить в господа бога нашего. Вы говорили: вечны чудеса, что творит он. Сегодня он послал мне моего бааса, белого господина. Не чудо ли это? — И, вздохнув, повторила тем же спокойным, решительным тоном: — Они покрыли грязью имя Гордона. Мы должны очистить его.

— В таком случае я ухожу. — Старик тяжело вздохнул и поднялся, — Суета в сердце твоем сегодня, сестра Эмили. — И с извиняющей улыбкой он открыл дверь и вышел.

Теперь они были одни в доме, он и Эмили, да еще спящие дети. Какое-то время они молча смотрели друг на друга, оба смущенные; он чопорный и прямой на своем стуле, она расплывшаяся и обрюзгшая у своей плиты. И оба вздохнули с облегчением, когда наконец закипела вода в чайнике. По крайней мере теперь ей было чем заняться. Она налила ему в белую чашку с выщербленной золотой каемкой и категорически покачала головой, когда он попытался было протестовать: нет, сначала вам. И, соблюдая формальности до конца, она так и осталась стоять за стулом, где еще недавно сидел пастор, и так до тех пор, пока Бен помешивал чай ложечкой, пока не пригубил из своей чашки. Кто-то из детишек посапывал во сне.

— Что же мне теперь делать, баас? — спросила она.

— Мы должны собрать информацию, все, что сможем, понимаете? Вы и Стенли должны действовать вместе. Попытайтесь найти всех, кто может рассказать нам хоть что-нибудь о Джона-

тане или Гордоне. И все, любую мелочь, самую незначительную, сообщайте мне. Или посылайте Стенли. Вы действуйте здесь, именно здесь — у вас тут глаза и уши. А я буду собирать все, что вы узнаете.

— У меня есть для вас кое-что, баас.

— Что?

Она подождала, пока он допьет чай.

— Не знаю только, могу ли я отдать вам это, — сказала она.

— Покажите.

— Это единственное, что у меня осталось от Гордона.

— Все будет в полной сохранности, обещаю вам.

И тут она, явно нервничая, сначала закрыла дверь на ключ и потом какое-то время стояла к нему спиной там же, у двери, точно не могла решиться. Но потом решилась, полезла за лиф своего платья и что-то вынула. И так же нерешительно подошла и положила это на стол рядом с его чашкой. Маленький смятый клочок бумаги.

Два листка, как оказалось, когда он развернул. Один линованный, видно, из школьной тетрадки, а другой — просто ровный обрывок туалетной бумаги. Оба исписаны мягким карандашом, едва

различимым теперь, бумага потерлась на сгибах, не разгладить. Почерк нетвердый, и слог странно официальный. В первой записке можно было разобрать:

> «Моя дорогая жена ты не должна беспокоиться обо мне но я очень скучаю о тебе и детях ты должна заботиться о них во имя господа бога нашего и боже тебя упаси. Я стражду и не могу понять что они хотят от меня и все время кричат но я надеюсь что скоро буду дома и думаю всегда о вас. С сердечным приветом
>
> ***от вашего отца»***

На обрывке туалетной бумаги почерк был вовсе неразборчивым.

> «Моя дорогая жена я по-прежнему как и был (несколько слов неразборчиво) хуже и очень много настрадался ты должна попытаться помочь мне потому что они не хотят (неразборчиво) меня. Ты должна заботиться о детях а если нужны деньги попроси в церкви или у моего (неразборчиво) хозяина который добр к нам. Не знаю вернусь ли домой живым так они

(неразборчиво) но все в воле божией и я очень по тебе скучаю. Помоги мне потому…»

На бумаге оставалось еще достаточно места, но фраза обрывалась на середине строки.

— Она не подписана, Эмили, — сказал Бен.

— Я знаю почерк Гордона, баас.

— Каким образом вы получили эти письма?

Она вынула носовой платок, аккуратно развернула его, высморкалась и убрала в карман.

— Кто вам принес их, Эмили?

— Я не могу сказать. — Она отвела глаза.

— Я должен знать, если мы решились продолжать это дело.

— Знакомый. Но я боюсь повредить ему, баас. У него могут быть неприятности по службе.

Бен спросил подозрительно:

— Он что, связан с полицией?

Она отвернулась и пошла поправить одеяло, которым были укрыты дети. Явно чтобы выиграть время.

— Эмили, обсудите с ним это. Скажите ему, что я сохраню все в тайне. Но я просто должен знать, поймите.

— Он не сможет прийти.

— Тогда скажите мне только имя.

Какое-то время она еще колебалась, прежде чем произнесла почти в смятении:

— Джонсон Сероки. — И тут же, крайне взволнованная, снова с тревогой в голосе принялась убеждать его, что все это бесполезно, он ничего не расскажет.

— Вы не можете прислать его ко мне?

Она покачала головой. И, протянув руку, добавила:

— Лучше, если вы вернете мне это.

Бен накрыл листки бумаги рукой.

— Нет, Эмили. Это единственный способ обелить его имя.

После долгого колебания она опустила руку.

— Когда вы получили эти письма? — спросил он.

— Первое почти сразу, дня через два-три, как его забрали. А другое, — она напряженно припоминала, теребила нитку на платье, — а другое позже. Как раз перед тем, как мне выдали его белье, баас, ну и те брюки, что были в крови и где я нашла зубы.

— А потом?

Она отрицательно покачала головой.

— Нет, это было последнее, потом ничего.

— Но, Эмили, почему же вы мне сразу не сказали?

— Если бы они узнали о письмах, ему бы только хуже пришлось.

— Но после его смерти вы могли бы мне сказать? Например, когда мы были в суде.

— Тогда бы они отобрали их у меня. Я боялась, баас.

— Может быть, все обернулось бы иначе.

— Нет, — твердила она свое. — Покажи я их на суде, они бы опять вызвали того человека, и он бы сказал, что это не Гордона почерк. — Она тяжело вздохнула. — Я все-таки думаю, лучше бы вам вернуть их мне, баас.

— Обещаю вам, Эмили, они будут в сохранности. А ведь так важно, если с их помощью мы получим дополнительные свидетельства. — Он сильным движением подался к ней, опершись о стол обеими руками. — Эмили, вы обязаны поговорить с Джонсоном Сероки. Однажды он оказал вам услугу, передал эти письма. Может быть, он снова согласится помочь нам. Ради Гордона и Джонатана сделайте это, Эмили.

— Он не стал ничего рассказывать. Просто передал письма.

— Обещайте по крайней мере, что поговорите

с ним.

— Я-то поговорю, да он не станет слушать. Люди так запуганы, баас.

— Вот это для нас самое страшное. Запуганы и поэтому молчат. Но ведь тогда нам вообще не удастся доказать, что это письма Гордона.

Понимая, что его настойчивость становится неприличной, он твердил все-таки одно и то же, в отчаянии снова и снова взывая к имени Гордона, ибо не знал другого пути заставить ее откликнуться. Постепенно разговор перешел на Гордона, они оба успокоились. Говорили и о Джонатане, но больше о Гордоне. Вспоминали разные мелочи: что он сказал, что сделал — все, что приходило на память. В Эмили уже не чувствовалось недавнего напряжения, она налила ему еще чая. Так они сидели и предавались воспоминаниям о Гордоне и Джонатане и о втором сыне, Роберте, бежавшем в Ботсвану.

— Не стоит так уж беспокоиться о нем, — говорил Бен. — Трудный возраст. Все проходят через это. У моей жены тоже постоянные проблемы с нашим мальчиком.

Все стало так просто, непринужденно — родители обсуждают проблемы воспитания детей. И недавней натянутости, того, что мешало най-

ти правильный тон в общении с Эмили, как не бывало. Да и сам Гордон предстал вдруг в неожиданном свете, не расплывчатым, как раньше, изображением. Его собственная причастность тоже стала другой — более личной, конкретной.

Он вздрогнул, когда в дверь постучали, и тревожно посмотрел на Эмили. Но она спокойно отвечала, что это Стенли, и пошла отворить ему.

— Ну как, тетушка Эмили? Приятно потолковали? — И не дожидаясь ответа, протянул Бену пачку «Лаки страйк»: — Подымим?

— Нет, спасибо. — Бен машинально потянулся за своей трубкой, но так и оставил ее в кармане.

— Чаю? — предложила Эмили.

— Благодарствуем, тетушка, по мне это слишком крепко. Как насчет виски?

— Ты же знаешь, я не держу дома выпивки, — сказала она.

— Ну, тогда двинули, — Он повернулся к Бену: — Можем заправиться неподалеку, здесь есть.

— Мне чуть свет в школу, Стенли.

Стенли отогнул манжету рубашки, обнажив на запястье огромные золотые часы.

— Побойся бога, приятель, время еще детское.

— Не среди недели же, — вежливо пытался

отказываться Бен.

— Понятно. Старая пуританская кровь возмущена? — От его смеха задребезжала посуда на буфете. — Ладно, пошли. Там кое-кто хочет вас видеть. — У дверей помахал рукой на прощание: — Очко в твою пользу, тетушка Эмили.

И они тут же оказались в ночной темноте, вовсе сгустившейся, пока он сидел здесь. Точно час, проведенный в этом домике, был просто-напросто антрактом между двумя действиями пьесы, игравшейся во тьме. Они ехали по улочкам, неровным, в рытвинах, миновали железнодорожный переезд и покатили по простору черного открытого вельда. Где-то далеко замелькали в угадывавшемся шлейфе дыма от электростанции мириады искорок и вырвался язык яркого пламени. И снова ночь. Через несколько минут Стенли завернул куда-то за дом и повел его к черному ходу.

Ничего нового. Бен знал такого рода заведения: веселенький линолеум и бар напоказ, декоративные тарелки на стенах, подносы, расписанные райскими птицами, яркие подушки на диванчиках и креслах.

Входная дверь была полуоткрыта.

— Это еще что? — проворчал Стенли и метнулся

в сторону. Через минуту вернулся, ведя мужчину. Тот пытался непослушными руками застегнуть молнию на брюках. Выглядел он лет на сорок. Клетчатая рубаха, зеленые штаны, ремень с громадной литой бляхой, коричневые с белым туфли забрызганы.

— Боже всесильный! — сказал Стенли тоном скорее наигранным, чем сердитым. — Совсем спятил! Это на ступеньках-то моего крыльца!?

— Пузырь чуть не лопнул.

— Что ж ты так нагрузился…

— А что мне еще, по-твоему, остается делать? — с укоризной произнес незнакомец, уставившись на Стенли с изумлением, вытащил цветной носовой платок, целая косынка, и силился вытереть лицо. — Сил больше никаких нет сидеть здесь вот так и ждать. Задницу отсидел. Слушай, дай еще выпить, а?

— Погоди с выпивкой. Сначала познакомься. Это господин Дютуа. Бен, это Джулиус Нгакула. Адвокат, который заполучил первое письменное показание под присягой насчет Джонатана.

Незнакомец одарил его откровенно неприязненным взглядом. Смотрел даже агрессивно.

— Не обращайте внимания, — ухмыльнулся Стенли. — Он только и функционирует, когда

мертвецки пьян. На его голове это не отражается. — Он поместил Джулиуса на стул, где тот так и остался сидеть развалившись, вытянув ноги во всю длину и хмуро поглядывая на Бена сквозь смыкавшиеся веки. Стенли налил всем троим виски.

— Что ему здесь надо? — Джулиус Нгакула одним глотком осушил полстакана и впился в Бена глазами.

— Я привез его сюда по делу Гордона, — невозмутимо отвечал Стенли, усаживаясь на диванчик. Нелепо тонкие ножки, казалось, тут же переломятся под его грузным телом.

— Гордон мертв. И Гордон наш. Какие еще могут быть дела у этого mugu[12] к нашему Гордону?

Бен залился краской от гнева. Он готов был встать и уйти, и ушел бы, если б Стенли, которого все это только забавляло, не остановил его жестом.

— Не забирайте себе плохого в голову на его счет, ну, что он такой, — сказал Стенли. — Этот подлец, когда надо, умеет быть одним из лучших адвокатов во всем предместье. В прошлом году, когда они потянули после волнений всех этих

---

[12] Примечания: 12
Морда, рыло (*искаж. англ.).*

ребят в суд, он дни и ночи напролет работал, чтобы спасти людей. Сотни дел провел — это я вам говорю, — пока они не запретили ему практику. Но это уж когда он заполучил письменное показание по делу Гордона. Так что накрылась его практика, и теперь ему ничего другого не остается, как напиваться, когда поднесут.

На Джулиуса Нгакулу все это, похоже, не произвело особого впечатления.

Стенли вернулся к нему.

— Слушай, — сказал он, — Бен хочет, чтобы мы не оставляли так этого дела.

— Он белый, — бросил Джулиус, не сводя с Бена враждебного взгляда и демонстративно подергивая ногой.

— СБ из-за Гордона у него весь дом перевернула.

— Беленьким и остался.

— Он вхож, куда нам и носа не сунуть.

— Дальше.

— А у нас зато связи, каких у него нет. Вот мы и соединим силы. Что скажешь?

— Скажу, что не доверяю я ему. Он белый.

Бен изо всех сил старался сдержать гнев. Но это уже было слишком. Он не выдержал.

— Надо полагать, вы ждете, пока я отвечу: а

вы — черный, и я не доверяю вам? — выпалил он, швырнув очки на столик, — А вам не приходит в голову, что это не игра в шахматы? Пора выбираться из этого тупика. — И повернулся к Стенли: — Ей-богу, не понимаю, какой от него помощи можно ждать. Неужели не видите, они его сломили, сломленный человек.

К его удивлению, костлявое лицо Джулиуса расплылось в иронической улыбке. Он потянул виски, все, что оставалось в стакане, подержал во рту, пополоскал горло и проглотил. Утерся рукавом.

— Сыграем по новой, — сказал он совсем другим тоном, чуть ли не с признательностью. — Посмотрим, кому это удастся сломить меня!

— Почему же тогда вы не поможете нам? — сказал Бен. — Ради Гордона.

— Ох уж эти мне белые либералы! — сказал Джулиус. — Плесни, Стенли, а?

Беспричинная, животная какая-то ярость, как тогда, в его визит к этому окружному врачу, заклокотала у Бена в груди.

— Либерал?! — выхлестнул он в ярости. — Ну нет уж! Не там ищите. Я африканер.

Стенли налил виски Джулиусу и себе, содовой не стал добавлять. Они сидели молча, оба смот-

рели на Бена.

Потом Стенли спросил:

— Ну, так как же все-таки, а, Джулиус?

Тот ворчливо, с улыбкой и без следа былой неприязни:

— А он в порядке, этот белый, — и подобрался, теперь он сидел на краешке стула, опершись локтями о колени. — И на что ж вы нацелились? — спросил он.

— Главное — раскопать все, что они стараются скрыть. Пока не соберем достаточно улик, чтобы заставить их вернуться к делу. Не останавливаться до тех пор, пока не будем уверены, что собрано все. Тогда виновные могут быть наказаны, и мир сможет узнать, что произошло.

— Вашими бы устами.

— Вы намерены нам помочь? Да или нет?

Тот неторопливо улыбнулся.

— С чего начнем? — спросил он.

— С показаний, которые вы добыли по делу Джонатана.

— Не пойдет. Их конфисковали при аресте Гордона.

— У вас что, не сохранилось копии?

— Слушайте, не у одного у вас был обыск.

— В таком случае следует разыскать этих людей

и пусть они повторят заявления.

— Эту сиделку так припугнули, что, боюсь, она от одного вида пера и бумаги в ужас придет. А парень, тот и вовсе подался в Ботсвану.

— Ну, — весело подхватил Стенли, — это уж дело техники. Всего и забот-то? Найти и заполучить у них новое заявление?

— Мне запрещена практика.

— А штаны протирать не запрещено? — Стенли поднялся. — Обмозгуй, пока я отвезу человека домой. Пока ему не досталось на орехи от его миссус.

— Да, кстати, — сказал Джулиус, принимая прежнюю позу, — вчера ко мне забегал Джонни Фулани.

— Кто это? — поинтересовался Бен.

— А проходил по делу, один из арестованных. Его заявление фигурировало на следствии, помните? Когда с Арчибальдом Тсабалалой у них ничего не вышло, они решили трех остальных не вызывать. Ради безопасности государства. Джонни Фулани теперь освободили.

— И что он говорит?

— А вы чего от него ожидали? Мордовали, пока не подписал. То и говорит.

— Тем более. Вот и у него возьмите заявление.

— Взял уже.

Бен улыбнулся:

— Отлично. Вы не подошлете мне копию со Стенли? Все будет в сохранности.

— А если к вам снова нагрянут?

— Не беспокойтесь. Об этом я подумал, — сказал Бен. — Я себе такой тайник соорудил, век не сыщут.

Джулиус еле поднялся со своего стула и протянул руку Бену.

— До скорого, и смотри, не прикасайся больше к этому пойлу, — сказал Стенли, показывая на бутылку и стараясь придать голосу как можно больше строгости.

На обратном пути, когда они снова мчались в тряском экипаже Стенли, Бен спросил, зачем тот устроил эту встречу.

— Затем, что он нам нужен.

— Можно было найти любого другого адвоката.

Стенли только посмеялся.

— Знаю. Да его этим запретом как под дых ударили. Совсем сник. А мы ему дело даем, человек снова на ноги встанет. — Беззаботный и довольный смешок. — Эх, белый, я что скажу, у меня такое чувство, что нам с вами ох какой неблизкий

путь предстоит. И всю дорогу придется искать людей, пока в самый раз не наберем. Вон когда еще нас будет столько, чтобы они и счесть не могли. Численное превосходство.

Остаток пути он напевал что-то, левую свободную руку вытянул в окно и барабанил себе в такт по крыше «доджа».

2

Воскресенье 15 мая. Снова был у Мелани. Неизбежное неизбежно, надо полагать. Она мне необходима в этом расследовании, и она сказала, что согласна помочь. В то же время сама мысль представить ее себе чем-то не больше, чем просто помощницей… Нет. Но тогда что?

Несправедлива по отношению к ней сама мысль, что она несет мне беду. Мое положение, наконец! Человек среднего возраста, с понятиями о ценностях, проистекающими из принадлежности к среднему классу. Педагог. Старше возрастом. «Уважаемый член общества», что с вами происходит?

С другой стороны, она — или, может быть, мне это только кажется, отвечает взаимностью. Вдохновляет. Точнее? Началось ни в коей мере не преднамеренно, чистое стечение обстоятельств, абсолютно невинно. Не рисковать чистотой эксперимента. Бывают моменты, к которым, ради себя самого же, не следует возвращаться. Пример неожиданный. Ожидания, возможности, надежды. Но излишне додумывать. Слишком поздно. Я дал задний ход.

Так что же сковывает мои чувства? Наверное, стечение обстоятельств? Ведь даже сейчас они думают, что я уединился у себя, «чтобы приготовиться к завтрашним урокам». «В воскресенье-то!» — возмутилась Сюзан.

Она невозможна с того самого вечера, когда я в четверг вернулся от Стенли. «Боже, ты что, из казармы?! Чем от тебя несет? Опять напился? Из какой забегаловки тебя принесло?» Точь-в-точь как много лет назад, в Крюгерсдорпе, когда я решил как-то навестить родителей моих учеников. Этого она не могла вынести. Даже хуже, чем тогда. Соуэто. При всей справедливости к ней, однако, этого в ней я не могу вынести. Она решила, что все кончено, и не дает жить ни мне, ни себе. Этот визит людей из СБ выбил ее из колеи. Дважды уже ходила к врачу. Нервы, мигрени, успокаивающие средства. Я должен быть более внимательным. Если б только она попыталась понять…

Словно нарочно, чтобы все усложнить, на конец недели нагрянула еще и Сюзетта с семейкой.

Как бы там ни было, все обходилось в рамках разумного до самого субботнего утра. Гулял с Хенни, младшим отпрыском Сюзетты. Обходили каждую лужицу, и все-таки малыш вывозился в грязи как последний поросенок. Он ни на минуту

не переставал тараторить: «Ты знаешь, дедушка, а ветер, он тоже простыл. Я сам слышал, как он ночью шмыгал носом. У него тоже сопли?»

Сюзетта вдруг вспыхнула, потому что я позволил, видите ли, ему вольно выразиться. Дурное влияние с моей стороны, учу ребенка скверным манерам и все такое. Потерял терпение. Сказал, что если речь идет о дурном влиянии, так с ее стороны. Эти ее вечные путешествия и один флирт на уме. А бедный ребенок не видит никакого внимания. Это и привело ее в ярость. «Не тебе упрекать меня на этот счет. Мама говорит, что забыла, когда тебя самого последний раз дома видели».

«Ты не отдаешь себе отчета, Сюзетта, в том, что говоришь».

«А ты? Как насчет всех этих твоих черномазых дружков-приятелей, с которыми ты бражничаешь у них в предместье? Я бы на твоем месте со стыда сгорела».

«Я отказываюсь с тобой разговаривать в таком тоне».

Она была в ярости. Роскошная женщина, вылитая копия своей матери, особенно когда сердится.

«Ах, вот как! В таком случае да будет тебе из-

вестно, зачем мы, собственно, приехали на этот раз, — сказала она. — Чтобы попытаться поговорить с тобой начистоту. Дальше так продолжаться не может. Крис как раз ведет переговоры в Совете провинции насчет нового проекта. Тебе очень хотелось бы, чтобы они все завалили? А это твое безумие…»

«Вот как, твой отец безумец».

«Вот именно. Я давно размышляю, все ли у тебя в порядке. Водить дружбу с черномазыми! Ничего подобного у нас в семье не было».

Крис держался куда разумнее. По крайней мере он хоть готов был слушать. Думаю, он согласен, что дело Гордона нельзя оставить просто так, пусть даже он и не одобряет в душе моих поступков. «Я уважаю ваши мотивы, отец. Но мы, националистическая партия, как раз готовим население к большим переменам. И если это ваше дело вызовет новый взрыв, на что и рассчитано, оно только затормозит нам работу. Весь мир и так готов вцепиться нам в глотку, мы не можем быть игрушкой в их руках. Мы, африканеры, переживаем, как никогда, трудные времена, и нам стоило бы держаться вместе».

«То есть сплотим наши ряды вокруг любой непристойности, на манер того, как команда

регбистов закрывает телами игрока, с которого в пылу игры стянули трусы?»

Крис рассмеялся. По крайней мере человек не потерял чувства юмора. Хотя и сказал на это: «Вот именно, па, просто обязаны наглухо закрыть. Не выставлять же неприличие напоказ белому свету».

«Слушай, Крис, и сколько же все это будет продолжаться? Ведь ничегошеньки не делается, одни слова».

«Ну, не надо так уж и сразу требовать результатов, слишком рано».

«Извини. Но, как говорится, такими темпами мельницу крутить, без муки останешься. Это не по мне, не доживу».

«Как говорится?..»…И кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если б повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы его в глубине морской… Как там дальше-то говорится?

Не подвернись тут Сюзетта, мы, может, и нашли бы общий язык. У него самые добрые намерения, я знаю. Но Сюзетта полезла с репликами, а тут еще эта накаленная обстановка в доме с того вечера, в четверг. И я сорвался. И после ленча сел в машину и укатил. Но и тогда без всякой еще

мысли ехать в Вестден. Просто гнал куда глаза глядят, чтобы развеяться. Субботний день, улицы пустые. Я и вправду встряхнулся. Мужчины и женщины в белом на теннисных кортах. Зеленеют стадионы. Черные няни в форменной одежде толкают по лужайке кресла-коляски. Мужчины, обнаженные до пояса, моют свои автомобили. Женщины в бигуди поливают газоны. На углах улиц сидят или лежат, пристроившись поудобнее, черные. Они держатся шумными группами, непринужденно болтают, смеются. Ленивая неподвижность солнца, последних его теплых лучей накануне холодов.

А потом я снова оказался на улице, ведущей вверх по холму, перед старым домом с верандой полукругом над красными ступеньками.

Я проехал в гору, не останавливаясь, развернулся и снова покатил, улица здесь идет под уклон. Но через милю притормозил. А почему нет? — подумал я. В этом нет ничего плохого. По сути, даже желательно, если вообще не крайне необходимо, обсудить с ней план действий на будущее.

Поначалу я принял его за садовника, цветного малого. Сидит человек на корточках у клумбы, прополкой занимается. Вельветовые брюки испачканы землей, черный берет с пером цесарки,

на охотничий манер, рубаха цвета хаки, во рту трубка, на ногах уж и вовсе ни на что не похожее, рвань какая-то в лепешках грязи, надетая на босу ногу и без шнурков. Это и был ее отец, старый профессор Фил Брувер.

— Прошу прощения, — проворчал он, когда я к нему обратился, — Мелани нет дома.

Седой спутанной гривы месяцами, видно, не касалась расческа. Прокуренная козлиная бородка. Лицо загорелое, продубленное всеми ветрами, кожа точно на старом, отслужившем свое ботинке, и еще бойкие темно-карие глаза, полускрытые нависшими над ними косматыми бровями.

— Тогда, полагаю, нет смысла ждать, — сказал я.

— Кто вы? — спросил он, так и сидя на корточках у своей клумбы.

— Дютуа. Бен Дютуа. Заеду в другой раз.

— А мы говорили о вас. Почему же не подождать? Она должна скоро вернуться. Задержалась в редакции. Хотя неисповедимы пути ее. Или я неправ? Почему бы вам не помочь мне с прополкой? Отлучился ненадолго и вместо сада нахожу джунгли. Мелани не видит разницы между культурным растением и сорняками.

— А что это за растения? — поинтересовался я,

чтобы поддержать разговор.

Он вскинул на меня глаза — я должен был сквозь землю провалиться, столько в них было снисходительного упрека.

— Куда идет мир! Да травы же, ужели не видите? — И он принялся тыкать пальцем и объяснять: — Тимьян, душица обыкновенная, сладкий укроп, иначе фенхель, шалфей. А в междурядьях везде розмарин, — Он поднялся, разогнул спину. — Но почему-то явно не тот аромат.

— На вид очень буйно растут.

— Буйного роста далеко не достаточно. — Он принялся выбивать трубку. — Что-то не то с почвой. Настоящий тимьян можно видеть в горах южной Франции. Или в Греции. Крито-микенская культура. Во-он куда восходит. Видите ли, это как виноградная лоза. Тут уж извольте все учесть: южный либо северный склон, степень уклона, слоистость почвы. Словом, тысячу вещей. В следующий раз хочу привезти мешочек почвы с горы Зевса. Может, одарит благостями этого почтенного миродержца. — Он осклабился, показывая свои большие неровные желтые зубы. — Похоже, с возрастом я открыл для себя одно: чем больше ты углубляешься в философию, во все, находящееся за пределами опыта, тем вернее возвращаешься

назад к природе. Все-таки все мы вернемся к хтоническим божествам, владыкам преисподней. Вот проблема человечества, погнавшегося за абстракцией. Начиная с Платона. Заметьте, он понят самым неподобающим образом. Ну-с, и давайте-ка возьмем Сократа. Да все мы живем, не в силах рассеять чары абстрактного. Гитлер, апартеид, Великая американская мечта, вот жалкий жребий наш.

— А как насчет Иисуса? — поинтересовался я не без умысла.

— Чистое недоразумение. Человеки не поняли сына человеческого, — отвечал он. — Et verbum caro tacto est[13]. Мы же устремляемся за Словом, именно забывая о плоти его. Вот так-то. Эти метафизики воистину брали быка за рога. Они явно знали Суть. Надо держаться за землю обеими руками. Ибо экзистенция до сознания.

Я пишу по памяти то, что успел запомнить из этого монолога, который лился беспрестанно, пока он полол на грядках свою ерунду, полол и поливал, граблями собирал листья, окучивал и подвязывал ростки и обрывал сухие листья. И все, что он говорил, изрекалось с безудержным

---

[13] Примечания: 13
И Слово стало плотию (От Иоанна 1:14) *(лат.).*

неугомонным жаром.

— Знаете, когда люди вынуждены были стараться как дьяволы, чтобы только зацепиться на этой земле — опору для ног найти, так скалолазы выражаются, — прекрасная это была жизнь, ей-богу. А потом до них дошло, что коль скоро все у них во власти, то по праву и долгу им и готовить проекты на будущее, и пошли чертить чертежники. Ну и что? А извольте взглянуть, все на манер моего огорода. Сплошная вселенная, только без бога в голове. Рано или поздно люди начинают верить в свой образ жизни как в абсолют — непреложную основу основ и вообще непременное условие всякого существования. Своими собственными глазами насмотрелся на это в Германии в тридцатых, знаете ли. Целая нация устремилась вслед за так называемой идеей, яко стадо свиней нечистых. Sieg heil, Sieg hiel! По ночам спать не дает. В тридцать восьмом я уехал, не мог этого больше вынести. А теперь я вижу, как это происходит в моей собственной стране. К тому ведь идет. Ужасно, хотя и легко было предвидеть. Это болезнь Великой Абстракции. И дано нам вернуться назад к материи, к плоти, и костям, и праху земному. Истина не сошла с небес в образе слова, отнюдь. Расхаживает во плоти,

не скрывая стыд свой. А коли и приходится нам излагать словами, то слово это разве на манер речений косноязычного заики Моисея, законодателя. И вот каждый из нас речет, запинаясь и бормоча свою истинку. Правительство обращается с избирателями, словно это жалкие обезьяны. Морковку в зубы и пинком под зад. Апартеид, Догма, Великая Абстракция — вот вам морковка. А с пинком и того проще — страх. Черная Опасность, Красная Опасность — называйте себе как знаете, ваша воля. Страх может быть чудесным союзником. Помню, как-то, давно это было, в мое путешествие к Окаванго, я гербарий собирал. За мной плелся целый караван носильщиков. Через неделю они обленились и стали отставать. Дальше больше. А чего я терпеть не могу, так это без дела слоняться в буше. И вот увязался за нами лев. Год выдался сухой, и самые смелые улепетнули отсюда, а этот старина слонялся здесь, ну и увязался за нами. По запаху нас учуял. Ничего особенного, просто после пары неделек в буше любой смердит так, что господь бог нос заткнет. Ну-с, как бы там ни было, а только пару дней, пока этот лев шел за нами по пятам, у меня не было с моими носильщиками ни-ка-ких проблем, никаких отстающих, праздношатающихся. Вся

команда в кулаке. Вот что такое страх божий. Просто прелесть этот лев оказался.

Когда в саду делать было больше нечего, мы пошли в дом, на кухню. Беспорядок, как в мастерской художника. Там были две плиты: электрическая, а другая древняя, мрачно-траурная от сожженного в ней за век каменного угля. Он посмотрел, как я ее разглядываю, и сказал:

— Это Мелани уговорила меня купить белое эмалированное привидение, говорит, она более эффективна, — он показал на электрическую плиту. — Я-то держу старую и готовлю себе на ней. Не каждый день, под настроение. Хотите чаю? — И, не дожидаясь ответа, снял со своей плиты допотопный чайник и налил в старомодные выщербленные чашки дельфтского фарфора без блюдечек густого бушменского отвара, а затем добавил в каждую по ложечке меда. — Мед — услада самого господа бога. Истинный эликсир жизни. Лишь один человек умер молодым от меда, и тот Самсон. Но по собственной дурацкой вине. Cherchez la femme[14]. Бедный малый мог бы стать добрым, праведным мужем, не свяжись он с этой мещаночкой, уличной девкой. — Мы

---

[14] Примечания: 14
Ищите женщину *(франц.)*.

сидели за кухонным столом, покрытым красной клеенкой, пили маленькими глотками сладкий, благоухающий чай. — Не то чтобы у меня было малейшее стремление к святости, — продолжал он, хихикнув. — Боюсь, я для этого слишком стар. Я себя готовлю для долгого мирного сна на этой земле. Вот что способно доставить истинное удовлетворение, знаете ли. Медленно превращаться в компост, стать перегноем, откармливать червей и питать растения, пройти полный жизненный цикл превращения веществ. Единственная форма вечности, на которую возлагаю надежды. Назад к Плутону, божеству земного плодородия, и гранатовым рощам его.

— Вы, должно быть, очень счастливый человек.

— А почему бы нет? Всего помаленьку насмотрелся в своей жизни. И рай был, и ад. А теперь у меня Мелани, которой есть на что надеяться в отличие от старого грешника вроде меня. Я пожил достаточно, чтобы пребывать в мире с собой. С собой, не с миром, заметьте. — Все тот же сухой смешок. — Но с самим собой я вполне в мире. Мы, старики, мне кажется, готовы во мнениях переступить за цель — пусть даже это изрек старый… вроде Полония. Что ж, даже в таких гос-

подь бог сеет смиренные истины свои. — И затем, почти без всякого перехода, принялся говорить о Мелани. — Чистая случайность, что она вообще на свет белый появилась, — сказал он. — Похоже, я настолько спятил от Гитлера после этой войны — проведите-ка три года в одном из его лагерей! — что из духа противоречия влюбился в первую попавшуюся на глаза еврейскую девушку. Прелестную девушку, заметьте. Но похоже, это была невыполнимая задача — пытаться спасти весь мир, женившись на ней. Глупая ошибка. Не устремляйтесь спасать мир. Собственную душу разве, ну еще одну-другую — этого больше чем достаточно. Так я и остался с Мелани, когда жена меня бросила. Видите ли, африканеры оказались настолько выше ее понимания, что бедной женщине ничего другого не оставалось, как бежать без оглядки. И подумать только, я вправду упрекал ее, что оставила меня с годовалым ребенком. Люди склонны недооценивать неисповедимые пути, коими господь бог являет нам милость свою.

Так вот откуда этот ее взгляд Суламифи, волосы, черные как вороново крыло, и глаза.

— Она говорила, будто вы встретились в суде по делу о смерти этого Нгубене? — сказал он, точно,

пройдя пешим строем все поле, вдруг решительно устремился на штурм. С той, однако, разницей, что никакого штурма не было.

Он понимающе хмыкнул, запустил грязную пятерню в нечесаные волосы.

— Гляньте-ка. Каждый седой волос на этой голове — от нее. А их вон сколько. У вас тоже дочь?

— Две.

— Гм. — Его пронизывающие подобревшие глаза изучали меня. — А по вам не скажешь. Хорошо сохранились.

— Что не сохранилось, на свет не выносим, — шутливо отвечал я.

— Ну и следующий ваш шаг? — бросил он, и настолько неожиданно, что я только тут и понял, что, не выведав все до конца, он от меня не отступится.

Я рассказал ему все. Обо всем, что случилось. О д-ре Герцоге. О записках, которые получила Эмили. О таинственном Джонсоне Сероки, доставившем ей эти листки. Адвокате, дружке Стенли. Это было такое облегчение — после домашних перебранок говорить по-человечески, свободно и все, что думаешь.

— Нелегкую вы себе дорожку выбрали, — заметил он.

— А выбирать было не из чего.

— Было, будь оно проклято. Всегда есть выбор. Не глупите. Скажите спасибо, что сделали правильный выбор. Хотя, надо признаться, не оригинальный. Камю. Всегда можно поступить хуже, чем о тебе думают. Единственное, что я хочу посоветовать, — смотрите в оба. Помню… — Он чиркнул спичкой и стал раскуривать потухшую трубку. — Помню, несколько лет назад отправился я в туристский поход в Тзитзикама, там леса, знаете. Вышли на взморье, в устье Стормз-ривер, и переправляемся по рахитичному висячему мостку. А денек выдался не дай бог, ветер с ног валит, непривычному человеку лучше носа не высовывать в такую погодку. Впереди меня шла чета средних лет, прекрасные респектабельные люди, по церковным праздникам ездят в туристский лагерь. Муж шел впереди, жена шаг в шаг за ним, на пятки наступала. Я это в буквальном смысле говорю. Страх смертельный смотреть. Руками закрылась, вот эдак, как шоры у лошади, чтобы не видеть, как ходит мосток под ногами, а внизу река бурлит. И так вот идет она и глазом не видит один из самых невероятных, ни в сказке сказать, ни пером описать, ландшафтов на всем белом свете, а единственно, извиняюсь, уткну-

лась в задницу собственному супругу. За этим ехала? Вот я и говорю: смотрите в оба. Ступили на мостки, ладно. Но ради господа бога нашего, не теряйте из виду перспективы, не надевайте шоры на глаза.

И тут, в непредсказуемом потоке его словесного извержения, когда мы пили вторую, а то и третью чашку бушменского его чая, появилась она. Я не слышал, как она вошла. Просто поднял глаза, а она тут. Маленькая, аккуратная, с чуть намеченной грудью девочки-подростка. Черные волосы схвачены сзади лентой. И чуть-чуть уловимая натянутость, так, намек, усталость, что ли, на лице, на лбу, вокруг глаз, у рта. Словно первый раз в жизни она столкнулась с человеком, который значил больше, чем она хотела думать. Хотя она не выдала этого взглядом. Нет.

— Здравствуй, папа. — Она поцеловала его и пыталась, безуспешно, пригладить ему волосы. — Здравствуйте, Бен. Давно ждете?

— Вдоволь наговорились, — сказал профессор Брувер. — Хочешь чаю, настоящего бушменского?

— Я уж приготовлю себе чего-нибудь более цивилизованного. — Она поставила кипятить воду для кофе и обернулась ко мне через плечо: — Я не

думала, что вы станете ждать, простите.

— Откуда вам было знать, что я нагряну.

— Не так уж неожиданно. — Она вытерла поднос. — Похоже, трудная выдалась неделька, а?

Ужели действительно прошла только одна-единственная неделя с тех пор, как я встретил ее, с того самого вечера, как мы сидели в гостиной среди этих кошек и она еще свернулась клубочком, босая, в этом кресле-троне? Одна неделя?

— Откуда вы знаете, что трудная? — спросил я удивленно.

— Видела вчера Стенли. — Она поставила себе чашку и села с нами за стол. — Бен, почему вы не позвонили мне после этого обыска? Нелегко пришлось?

— Борьба за существование.

Мне хотелось, чтобы это прозвучало как можно более шутливо, но, похоже, ничего у меня не вышло. Я корчил из себя свободного и независимого человека.

— Рада за вас. Правда.

Она пригубила горячий кофе. И милая каемка пены от кофе осталась у нее на губах.

Старик еще какое-то время торчал с нами, участвуя даже в беседе, но теперь уже не на первой роли, точно нужда в нем отпала. А затем

напялил на себя свой черный берет и без всяких церемоний удалился. Много позже — он, должно быть, обходил участок вокруг дома, потому что в доме его не было, — мы услышали, как в парадной гостиной играют на фортепьяно. Вообще-то по-ученически как-то. Не по возрасту. Но играли непринужденно, плавно. Бах, отметил я. Один из тех опусов, что продолжаются и продолжаются, точно неторопливая беседа старых людей, с замысловатыми вариациями, а все равно ясная и такая отчетливая, если целиком взять. Она и я сидели за кухонным столом.

— Стенли говорит, вы решили взяться за дело Гордона.

— Обязан, вот и взялся.

— Рада. Так и думала.

— Вы мне поможете?

Она улыбнулась.

— Разве я не говорила, что помогу? — Какое-то мгновение она недоверчиво оглядывала меня, будто желая убедиться, что я не шучу. — Я уже начала, собственно, там, где могу. По правде говоря, я к вашему приходу хотела кое-что заполучить. Но они ужасно скрытные. Каждый старается быть жутко осмотрительным, — Она движением головы откинула волосы. — Но похоже, я на что-то

набрела. Поэтому и задержалась. Па думает, я в редакции была, а я в Соуэто.

— Но ведь это опасно, Мелани!

— Я свое дело знаю. И потом, уверена, они с первого взгляда признают мою «малютку». — Короткий, кривой смешок. — Хотя, признаться, денек выдался не дай бог.

Эта ее наигранная беспечность меня как ножом по сердцу резала.

— Что случилось?

— Ну, по дороге назад, между Дзабулини и Джабаву, проколола шину.

— Ну и?

— Стала ставить запаску, что же еще? Там еще мальчишки в футбол гоняли, я видела. А только, когда я разогнулась, смотрю, они машину окружили. Ну, смеются которые, а другие сжали кулаки и выкрикивают «свобода» и все такое. Должна сознаться, что был момент, когда у меня душа в пятки ушла.

Я уставился на нее, не в силах произнести ни слова.

А она беззаботно улыбнулась.

— Не беспокойтесь. Я просто последовала их примеру, сжала кулак, вот этак, и стала кричать: «Amandla!» И тогда точно израильтяне кинулись

через Красное море, они тут же очистили мне дорогу, и я проехала, не запылилась.

— Чистая случайность, могло обернуться совсем иначе!

— А что я могла сделать? Знаете, я сижу за рулем и думаю: «Слава богу, что я женщина, не мужчина. Мужчину они бы убили. А меня — самое худшее…»

— Этого еще не хватало!

— Знаете, Бен, я отдаю себе отчет в том, что говорю, — сказала она тихо и медленно, глядя на меня своими огромными черными глазами. — Знаете, после той истории в Мапуту мне долго кошмары снились, не один месяц. — На какой-то миг она скрестила руки на груди, точно хотела защититься от давнего ужаса тревожившей ее памяти. — Но потом я поняла, что путь свободен, и заставила себя думать, как положено. Ладно, это может случиться с каждым. Не так уж и больно. Но вот мысль, что в тебя вламываются, в то, что принадлежит тебе одной, и никому больше… Ну ладно, даже это можно вынести. Но если вдуматься, разве только о теле идет речь. Или обо мне как личности? Неохота ставить себя на карту. Спросите любого заключенного, каково это. Я со многими из них говорила, мало кто через

такое прошел. Иные только плечами пожимали, потому что сидели они, да, ну физически их заключали, но чтобы душу ломать… Даже пытки такой не придумано.

— Н-да, вот уж воистину вы дочь своего отца! — вынужден был я согласиться.

Она встала и пошла к кухонному шкафчику, на котором оставила ключи и сумочку, взяла сигареты, закурила. Вернувшись, сдвинула пустые чашки и села на краешек стола совсем рядом, едва не касаясь меня.

Скорее, чтобы оградиться, защитить себя от этой ее близости, вконец выбивавшей меня из колеи, чем еще зачем-то, я сказал:

— Помочь вам вымыть посуду?

— Не к спеху.

— А во мне, знаете, все сидит маменькина школа, — сказал я, сам понимая, что невпопад. — Она нам, бывало, покою не даст, пока все в доме не будет вымыто-вылизано да поставлено на место. И спать не ляжет, пока обходом не пройдет и самолично не удостоверится, что все хозяйство у нее в полном порядке. На всякий случай — вдруг она не проснется, а что-то осталось несделанным. Отец готов был на стену лезть.

— Уж не от привычки ли все по полочкам рас-

кладывать и это усердие? — поддразнила она меня.

— Может быть. — И я отвечал ей в тон. — С той, однако, разницей, что не имею ни малейшего желания умереть во сне.

— Надеюсь. — Шутка, не больше, я же это прекрасно понимаю.

Напомнив о Гордоне, она сама дала мне повод задать вопрос:

— Зачем вы ездили в Соуэто, Мелани? У вас там дела?

Одной ей присущим движением она откинула за спину свои прекрасные волосы.

— Пустой номер, конечно. А мне подумалось, вдруг куда и выведет. В общем, есть один надзиратель, из черных, с Й. Форстер-сквер. Он мне одно время помогал, а у них он вне подозрений. Кое-что знает о Гордоне. Да только потребуется бездна терпения. Нервничает очень. Ждет, пока все уляжется.

— Почему вы думаете, что он что-то знает о Гордоне?

— Кое-что сообщил. Говорит, в день схватки в кабинете Штольца, если такая была, там на окнах определенно были решетки.

Я ровным счетом ничего не понял.

— Ну и что?

— А вы забыли? Они ведь утверждали, будто Гордон пытался выброситься в окно и что поэтому и была применена сила удержать его. Но если окно было забрано решеткой, он просто не мог предпринять такой попытки.

— Это мало что добавляет.

— Знаю. Но для начала неплохо. Помните, как адвокат де Виллирс смутил их своим вопросом об этих решетках? Они тогда нагородили еще целую историю, как, мол, временно им пришлось снимать их и так далее. Так что, не скажите, это показание — тоже клинышек. Ведь оно невольно ставит под сомнение всю версию.

— Вы полагаете, этот ваш черный надсмотрщик действительно готов помочь нам?

— Просто он многое знает. Почему не попробовать.

Меня внезапно охватило неподдельное волнение, почти мальчишеский азарт, и не отпускает по сию минуту, когда я пишу это. От сознания того, что мы не топчемся на месте. Кое-что рассказал Джулиус Нгакула. Новые письменные показания под присягой. Записки, сохраненные Эмили. Джонсон Сероки, с которым она свяжется. Плюс новые факты от этого надсмотрщика. Мало.

Набирается по крупицам, очень медленно. Но мы не топчемся на месте. И в один прекрасный день все это мы увидим вкупе и весь мир тоже. Все о Гордоне и его сыне. И тогда поймем, что это стоило делать. Даже когда иные говорили, что нет смысла. Я так же уверен в этом и сейчас, и когда говорил с ней, несмотря даже на ее холодный и рассудочный голос, ее попытки предоставить все ходу вещей.

— Не торопитесь, Бен, — сказала она. — Поспешайте, но только медленно. Помните, в этой игре есть и противник.

— Что вы хотите сказать?

— Ну, просто они не собираются сидеть сложа руки и разрешать нам спокойно собирать информацию.

— А что они могут сделать?

— Бен, они могут все, что угодно. — У меня против воли защемило под ложечкой. — А она продолжала: — Запомните, с их точки зрения, это худшая из мыслимых форм измены, ведь вы — африканер, вы один из них.

— А как насчет вас?

— У меня мать иноподданная, не забывайте этого. Я работаю на английскую газету. Они просто не ждут от меня и тени той лояльности, какой

потребуют от вас.

И тут умолкло фортепьяно, словно на полуноте. И тишина в доме показалась почти зловещей, так что кровь стыла в жилах.

Уныло, нехотя бросил:

— Вы пытаетесь отгородиться от меня? Вместе со всеми?

— Нет, Бен. Просто я хочу, чтобы у вас не было никаких иллюзий на этот счет. Вообще никаких иллюзий.

— А вы-то сами уверены во всем, что будет, во всех последствиях каждого своего поступка?

— Нет, конечно. — И этот ее милый смех. — Тут уж точь-в-точь как на той речушке в Заире, где мне пришлось окунуться. Дай бог веры добраться до другого берега, и воздастся по вере твоей. Не до убеждений. Вот уж где чистый опыт спасает. — И как откровение: — Я помогу вам, Бен.

Эти ее слова вернули мне уверенность. Не мальчишеский раж. Но нечто более надежное и прочное. Именно уверенность. По вере твоей, как она сказала.

Потом мы шли длинным коридором в гостиную, ту самую лавку старых вещей, где тогда провели наш первый вечер. Отца ее не было, только мы одни.

— Может быть, ушел на прогулку, — сказала она и добавила с упреком в голосе: — Он все принимает всерьез. Просто не желает человек понять, что старится, что мудрей надо быть.

— Ну, я должен идти, пора.

— Почему?

— У вас и без меня полно дел.

— Сейчас нет. Не раньше восьми. Смотрите, сколько еще времени.

Почему это меня так задело? Ведь все так естественно. Женщина в ее возрасте, с ее данными. Было бы глупо, если б субботним вечером она сидела дома. Конечно же, она не должна и не может проводить время в этом старом доме. Сомневаюсь, чтобы тут было что-то от ревности: чего ради мне ревновать? У меня не было никаких прав на нее. Скорее, болезненное восприятие того очевидного факта, что жизнь ее существует помимо меня и для меня недоступна.

Как бы непринужденно ни доверялась она мне, с какой готовностью ни отвечала бы на мои вопросы, все это не более чем узкая тропинка, по которой я, странник, ощупью пробираюсь сквозь чуждое мне существование. Так стоит ли расстраиваться по этому поводу?

У меня своя жизнь, в которой ей не было места,

свое существование, не зависящее от нее. Жена, дом, дети, работа, обязанности.

Да, мне хотелось остаться. Как и в прошлый раз, мне хотелось сидеть с ней в сумерках, пока не опустится ночь, пока не спадут стесняющие нас светом дня оковы, пока само ее присутствие не нарушит равновесие и не сместит порядок вещей; все померкнет в сумерках дня и кошачьем мурлыканье этого старого дома. Но мне надо идти.

Должен восторжествовать разум. Единственное, что нас связывает, — обоюдное стремление к цели, которой мы себя посвятили: вынести на свет божий истину, помочь торжеству справедливости. Вот все, что нас связывает. Ни о чем другом не следует и думать. И помимо того, чем мы единственно обременены во имя Гордона, ни у кого, у нее ли, у меня, никаких иных притязаний и быть не может друг к другу. И какая бы частица моей жизни ни оказалась вне пределов этой очерченной линии, все исключительно мое; что же ее, то ее, и только. Откуда же само желание знать помимо этого?

— Я рада, Бен, что вы зашли.

— Дай бог, не последний раз.

— Конечно.

Я замешкался, потому что подумал, а вдруг она

потянется ко мне и, может быть, поцелует, ну хоть коснется поцелуем, как давеча своего отца.

Но похоже, она не решилась.

До свидания.

До свидания, Мелани. Мелодия ее имени, сердца моего смятение.

3

Рутина, рутина изо дня в день, это становилось все более нестерпимым. Заверения, подтверждения, само утешение. В одно и то же время. Равно как и гарантии в их достаточном обеспечении. И так день изо дня, аккуратно, упреждающе. В половине седьмого подъем, бег разминочным темпом, обычно с Йоханном. Приготовить завтрак себе и Сюзан и подать ей в постель. В школу. К двум часам дня домой. Второй завтрак, короткий сон днем, затем снова в школу на спортивные часы либо факультативные занятия. В конце дня пару часов у верстака в гараже, прогулка в одиночестве, ужин и в завершение — тетради. В школе по расписанию повторение пройденного. Восемь, девять, десять; восемь, девять, десять. История, география. Складные и четкие фактические данные; примеры — неопровержимые одинаково для черных и для белых; ничего неуместного, все в рамках предписанного молочного коктейля — бело-розовое. А он бунтовал всю жизнь против этой системы, всю жизнь стоял за то, чтобы его ученики, особенно будущие студенты, читали больше, нежели им предписано. Учил

их задавать вопросы и задаваться вопросами, иметь собственное суждение. Теперь же стало куда легче просто следовать предписаниям, поскольку это освобождало мозг для других вещей. Он больше не ощущал потребности углубляться в работу. Она шла сама собой, что удивительно, сопутствуемая всякий раз лишь обратным движением, его противодействием. Единственное, что требовалось, — это просто быть, присутствовать, приводить в исполнение.

Между уроками были перемены. Разбор прочитанного, беседы с коллегами в учительской. Истовая поддержка со стороны молодого словесника Вивирса. Бен никогда не заходил дальше утверждения, что он все еще «да, трудится над этим», и предпочитал пожимать плечами на прямые вопросы, испытывая от этого проявления интереса подъем и чувство неловкости одновременно. Он находил в Вивирсе, увы, всего лишь энтузиазм жизнерадостного щенка, истово работающего хвостом при каждом собственном открытии чего-то нового у собачьей будки.

Другие же из младших его коллег были прямой ему противоположностью и после этой фотографии в газете просто сторонились его. Большей же частью в учительской удовлетворялись од-

ной-двумя репликами, ехидным замечанием, ненароком подпущенной шпилькой. Лишь один — Карелсе, преподаватель физики — счел это настолько изрядной шуткой, что без устали возвращался к ней день ото дня и всякий раз до слез хохотал над собственным остроумием. «Нет, вам непременно надо баллотироваться в жюри конкурса «Мисс Южная Африка». «Послушайте, старина Бен, ну скажите, вас правда еще не посетила полиция нравов?» Конца этому не было. Но все это без злобы или дурного умысла; и когда он хохотал до упаду над собственной шуткой, делал это искренне и от души. Вот только надоел как муха.

А его ничто не трогало: ни насмешки, ни возмущение, ни неподдельный интерес к его особе. Школа и все, что там происходило, перестало влиять на его жизнь. Центр тяжести в ней переместился. Перестало волновать все, исключая разве отношения с учениками — теми, кто приходил к нему за советом и кто столько лет признавал его своим духовным отцом. Этих он отринуть не мог. Малышей запугали старшие. А эти боролись со своими заботами. У них было полным-полно проблем: как поступить, чтобы девочка оставалась верной тебе? Не смогли бы вы поговорить с

отцом, он не отпускает меня в поход на субботу и воскресенье? А что вы думаете о греховных отношениях с девушкой? Это правда грех? Что нужно делать, чтобы стать архитектором?

Но их становилось все меньше последнее время, тех, кто шел к нему, или это ему только казалось? Однажды, войдя в класс после перемены, он увидел знакомую фотографию, пришпиленную к классной доске. Но когда, сняв ее, между прочим, поинтересовался, не желает ли кто-нибудь получить ее на память, раздался смех — дружный и всесокрушающий. Если и было что, так разве так, намеком. Ничего серьезного. Дети как дети.

Но кончались школьные часы и начиналась другая жизнь, в которой его дом был не более чем случайным стечением обстоятельств, а Сюзан — не более как помехой в их течении, только сбивавшей с толку неизбежный ход вещей и явлений.

Однажды утром чернокожий юноша поднялся прямо в канцелярию. Бен не смог скрыть волнения, когда секретарь сообщил ему на перемене, что его спрашивают. Неужели от Стенли? Неужели еще что-нибудь сорвалось? Но оказалось, что этот юноша, Генри Мапхуна, явился совсем по другому поводу. Нечто сугубо личное. Он слышал,

что господин Дютуа не оставит человека в беде. А с его сестрой как раз беда.

Вот-вот должен был прозвенеть звонок, перемена кончалась, и Бен пригласил его зайти попозже домой. Когда в два часа он приехал из школы, Генри уже ждал.

Сюзан:

— Один из твоих обожателей хочет тебя видеть.

Приятный юноша, худенький, интеллигентный, учтивый, четкая речь. Не слишком хорошо одет для такой холодной погоды: рубаха, шорты, ноги босые.

— Так что с сестрой?

Три года эта девушка, Пейшнс, работала прислугой у богатой английской четы в Лоуэр-Хоктоне. В общем, они были добры и внимательны, но скоро она обнаружила, что, как только леди за порог, хозяин ищет предлога побыть с ней. Ничего серьезного, улыбки, ну, может, намеки, больше ничего. Но два месяца назад его жене пришлось лечь в больницу. Когда Пейшнс прибиралась в спальне, появился хозяин и начал с ней болтать о том о сем; когда она отказалась от его нежностей, он запер дверь на ключ, повалил ее и взял силой. После этого он почувствовал угрызения совести и

предложил ей двадцать рандов, чтобы молчала. Она была в таком состоянии, что единственное, что пришло в голову, — бежать домой. Только на следующий день она согласилась пойти с Генри в полицейский участок, где выложила эти двадцать рандов, и они предъявили обвинение хозяину. Оттуда она пошла к врачу.

Хозяина вызвали в суд. А за две недели до того, как было назначено слушание дела, этот человек приезжал к ним домой, в Александру, и предлагал солидную сумму денег, если они возьмут заявление обратно. Но Пейшнс не стала слушать ни просьб, ни уговоров. Она ведь уже была помолвлена, но после того, что случилось, ее жених порвал с ней; так пусть все будет по справедливости, потому что больше у нее надежды в мире нет.

И оставались-то, казалось, одни формальности. Но в суде хозяин стал говорить совсем другое. О том, сколько ему и его жене пришлось, мол, вынести с Пейшнс с самого начала; о какой-то вечной толпе всяких молодых людей, шатавшихся к ней в ее рабочее время. Однажды, сказал он, они с супругой даже застали ее с любовником в их собственной спальне. А когда жену отправили в больницу, в доме и вовсе житья не стало.

Пейшнс преследовала его по пятам и буквально домогалась его, и кончилось тем, что он вынужден был рассчитать ее, выплатив за две недели сумму в двадцать рандов, которые предъявлены суду. Его жена под присягой подтвердила показания относительно поведения Пейшнс вообще. Других свидетелей не было. Хозяин был признан невиновным, а в отношении Пейшнс суд вынес строгое предупреждение.

И вот они слышали, что Бен помогает оскорбленным, и поэтому Генри пришел просить помощи и восстановления справедливости.

Бен не знал, что и думать. Не только по существу. Сам факт, что юноша приходит искать помощи именно у него, обескураживал. У него и без того полно забот с Гордоном и Джонатаном. А тут еще новое дело.

В голову пришло только одно. Он позвонил Дэну Левинсону и просил заняться этим делом. Да, конечно, он готов оплатить расходы.

Генри ушел, и он попытался дозвониться в редакцию к Мелани, но телефон был занят. Он решил ехать, благо предлог был вполне основательный. В шумной комнатушке редакции, среди вороха бумаг, телексов, снующих людей, в шуме телефонных звонков, это была совсем другая

Мелани. Холодно сдержанная, четкая и решительная, деловая и не бросающая слова лишнего во всей этой неразберихе и гуле голосов. Лишь на какой-то момент, за кофеваркой, установленной у них в коридоре, мелькнула знакомая ему теплая улыбка, тут только он узнал прежнюю Мелани.

— Ну что ж, вы сделали лучшее, что можно придумать, передав это Левинсону, — успокоила она его, — Только вот, похоже, самое время нам договориться насчет денег. Это не дело — платить за все из собственного кармана.

— Одним делом меньше, одним больше, какая разница.

Откинула назад волосы столь милым ему движением головы.

— Почему вы думаете, что Генри Мапхуна последний? Они теперь вас все знают, Бен. Валом повалят.

— Откуда они знают?

Улыбнулась и сказала:

— Я поговорю с издателем насчет денег. Вы не беспокойтесь. Это останется в тайне.

24 мая. Стенли. Уже к вечеру. Едва удосужился постучать. Поднимаю голову от бумаг: стоит, загородив собой дверь.

— Ну как дела, приятель?

— Стенли? Что-нибудь новое?

— Ну, как сказать. На той неделе узнаете. — Я не мог сдержать усмешки. — Я тут отбываю в поездку. Ботсвана. Есть дельце. Ну вот заскочил предупредить, чтобы вы не тревожились.

— Что за дельце, Стенли?

Этот его громовой хохот.

— Все мое при мне. У вас своих проблем хватает. Пока.

— Да куда же вы? Присели хотя бы.

— Ни минуты. Сказано, просто зашел засвидетельствовать почтение.

Он не захотел, чтобы я провожал его. И исчез так же неожиданно, как появился. Оставалось только спросить себя, да было ли все это, не наваждение ли?

Задачку задал. Что там эта моя поездка к Мелани, тут, с этим Стенли, и вовсе неясно, что, зачем. Вот так же, как он вошел в эту комнату вечером и тут же исчез, — вот так он и в моей жизни появился, а наступит день, кто знает, точно так же вдруг исчезнет из нее. Откуда он, действительно, мог взяться? Что значит «отбывает»? Я знаю о нем не больше, чем он дозволяет мне знать. Ни больше ни меньше. А о таинственном мире, его окружающем, и вовсе ни-че-го.

По вере, сказала она. Прыжок во тьму. Я должен принимать его на его условиях. Почему? А что, есть выбор?

Заметка в вечерней газете была в несколько строчек. Бен едва не пропустил ее.

«Д-р Сулиман Хассим, задержанный три месяца назад на основании Закона об общественной безопасности, был освобожден специальной службой сегодня утром, но ему было тут же вручено постановление об ограничении свободы перемещения за пределы йоханнесбургского судебного округа.

Д-р Хассим представлял семью г-на Нгубене на вскрытии тела г-на Гордона Нгубене, скончавшегося во время пребывания в заключении в феврале с. г., однако, будучи сам взят под стражу, не имел возможности дать показания во время следствия».

На следующий день Бен едва дождался конца занятий. Они уговорились с Дэном Левинсоном обсудить дело Генри Мапхуны. Адвокат дал ему адрес д-ра Хассима. Из конторы ему еще надо было заехать домой, он и так опоздал к ленчу, затем в школу, побыть на тренировке команды регбистов, за ним была записана сборная мальчиков до пятнадцати лет. Наспех поел и уже собрался

ехать, но зазвонил телефон. Линда. Взяла себе манеру звонить когда угодно, «просто поболтать».

— Как наш дед-мороз сегодня?

— Как всегда, дел по горло.

— Что такое на этот раз? Неужели та толстенная книга о «великом треке», что я видела у тебя на столе?

— Нет, не прикасался еще. Других забот хватает.

— Например?

— О господи. Ну надо уже ехать на тренировку наших регбистов. Вот, например. Потом встретиться кое с кем. — Только с Линдой он мог говорить, не таясь. — Помнишь того врача, что должен был давать показания по делу Гордона? Ну, того, что задержали? Так вот, его выпустили, и я хочу разведать, не сообщит ли он чего-нибудь нового.

— Будь осторожен, папа.

— Еще бы. А знаешь, мы потихоньку продвигаемся. Со дня на день припрем этих убийц к стенке.

— Удалось что-нибудь сделать с домиком для Эмили? Ты прошлый раз говорил, что из этого ей придется съезжать он ей не по средствам.

— Да-да. Вот и это хочу обсудить с дедушкой,

как только приедет. Он на следующей неделе приезжает.

Еще поболтали, и наконец она попрощалась. Но теперь, после того как сам же и наговорил ей о своих заботах, не было решительно никакого настроения ехать на эту тренировку; столько важных дел, куда как важнее какого-то там регби. Строгий порядок дня, которого он неизменно и скрупулезно придерживался, начинал тяготить его, раздражал. И, повинуясь минутному настроению, едва не сгорая от нетерпения, он помчался на дом к Вивирсу, уговорил подменить его. Плохо, если Клуте будет раздосадован, но черт с ним. Не тратя больше ни минуты, он помчался прямо по адресу, который ему дал Левинсон; дорога вела на юг. За городом указатель направлял в пригород Ленасиа, там жили выходцы из Азии.

Подумать только, что вот уже два с лишним десятка лет живет человек в Йоханнесбурге и только в последний месяц узнал, что есть эти пригороды. Да и то когда приперло. И то сказать, а как еще там можно оказаться? Но вот возникла нужда, и едет за милую душу.

Дверь открыла девочка в белом платье с оборками. Жалкие косички, тоненькие, с красными бантами, большие черные глаза, лицо строгое.

— Да, — ответила она, — папа дома, не желаете ли войти? — И тут же унеслась стремглав, и тотчас вернулась с отцом, и осталась парить, воздушная, на ступеньках, напряженно следя за ними обоими.

Д-р Хассим был высок, тощ. Бежевого цвета брюки и свитер, водолазка, как теперь говорят; руки — вот что самое выразительное. Лицо бледное, почти белое, тонкого восточного рисунка, волосы черные, прямые, падают на лоб.

— Надеюсь, я не помешал вам, доктор, — начал Бен, испытывая неловкость оттого, что пришлось самому себя представлять. — Просто я прочитал в газете, что вас освободили.

Тот вздернул бровь и больше никак не отреагировал.

— Я друг Гордона Нгубене.

Может, чуть стремительней, чем требовалось, но все равно в высшей степени вежливо, тот поднял руки, как бы защищаясь.

— Расследование закончено, господин Дютуа.

— Официально, да. Но я не совсем уверен, что все, чему надлежало быть раскрытым, раскрыто.

Непреклонный, доктор стоял, явно намеренно не предложив ему сесть.

— Знаю, это может не нравиться вам, доктор,

может, это вам неприятно, но я должен знать, что случилось с Гордоном.

— Извините, я, право, ничем не могу вам помочь.

— Вы присутствовали при вскрытии.

Тот пожал плечами.

— Эмили говорит, будто вы вовсе не уверены, что он повесился на этой веревке из байкового одеяла, с которой его сняли.

— Послушайте, господин Дютуа. — Он поспешно прошел к окну, отодвинул занавеску, выглянул, обернулся: у него был вконец затравленный взгляд, — Я только вчера вернулся домой. Три месяца меня держали под замком. Я лишен свободы передвижения. — Он беспомощно обернулся к девочке, стоявшей в дверях на одной ножке, и сказал: — Ступай поиграй, Фатима.

Но девочка кинулась к отцу и застыла, крепко обхватив его ногу и скорчив Бену гримасу.

— Неужто вы не понимаете, доктор, что, если каждый будет вот так молчать, мы никогда не установим, что случилось?

— Я в самом деле прошу великодушно меня извинить. — Кажется, тот совладал с собой и держался теперь вполне твердо. — Но вам, право же, лучше уйти. Забудьте, пожалуйста, навсегда

этот адрес.

— Я делаю отсюда вывод, что вы нуждаетесь в защите.

Тот на это улыбнулся, холодно, невозмутимо.

— Как вы можете защитить меня и чем, позвольте спросить? — Он рассеянно гладил лицо девочки, прижавшейся к его колену. — И как я могу быть уверен, что вы вообще не оттуда?

Бен в смятении оглянулся.

— Отчего вам не спросить Эмили? — пробормотал он.

Тогда этот молодой еще человек сделал движение к двери, а девочка как вцепилась ему в ногу обеими руками, так и не отпускала.

— Мне нечего вам сказать, господин Дютуа.

Подавленный, Бен повернулся, чтобы идти. В дверях он остановился.

— Скажите мне только одно, доктор, — выдавил он. — Почему вы подписали акт о вскрытии, составленный государственным патологоанатомом, коль скоро у вас было свое собственное заключение?

Он явно застал его врасплох. У того даже горло перехватило, когда он, выдохнув, с трудом отвечал:

— С чего вы взяли, будто я подписывал заклю-

чение доктора Янсена? Никогда этого не делал.

— Я так и думал. А только на заключении, представленном суду, значатся обе ваши подписи.

— Невероятно. Но позвольте…

Бен оглядел его.

Доктор Хассим подхватил девочку, повисшую у него на ноге, сделал шаг навстречу Бену.

— Вы что, на пушку меня берете? Это шантаж?

— Нет, истинная правда. — И неожиданно с чувством вдруг прибавил: — Доктор, я должен знать, что случилось с Гордоном. Понимаете? И я верю, вы поможете мне.

— Садитесь, — бросил тот. И тут же, обняв ребенка, нежным шлепком послал его прочь. И еще некоторое время они сидели и молчали, и никто не решался нарушить тишину. Часы на стене, неслышные до этого, невозмутимо отсчитывали секунды, а они сидели и молчали.

— Что вы написали в своем заключении? — спросил Бен.

— По сути, у нас практически не было разночтений. Это что касается фактов, — сказал врач. — В конце концов, мы обследовали одно и то же тело в одно и то же время. Ну а что касается интерпретации, выводов, так сказать…

— Например?

— Ну, мне казалось, что, если Гордон Нгубене действительно повесился, кровоподтеки на горле, так вам будет понятней, должны были бы концентрироваться спереди. — Он показал тонкими длинными пальцами на гортань, где именно. — В данном же случае кровоподтеки наиболее очевидны были по бокам, вот здесь. — Он показал где. Поднялся, чтобы взять из коробки на каминной доске сигарету. Поколебавшись, бросил взгляд в окно и только после этого вернулся к своему креслу и протянул пачку Бену.

— Нет, благодарю вас. Я курю трубку. Вы позволите?

— Пожалуйста.

Какое-то время казалось, что больше он ничего не скажет. Может, даже сожалеет об излишней откровенности. Но тут он продолжал:

— Но была и еще одна деталь, и это поставило меня в тупик. Может быть, это и неважно.

— Что? — едва не выкрикнул Бен.

Врач, сидевший на самом краешке кресла, подался к Бену, сказал шепотом:

— Видите ли, по чистой случайности я прибыл в морг на аутопсию раньше времени. Вхожу, ни живой души, если не считать мальчика, он там прислуживает. Ну, я сказал зачем я здесь, и он

меня пропустил. Тело лежало на столе. Серые брюки, красная кофта джерси.

Бен удивленно развел руками, но тот жестом же попросил помолчать.

— Да, — сказал он. — Кофта на нем была красная, нет, красная с белой ниткой. Ну, знаете, полотенца махровые так делают. Запомнилось.

— Ну и? — нетерпеливо, весь загоревшись, поторопил его Бен.

— У меня не было времени досконально обследовать что-либо. Честно говоря, я вообще едва успел взглянуть на тело, как меня позвал этот полицейский офицер. Сказал, что я не имею права ни при каких обстоятельствах находиться в морге до приезда доктора Янсена. Пригласил в кабинет, мы еще чай там пили. Через полчаса приблизительно доставили доктора Янсена, и мы вдвоем уже снова пошли в морг. Ну тогда тело уже было обнажено. Я еще поинтересовался было, как это, почему без нас, ведь экспертиза, но никто ничего не знал. Наконец прямо спросил у служителя — я его в коридоре нашел, как это у них происходит. Он сказал, что получил инструкции «подготовить труп», а насчет одежды понятия не имеет.

— Вы это указали в своем заключении?

— А как же. Мне это показалось в высшей степе-

ни странным. — Он снова явно стал нервничать, поднялся. — Это все, что я могу вам сообщить, господин Дютуа. Больше я абсолютно ничего не знаю.

На этот раз Бен смиренно позволил ему проводить себя до входной двери.

— Не исключено, что я побеспокою вас еще, — сказал он тем не менее, — если мне потребуются дополнительные данные.

Доктор не сказал ни да, ни нет, только улыбнулся ему.

На следующий день вечерняя газета скупо сообщала, что д-р Хассим с семьей препровожден службой безопасности на жительство в Северный Трансвааль. Министр внес поправку в постановление суда, потребовав гарантий, чтобы в течение пяти лет д-ру Хассиму не было разрешено покидать пределы округа Петерсбург. Никаких причин приведено не было.

27 мая. Я не мог скрыть потрясения. Открыть калитку и увидеть его собственной персоной. Штольц. В компании еще с одним офицером, человеком средних лет. Фамилию не разобрал. Подчеркнуто дружелюбен. Впрочем, его дружеская манера только обостряла мою неприязнь.

«Господин Дютуа, мы приехали вернуть ваши

материалы. Дневники и письма, все, что тогда, две недели назад, было изъято. Не откажите в любезности расписаться в получении».

Должно быть, это меня и расслабило, потому что, когда он попросил разрешения войти, я пустил. Сюзан, слава богу, на каком-то собрании. Йоханн у себя, в своей комнате, но музыка была включена на полную громкость, так что он не мог ничего слышать.

Едва присев у меня в кабинете, тот сказал, шутливо этак, что у него в горле пересохло. Так что я вынужден был предложить им кофе. Вернувшись из кухни с подносом, я заметил невольно, что томик «Великого трека» лежит не там, где лежал, и тогда до меня дошло. Ну конечно же! Они успели обшарить комнату.

Странно, но тут я вконец успокоился, говоря себе: все правильно, вот он я, вот вы. Каждому свое. Ищите себе на здоровье, можете хоть весь дом обшарить. Насчет двойного дна в ящике с инструментами вы не знаете. Ни одна живая душа не знает. Нет уж, больше мы вам ничего оставлять напоказ не будем.

Утомительный разговор. Как мне работается в школе, как успехи Йоханна — он ведь регбист? — ну и так далее. Принялся рассказывать о своем

сыне. Младше Йоханна. Ему двенадцать или что-то около этого. Может сын гордиться таким отцом? (А мой гордится мной?)

А затем: «Надеюсь, вы не сердитесь на нас за прошлое, господин Дютуа?»

Что я мог сказать?

Утром обнаружили в Соуэто еще один дом, битком набит боеприпасами и взрывчаткой, сказал он. С лихвой хватило бы, чтобы пустить на воздух целый квартал где-нибудь в центре города. «Люди просто не хотят отдавать себе отчет, что мы в самом разгаре настоящей войны. Ждут армий на марше, самолетов над головами, танков и прочих атрибутов. А не понимают, насколько эти коммунисты умнее. Поверьте мне, господин Дютуа, стоит нам расслабиться на неделю, и страна провалится в тартарары».

«Все это так, капитан, вам лучше знать. Разве я спорю? Только Гордон тут при чем, какое он-то имел отношение ко всему этому? Ну, если б в этой мясорубке не перемололо таких, как он, вы ведь все равно вели бы эту вашу войну? Так это что, для начала?»

Удовольствия ему это явно не доставило, его темные глаза говорили об этом. Я подумал, что мне все-таки стоило бы вести себя сдержанней.

Какой-то дух противоречия одолевал меня все эти дни. Хотя сколько лет я душил в себе все чувства!

Они собрались уходить, и тут он сказал, как бы между прочим бросил, с ленцой, в своей манере: «Знаете, коль скоро у вас такое уж желание помогать людям, вроде этого Генри Мапхуны, наше дело сторона. Энтузиазм, как говорится, излишний, но дело ваше». Глядел на меня некоторое время, молчал, а потом добавил: «Но честно говоря, замечания, вроде того, что вы себе тут на днях позволили, ну насчет убийц Гордона Нгубене, которых вы, мол, к стенке готовы припереть, это уж нам не по душе. С огнем играете, господин Дютуа».

И тут же, как ни в чем не бывало, протянул мне руку. Тонкий глянцевитый шрам на щеке. Кто это его так? (И что с тем сталось после этого?)

Они ушли, а я как был, так и остался стоять, ноги точно парализованные. Как он про Генри-то мог узнать? Выходит, всю цепочку размотали? Кто-то проболтался? Из конторы Левинсона? Придется быть настороже. Но эта моя фраза насчет убийц Гордона, ведь здесь-то я с Линдой разговаривал, это я ей сказал, никому больше.

Приводим к общему знаменателю. Телефон.

Слава богу, что я в тот день не дозвонился до Мелани. Так что хоть до нее они не докопаются.

4

30 мая. Извечное «налаживание отношений» с родителями Сюзан, без особой сердечности с обеих сторон. У них до сих пор скулы сводит: как это отдали дочь человеку «ниже» ее по общественному положению?! Это от стольких-то ферм, которыми еще ее бабушка с дедушкой владели в Восточном Трансваале. Это при папеньке-то, одном из самых видных адвокатов в Лиденбурге. Лояльный сторонник националистической партии. Стоял в оппозиции к правительству Смэтса в период войны. Какое-то время даже ушел в подполье. На выборах 1948 года потерпел поражение, но в пятьдесят третьем все-таки стал членом парламента, чтобы уж на остаток жизни обеспечить более менее безоблачное существование. Долгое время шантажировал, грозил уйти в отставку (в семьдесят пятом и до следующего ноября), как я подозреваю, с расчетом набить себе цену, что его станут упрашивать остаться. И в надежде заполучить в награду пост главы парламентской фракции или что-нибудь в этом роде. Единственное, что его мучает в жизни, — это червь зависти, отсутствие «признания» благодарных соотече-

ственников, и это после того, как человек «все отдал своему богу и отечеству». В поговорку вошло: человек с большим будущим в прошлом.

Теща мне более симпатична. Для своих лет прекрасно сохранилась. Если б только хоть чуточку своего «я». Но она всецело под влиянием дражайшего супруга, курит ему фимиам и не понимает, что он с самого начала исковеркал ей душу. Тенью следует она за ним по форумам этой его партии националистов-африканеров, по парламентским сессиям, на торжества по поводу открытия домов для престарелых, слепых, увечных, умственно отсталых, а также тоннелей и буровых скважин. В своей неизменной шляпке. Матери и королеве подобна.

Надо признаться — и это уж никто не оспорит, — он умеет себя подать. Возраст придал ему лишь достоинства и осанки. Как и золотая цепочка на обозначившемся животе. Седые усы и аккуратная эспаньолка. Благородная проседь в волосах. Черная пара, даже если он инспектирует свою самую захудалую ферму. Несколько подозрительный румянец на щеках, выдающий, может быть, чуть чрезмерную склонность к шотланд-

скому виски. Bonhomie[15], за которым сокрыта железная воля. Кремень человек. Безжалостное до жестокости собственное представление о добре и зле. И уверенность в собственной правоте. Понятно, откуда в Сюзан эти черты. Едва ли не садистская праведность. От сознания собственной добродетели, с которой он определял телесные наказания своим собственным дочерям, даже когда тем минуло восемнадцать, чуть не девятнадцать. И это за любую провинность, например, на минуту позже десяти явились домой. Против правил. Непреклонный порядок в доме, регламентирующий все и вся, режим, расписание, вплоть до того, что происходит в субботу вечером в спальне родителей. Достаточно было, чтобы навсегда убить в ней все живое. Подобно молодому саженцу, схваченному неожиданными заморозками. Ну нет уж, такое деревце не плодоносит, а если и да, то что за плоды.

Они здесь с субботнего утра. Остались и на сегодня. Торжественное введение в строй нового промышленного комплекса в Вандербил-парке.

Вчера после обеда дамы покинули нас, очень естественно оставив вдвоем с тестем в неловком

---

[15] Примечания: 15
Добродушие *(франц.)*.

молчании в нашей гостиной. Он налил себе виски. Я сидел, потягивая трубку.

— Кое-что хотелось бы обсудить с тобой, Бен. — Он сделал при этом добрый глоток. — Поначалу я думал, лучше оставить все это, как есть, да вот Сюзан, похоже, считает, что лучше уж откровенно поговорить. Так она считает.

— О чем это? — спросил я, сразу заподозрив, что без Сюзан здесь, уж конечно, не обошлось, а у нее один пунктик.

— Ну, сам понимаешь, все эта твоя фотография в газете.

Я молча жду, что дальше.

— Ну, что тебе на это сказать? — Он еще прихлебнул из бокала. — Лично я считаю, что каждый, разумеется, имеет право на собственное мнение. Но, видишь ли, такого рода вещи могут поставить в затруднение… ну выразимся так, людей моего положения.

— Тем более что с положением у вас горе одно! — подбросил я.

— А не надо шутить, Бен. Прискорбен да будет тот день, когда семье придется выбирать между главой ея и долгом перед отчеством своим. Так вот.

— Вы что ж, упрекаете меня за попытку помочь

этим людям?

— Ни боже мой. Ни в коем случае. Я разделяю это участие в их судьбе. Всю свою жизнь я поступал точно так же, жертвуя собой ради ближнего, будь он черный или белый. Однако же, Бен, на моей памяти такого не было, чтобы кто-то из нашей семьи появлялся на публике, извини меня, с женщиной из этих кафров.

Он все прихлебывал из своего бокала. Предполагая по опыту, что за этим последует — а последовать могла лишь законченная от и до, да еще подогретая алкоголем речь адвоката, — я, как мог, старался предотвратить этот поток красноречия.

— Рад, что вы упомянули об этом, отец. Сам хотел заговорить, просто не знал, с чего начать, язык не поворачивается.

— Вот-вот, и Сюзан мне рассказывает.

— Ну первое, это что касается жилья для Эмили Нгубене. Она осталась не только без мужа, но и без дома.

Похоже, что у него даже на душе отлегло, что все так просто.

— Бен, — он начал с экспансивным жестом, но задержал руку, стараясь не расплескать виски, — обещаю тебе, все будет устроено. — Вынимается

черная записная книжечка. — Попрошу только необходимые данные. И как только я возвращаюсь на следующей неделе в Кейп…

Коротко и ясно. Я решил поднажать, воспользоваться его великодушием.

— Ну и затем, дело самого Гордона Нгубене.

Здесь совсем другая реакция. Холодно:

— А что такое? Я полагал, дело закрыто?

— Если бы так, отец. Но следствие не выяснило и половины того, что произошло.

— В самом деле? — он заерзал, явно встревоженный.

Я в общих чертах ввел его в курс, не только обратив внимание на вопросы, возникшие в ходе судебного разбирательства, но и приведя некоторые факты, до которых мне удалось докопаться. Пусть даже сами по себе они и незначительны.

— Ничего, что можно было бы предъявить в суд закона, — сказал он едва ли не самодовольно. Вынул свои карманные часы, посмотрел время, как бы рассчитывая, сколько еще может он уделить мне до своего послеобеденного сна.

— Прекрасно понимаю, — отвечал я. — Поэтому мне и хотелось обсудить это с вами. У нас нет окончательного, неопровержимого доказательства. Но достаточно данных, указывающих, что

нечто серьезное тщательно скрывается.

— Ты спешишь с выводами, Бен.

— Я отдаю отчет в своих словах! — Резко, сам понимаю. Но это у меня невольно вырвалось. Он оглядел меня, явно шокированный, и отхлебнул виски.

— Прекрасно, я слушаю, — произнес он, вздыхая. — Может, я и смогу использовать свое влияние. Но прежде тебе придется убедить меня.

— Так вот, если им действительно нечего скрывать, — отвечал я, — чего ради служба безопасности из кожи вон лезет, чтобы запугать меня?

Похоже, с него весь хмель разом сошел, всю его самодовольную спесь как рукой сняло при одном упоминании о службе безопасности. Он спросил, при чем здесь это, и я рассказал про обыск, подслушивание телефонных разговоров и про то, как меня Штольц прямо предупредил.

— Бен, — сказал он тут, переходя на подчеркнуто официальный тон, — прошу извинить, но с такого рода вещами я предпочел бы не иметь ничего общего. — Он поднялся и пошел к дверям.

— А, значит, они и вас насмерть запугали?

— Не валяй дурака! Кто это меня может запугать? Кто бы там ни был. — Он сверкнул на меня

глазами. — Я тебе только одно могу сказать: если уж здесь замешана служба безопасности, у них должно быть для этого предостаточно оснований. А в таком случае я предпочитаю держаться подальше.

Я встал в дверях, не давая ему пройти.

— То есть, вы предпочитаете сидеть и спокойно созерцать, как совершается несправедливость, и попустительствовать этому, так надо понимать?

— Несправедливость? — Он побагровел. — Где несправедливость, в чем? Не вижу.

— Что произошло с Джонатаном Нгубене? И как умер Гордон? Почему они делают все, что только могут, чтобы замять это?

— Бен, Бен, как ты можешь вставать на сторону врагов собственного народа? Тех, кто только и ищет случая накопить патроны, чтобы свергнуть свободно избранное правительство? Боже правый, я ожидал от тебя чего-нибудь умнее в твоем возрасте. Ты никогда не был способен на необдуманные поступки, сколько я тебя знаю.

— Тем более. Отчего же вы не хотите выслушать меня?

— Ну что ж, продолжай. — К нему вернулось самообладание. — Но только я спрошу, да знаешь ли ты свой народ? Мы всегда были верны запове-

дям господа бога нашего. Мы — христиане, не так ли? Нет, я не говорю, будто среди нас нет исключений. Но обобщать насчет «несправедливости» и тому подобного, как это делаешь ты…

— Помогите восстановить справедливость, вот вам прекрасный случай.

— Бен, я тебе уже сказал. — Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу, — Если б ты обратился ко мне с чем-то ясно очерченным и несомненным, я бы первый взялся помочь. А эти твои смутные подозрения, инсинуации — все это на уровне измышлений, которые тебя до добра не доведут, — Он раздраженно хмыкнул: — Несправедливость! Да прежде, чем произносить это слово, вспомни, что мы выстрадали. Сколько наших людей было брошено в тюрьмы в сороковые годы именно потому, что эта земля была слишком дорога нам, чтобы втягивать в эту проанглийскую войну. Помилуй, сражаться на стороне тех самых англичан, которые нас столько угнетали?

— У нас же было свободно избранное правительство, если не ошибаюсь? Возглавляемое африканером, если опять-таки мне память не изменяет?

— Это ты Смэтса называешь африканером?!

— Вы уходите от вопроса, — напомнил я ему.

— Ты первый заговорил о несправедливости. Ты, человек, который преподает в школе историю. Тебе должно быть стыдно себя самого. Это теперь-то, когда мы в конце концов пришли к власти в своей собственной стране.

— И теперь мы вольны поступать с другими, как некогда поступали с нами?

— О чем это ты, Бен?

— Что бы вы делали, будь вы черным, черным человеком в нашей стране в наши дни, а?

— Ты меня просто поражаешь, — произнес он высокомерно, — ты что, не понимаешь, сколько правительство делает для туземцев? Да что ни день, их только и делают, что толпами освобождают, даруют свободу и независимость в их собственных странах, черт побери. И после этого у тебя хватает наглости рассуждать о справедливости! — Он властно положил руку мне на плечо и, хотя рука у него дрожала, ловко отодвинул меня с дороги, так что мне ничего не оставалось, как посторониться и дать ему пройти. — Подумай хорошенько, Бен, — бросил он мне через плечо уже из коридора по пути в спальню, он опаздывал к своему послеобеденному сну. — Нам нечего стыдиться, мы можем честно смотреть в лицо всему белому свету, так-то вот, мальчик.

Теперь я знаю, от него бессмысленно ждать помощи. Не потому, что он злой или тупой человек. Не потому даже, что боится. Просто потому, что он не в состоянии допустить хотя бы на миг саму мысль, что я могу быть прав. Его великодушие, это его истовое христианство, твердокаменная вера в незыблемые моральные устои своего избранного народа сами по себе куда более серьезные препятствия, нежели любой враг, что идет на тебя лицом к лицу, в открытую.

5

Это была зима неудач. Сплошные старты без финиша.

Генри отказали в иске по делу об изнасиловании его сестры, из этого попросту ничего не вышло. Поскольку же ее хозяин был признан невиновным и уголовное дело было прекращено судом, апеллировать было не к кому. Дэн Левинсон предложил в качестве альтернативы: или она готова засвидетельствовать, что связь была по обоюдному согласию, и тогда новый процесс может быть начат на основании Закона о нарушении нравственности, или в противном случае остается лишь уповать на гражданское право о возмещении за причиненный ущерб. Семья тут же отвела всякие ссылки на этот Закон, поскольку это без оснований запятнало бы репутацию сестры Генри. Не согласились они и на иск о возмещении ущерба. Они требовали одного: восстановить ее доброе имя, а виновный пусть несет наказание по закону. Исход дела, если разобраться, был предрешен, тем более Бен Дютуа был просто ошарашен, когда мать Генри явилась к нему домой с просьбой заступиться.

Вечером, за два дня до этого, Генри с законом в руках пришел к бывшему хозяину своей сестры, а сделал незаконное — разбил этому человеку лицо. И теперь с него взята подписка о невыезде в связи с обвинением в покушении на убийство.

Назад к Дэну Левинсону, выхоленному, хорошо одетому, ухоженному и аккуратному под стать собственному столу, к Дэну, излучающему энергию, каковая ассоциируется единственно и непременно с рекламой дезодоранта для спортсменов. А там, конечно же, опять этот парад гибких и легких в движении блондинок с папками-скоросшивателями, записками, подносами с кофе.

Но Бен едва успевал выкраивать время. Мелани оказалась права: за эти зимние месяцы у него двери стучалось все больше и больше совершенно незнакомых ему людей, взывавших к его помощи. Приходили те, кто отчаялся найти работу в городе, и те, у кого на этой почве возникали трудности с получением документов (одно это чего стоило: дозволено пребывание в предписанном округе Йоханнесбурга в соответствии со статьей 10 (1) Закона № 25 от года 1945…) и официальных печатей. Самое простое было препроводить их к Стенли; что ж, те, кому он не мог уделить время, препровождались к некоему

посреднику в предместье. Были и другие, те, кого выселили из квартир или по причине того, что плата оказывалась для них непомерной, или за жительство в районе, где не имели права селиться. Мужчины, преследуемые в судебном порядке за то, что выписали семью из отдаленных своих краалей. Пожилая вдова, чей шестнадцатилетний отпрыск был обвинен в «терроризме», когда, посланный в молочную, оказался арестованным полицией, разыскивавшей в это время неких малолеток, час назад где-то в Соуэто подпаливших школу. Другие, не было им числа, приходили жаловаться, что их отцов, или братьев, или сыновей «схватили» несколько дней, недель, месяцев назад и к ним до сих пор не допускают; другие, отпущенные за отсутствием состава преступления, приходили с рассказами о словесных оскорблениях, угрозах и пытках. Молодая пара, юноша белый, а она цветная, явившиеся к Бену ни больше ни меньше как с вопросом, не может ли он их сочетать? Почтенный старец жаловался, что он отдал дочь замуж, а зять отказывается выплачивать выкуп, установленный обычаями племени. Всякое случалось: и шокирующее его, и нелепое до смешного. Но между истинными просителями был, надо признаться, поток самых

обычных попрошаек и нищенок.

Сначала они приходили поодиночке, с перерывом в неделю, а то и больше. Потом редкий день обходился без этих алчущих глаз и рук, молящих о помощи. Приходили по двое, по трое, целой толпой. Не единожды Бену сознательно не хотелось уходить из школы, дабы не нарваться на все эти новые «просим вас», неизбежно преследовавшие его дома. А Сюзан, та и вовсе завела собаку, чтобы оградить себя, вконец напуганная этой очередью с заднего двора, без конца и края тянувшейся к их дому.

Степень ответственности, возложенной на Бена, и самая невозможность отринуть ни единого, кому сам же предложил помощь и дал по доброте своей, — господи, от всего этого не спалось ночами. Казалось, нет сил больше человеческих выдержать. Он стал с ними строже, научился беречь слова, и число этих его прихожан тогда поубавилось, по крайней мере за счет тех, кто приходил поболтать либо попросить пустого совета. Будь у него достаточно времени, освободи его господь от всех остальных забот его, он бы еще справился, ризу бы на покров поменял. Но все дело в том, что с того самого дня, как в его жизнь снова вошел капитан Штольц, его ни на

минуту не отпускало чувство, что он не один, что за каждым его шагом, каждым его движением, жестом следит неотступно некто невидимый, неосязаемый.

Порой это было нечто из области подозрений, просто мелочь какая-то, и он находил ниже собственного достоинства обращать на нее внимание. Но в один прекрасный момент накопилась такая череда этих «мелочей» — подключен телефон, до этого такого не было; почту перлюстрировали, не было такого до этого; неизвестный в автомобиле первый раз за всю жизнь «вел» его всю дорогу; первый раз в жизни против дома стоял человек, явно отмечавший всех, кто входит и выходит; первый раз в жизни среди ночи вдруг зазвонил телефон, и, что же, там только вздохнул кто-то устало и грустно усмехнулся, проверка, мол, аппарата; первый раз в жизни один из друзей Бена сказал так: «Знаешь, у меня вчера гость странный какой-то объявился, о тебе все больше расспрашивал…»

Были и светлые дни. Стенли вернулся из Ботсваны с новым письменным доказательством, подтвержденным под присягой и подписанным Веллингтоном Пхетла: покидая вынужденно страну, подписавший настоящее заявление изла-

гал правдивую историю его ареста и совместного заключения с Джонатаном Нгубене. Стенли тут же нащупал с дюжину приятелей этого Веллингтона, не отказавшихся засвидетельствовать его показания в письменной форме. Впрочем, новость, которую он принес насчет второго сына Гордона, Роберта, была неутешительной. Стенли разыскал парня, когда тот собирался в Мозамбик и был несокрушим в своей решимости вернуться домой не иначе как с автоматом в руках.

Однако уныние насчет Роберта было с лихвой покрыто тем, что принес Стенли вскоре после возвращения. Вот уж новость так новость. Эти тюремщики, похоже, теперь явно на крючке: он разыскал старика уборщика из полицейского морга и тот прямо сказал, что в то самое утро, когда было вскрытие тела, капитан Штольц из СБ самолично вручил ему узел с одеждой и приказал сжечь все дотла.

А в Соуэто черный адвокат Джулиус Нгакула четко и настойчиво вел свое дело, собирая всех своих старых клиентов, кто мог хоть что-нибудь сообщить относительно Джонатана или Гордона Нгубене. Даже больничная сиделка, та, что после беседы с людьми из СБ, казалось, вконец потеряла присутствие духа; согласилась подписать новое

заявление под присягой. И все эти по крупицам собранные свидетельства, каждую бумажку Стенли приносил Бену на хранение, и исе складывалось в тайник в ящике с инструментами.

Были и неудачи. Буквально на третий день после того, как эта сиделка подписала свои новые показания, ее арестовала служба безопасности. А в августе в нарушение предписания о невыезде Джулиус Нгакула ездил в Мамелоди навестить свою сестру, и они арестовали его. А это означало год тюремного заключения. Впрочем, Стенли воспринял это с удивительным спокойствием.

— Из старины Джулиуса они ничего не вытянут, это уж будьте уверены. А то, что попался, так к бутылке надо было меньше прикладываться. Годик посидит, протрезвится, как стеклышко станет. На пользу.

— Год тюрьмы только за то, что человек навестил собственную сестру?!

— Такая уж его судьба. А вообще, Джулиусу грех жаловаться.

— А вы не находите, что это только повод, просто они докопались, что он нам помогает?

— Ну так что? — В этом его излюбленном «ну так что?», в тоне, каким это произносилось, был весь Стенли Макхайя, — Слушайте, вы что, те-

перь еще заберете себе в голову комплекс вины, так, что ли? Такую роскошь себе только либералы могут позволить, это по их части. И думать забудьте. — Он его хлопнул по спине, так что Бен качнулся. — Выпустят Джулиуса, никуда не денется. Освежится в холодке.

— Но как можно?! Забрали человека, с которым делаем одно дело? Что ж получается, с глаз долой, из сердца вон?

— Кто говорит, из сердца вон? Лучшая память по человеку, дорогой мой, бороться и не сдаваться. Мы это ради Эмили делаем, так?

Как-то к вечеру к Бену заглянула и Эмили. Он сидел вконец измученный после дневного потока посетителей. Воскресенья как не было. Сюзан уехала на весь день в Преторию, к Сюзетте и Крису, последнее время это у нее вошло в привычку — уезжать на конец недели. Йоханн закатился куда-то с приятелями. Когда постучали, Бен решил просто не открывать. Но постучали настойчивей, и не оставалось ничего, как заставить себя подняться и тащиться вниз. Он открыл. На веранде у парадной двери стояла Эмили, а в тени колонны — незнакомый мужчина, черный, в коричневом в полоску костюме. Лет около тридцати, приятное лицо, только какое-то на-

пряженное и как-то нервно озирается все время, точно за ним следит невидимый враг, который вот-вот появится — и конец ему.

— Это Джонсон Сероки, баас, — извиняющимся голосом произнесла Эмили. — Я вам о нем говорила, ну тот, что записки приносил. Письма то есть, из тюрьмы.

Он провел их к себе в пристройку, задернул занавески. И тогда прямо спросил его:

— Вы действительно работаете на тайную полицию, Джонсон?

— Выбора не было, — ответил тот, а в голосе проскользнула враждебность.

— И тем не менее вы тайно выносили из тюрьмы эти письма для Эмили?

Он только рукой махнул.

— А если человек в беде и просит? — Джонсон Сероки сидел на краешке стула и хрустел пальцами, перебирая палец за пальцем кисть левой руки.

— Джонсону грозят большие неприятности, баас, если они узнают об этом, — предостерегла Эмили.

— Что вы знаете о Гордоне, Джонсон? — спросил Бен.

— Я его почти не видел, — коротко, заученно

отвечал тот.

— Но когда видели, вы с ним ведь разговаривали?

— Он давал мне эти письма, баас, хозяин.

— Когда вы видели его последний раз?

— Перед самой смертью.

— Вы присутствовали, когда они его допрашивали?

— Нет. — Он стиснул кисть левой руки и хрустнул всеми пальцами. — Я через три комнаты тогда находился от того кабинета. Когда волокли его по коридору, видел.

— Когда это было?

— В четверг. Двадцать четвертого февраля.

— В какое время, не помните?

— Во второй половине дня, к вечеру уже.

— Как он выглядел?

— Не разглядел. Нога волочилась.

Бен проглотил комок в горле. Спросил:

— Мертвого?

— Нет, он стонал.

— Может быть, он что-нибудь пытался сказать? Ничего не разобрали?

— Ничего.

— А вы что делали?

— Что я мог делать? Я был, где положено. Делал

вид, что занят работой. Они отволокли его вниз, где камеры.

— А потом они говорили что-нибудь об этом? Между собой?

Джонсон Сероки рывком поднялся и подошел к столу, оперся о него обеими руками и наклонился к Бену, глядя ему в лицо, и белки глаз были желтые, в сети красных прожилок.

— Если вы кому-нибудь донесете, что я сегодня был здесь, я буду все отрицать. Ясно?

— Понимаю. Обещаю. — Он разглядывал это склонившееся над ним лицо, искаженное страхом, — Никто не узнает, что вы были у меня.

— Я только потому, что Эмили так просила.

— Я сказала ему, как баас очень добр к нам, — смущенно выдохнула измученная женщина, — Что вы нам приятель.

— И больше вы не видели Гордона? — настойчиво продолжал Бен.

— Когда они отправляли тело в морг.

— Когда это было? Точно.

— На следующий день.

— Джонсон, вы действительно не знаете, что было ночью, накануне?

— Откуда мне знать? Я от таких вещей держусь подальше.

— Почему ж вы в таком случае вообще не уходите из полиции? — резко бросил ему Бен. — Ведь вы им чужой?!

— Еще чего?! А семья? Я люблю свою семью.

И когда они ушли, этот нервный молодой человек и Эмили, заполнившая собой едва не всю комнату, Бен накоротке все записал.

На следующее утро, средь белого дня, его кабинет открыли отмычкой и обшарили самым дотошным образом, пока он сам был в школе, а Сюзан ездила за покупками. Ничего не взяли, только книги на полках переворошили, а содержимое ящиков письменного стола вывалили на пол и еще вспороли чем-то острым подушки на стульях и не удосужились даже зашить.

— А я что говорю, — негодующе прокомментировала Сюзан, — невесть уж сколько времени, что, если не прекратится эта бессмысленная возня, это вечное обшаривание дома, если ты не положишь этому конец, произойдет самое что ни на есть решительное. И это будет только по твоей собственной вине. Надо же, Бен, смотреть на вещи открытыми глазами! Ты что, делаешь вид, что ничего не замечаешь?

Он не отвечал. Подождал, пока она примет успокаивающую таблетку, и, когда легла после

этого, заспешил в гараж. Нет, ящик с инструментами стоял на месте, не тронули.

6 сентября. Вчера вечером она отбыла в Родезию, летит через Малави. По крайней мере такова официальная версия. На самом-то деле в Лусаку, конечно. Для этого ей и потребовался ее британский паспорт. Я пытался было предостеречь, чем это грозит. Она только отмахнулась, плечами повела: «О господи, да это единственное, чем меня маменька облагодетельствовала. Так уж пусть послужит во благо». Когда в прошлом месяце кончился срок действия ее южноафриканского паспорта, она тревожилась, что его не продлят. В конце концов все обошлось благополучно, попросту зацепиться было не за что. Вспоминаю прошлую пятницу. С хохотом показывала мне какую-то новую фотографию. Ужасно, так она говорила. А мне даже понравилась. Она подарила мне ее на память.

Господи, ну точь-в-точь как девочка и мальчик в школе: дарю фото, помни оригинал. Да каких-то десять дней и всего-то разлуки, увещевала она. А на меня навалилась неведомая дотоле пустота, точно оставили одного без всякой защиты.

Через неделю еще новость, на этот раз результат ее контактов на Й. Форстер-сквер. Служитель,

разносивший ужин заключенным, третьего февраля получил инструкцию, что отныне в камеру Гордона Нгубене допускаются лишь белые надзиратели. Это было именно в тот день, когда Гордон жаловался на «головные боли» и на зубную боль. Наутро как раз и появился доктор Герцог, окружной хирург.

И что еще более важно: когда тюремные надзиратели, и этот служитель среди них, вечером двадцать четвертого февраля пошли заступать на смену в блоке, где находились камеры заключенных, он видел у двери Гордона какого-то человека. Один из его черных коллег сказал ему: «Там больной, у него врач».

Таким образом, мои подозрения подтверждаются. Д-р Герцог знает больше, чем склонен рассказывать. Но кто вытянет из него остальное?

Сегодня, оставшись неожиданно в полном одиночестве, я от нечего делать заехал к Филу Бруверу. Застал его играющим на фортепьяно. По-прежнему такой вид, точно спал не раздеваясь. Застоявшийся запах спиртного и табака, в комнате не продохнуть. Откровенно обрадовался мне. Холод, как на улице. Играли в шахматы у камина. Раскуривает трубку длинными хворостинами. Полная жестянка хворостин, целый

букет, специально для этой цели заготовленных.

— Что скажет Следопыт? — В бойких темно-карих глазах под нависшими кустистыми бровями играли смешинки. — Может, благостями разума своего одарит?

— Подвигаемся помаленьку, профессор. Полагаю, Мелани рассказала вам, что она выведала у этого надзирателя.

— М-м. Не сыграть ли нам партию в шахматы? А? Не возражаете?

Долго играли молча, словом не обменялись. Просто удивительно: я не чувствовал себя одиноким. Здесь же, на коврике у огня, дремали кошки. Какая-то цельность, вот именно, другим словом не передать впечатление от этого моего состояния. Законченное целое, не в пример той головоломке, картинке-загадке, что я складываю всю жизнь из мелких кусочков.

Вот я все никак не мог ухватить суть, а найдя слово, произнес, и тут же все стало на свои места. Цельность. Я-то просто не замечал изнанки этого бытия, подобно подкладке на собственном пиджаке.

— Знаете, что меня действительно пугает, профессор? — Только тут он бросил на меня взгляд сквозь клубы дыма от трубки и ждал, что я ска-

жу. — Вот мы собираем по крупицам истину, стараемся. Порой кажется, все, стоп машина. А смотришь, нет, ведь дело все-таки развивается… Но предположим, в один прекрасный день картина готова, мы узнаем все, что с ним случилось, все до последней мелочи. И что же, все это ради того, чтобы до мельчайших деталей восстановить конец человека, о жизни которого тебе по-прежнему ровным счетом ничего не известно?

— Не многого ли вы хотите? — спросил он. — А что вообще человеку дано знать о себе подобном? Живут двое, любят друг друга, и даже они, что они знают друг о друге? Я много думал об этом, знаете ли… Моя жена. Наш брак. Ладно, я был много старше ее, и, положим, если разобраться, — (в сумрачном раздумье), — этот брак с самого начала был обречен. Но я-то полагал, тогда по крайней мере, что мы знали друг друга. Я был абсолютно в этом уверен. Пока она не собрала вещи и не ушла. Тогда только мне впервые в голову пришло, что я в своем существовании чуть не все двадцать четыре часа в сутки жил рядом с человеком, о котором ничего не знал. А возьмите концлагерь в Германии. Сколько нас там было, каждой крохой делились — это ли не истинная близость человеческая? И вдруг самый незначительный пустяк,

и вы обнаруживаете, что по сути-то вы чужие люди, каждый сам по себе, безнадежно одинокие, одни в целом мире. Вы сами по себе, Бен, и ведете свой диалог с миром. Всегда. Так всегда.

— Может быть, это от природы человеческой — брать, — возразил я, он меня не убедил. — А потом, что касается Гордона, вот уж где, простите, я действительно только даю. И это не пассивное какое-то отношение, он действительно стал частью моего существования в полном смысле слова, он заполняет все мои мысли. Но вот все будет сказано и все будет сделано. И что я получу? Факты? Да, факты, подробности. А что они, собственно, расскажут мне о нем, об этом человеке, этом Гордоне Нгубене, который должен ведь существовать помимо этих подробностей? А возьмите всех этих людей, что толпами стекаются ко мне за помощью. Что я о них знаю? Нам даны речь, слух, осязание — и все это, чтобы оставаться этакими пришельцами из разных миров? Как бывает, мелькнет лицо в вагоне встречного поезда, человек прокричал тебе что-то и ты ему в ответ, но это лишь слуховое ощущение, звук пустой. Что, о чем? Нет ответа, и лишено смысла.

— Все-таки прокричал, — сказал профессор.

— Слабое утешение.

— Кто знает. — Он пошел слоном. — Большинство людей любят вздремнуть в дороге или читают, что им за дело до встречных поездов и чужого крика.

— Иногда я готов им завидовать.

У него в глазах мелькнула злая усмешка.

— Дело вкуса, — сказал он. — И выбора. Вас ведь тоже никто не принуждал обременять себя вопросами, не так ли? Единственное, что от вас требуется, — это принять, что произошло, как данное.

— И что, каждый свободен выбирать? Или, может быть, это нас выбирают?

— А что, большая разница? Адам и Ева сами выбрали вкусить яблоко с древа познания? Или дьявол за них выбрал? А может, господь бог с самого начала предупредил, что да будет так, и было по воле его? То есть по логике он ведь как рассуждал: ну будет эта яблоня похожа на все остальные деревца в моих кущах, они, чего доброго, на нее и внимания не обратят; налагая же свой запрет на плоды с древа сего, он, уж будьте любезны, с полной уверенностью знал, что они на остальные фрукты и смотреть не станут. А то как же, лег бы он преспокойно себе почивать в день седьмой? Заведомо все знал. А вы говори-

те — выбор.

— Допустим. По крайней мере они знали, что делают, Адам и Ева.

— А вы?

— Одно время, казалось, знал. Был даже убежден, что иду с открытыми глазами. Об одном не подумал, что ни к чему они, открытые глаза, коли вокруг тьма кромешная.

Брувер ничего не ответил, подхватился вдруг, точно его озарила идея, взял лесенку и полез доставать с верхней полки какую-то книгу.

— Вам лучше знать, это ваш предмет. Я в этих делах профан, — бросил он с лесенки, через плечо, занятый поиском. — Но согласитесь, что смысл, истинный смысл эпох, ну таких, как эпоха Перикла, например, или Медичи, основан на одном простом факте, а именно что целое общество, по сути вся цивилизация, движется на одной скорости и в одном направлении. В такую эпоху, эру, если угодно, субъекту нет почти никакой необходимости устраивать жизнь собственным разумом. Разум здесь формировался обществом, у индивидуума же с ним никаких противоречий, но, напротив, полная гармония. И с другой стороны, времена вроде тех, в которое мы с вами живем, когда история еще не определила свой

новый устойчивый курс. Здесь каждый сам по себе. Всякий вынужден искать и формировать собственные дефиниции. Результат? Терроризм. И я, заметьте, имею в виду не только акции набивших на этом руку одиночек, нет, но организованные, на уровне государства, институты которого ставят под угрозу самое существование рода человеческого. А, вот она. — Он наконец нашел, что искал. — Вот, извольте-с. — Спустился и протянул мне томик. Мерло-Понти[16]. — К сожалению, по-французски, на котором вы не читаете. — Он огорчился, но я обещал ему, что постараюсь разыскать книгу на английском и непременно прочту.

И вечное, день за днем, нагнетаемое беспокойное чувство, что за тобой следят. Идешь за покупками в супермаркет субботним утром, и в толпе ненароком замечаешь вдруг знакомый спортивный пиджак: да это же лейтенант Вентер отвечает кому-то сияющей улыбкой; или мелькнет Восло, человек мрачный и нескладный, или Кох, высокий стройный атлет с кистями баскетболиста.

---

[16] Примечания: 16

Мерло-Понти, Морис (1908–1961) — французский философ-идеалист, представитель феноменологии.

Мелькнут в толпе и исчезнут, чаще всего именно так. И поди ломай себе голову. Полно, может быть, это просто показалось. Может, это говорит расстроенное воображение. Может быть. И вот человек ловит себя на том, что они везде, даже в церкви. Это и есть нужное им состояние. Докучливый сыск, вызывающий всеизничтожающую паранойю.

Или письма. Он вынимал их из почтового ящика в аккуратно надрезанных конвертах, точно некто, кто бы он ни был, вскрывавший их, не удосуживался даже дать себе труда подумать о том, что ведь они пойдут дальше, к адресату, — если, конечно, это не делалось преднамеренно, чтобы определенно дать понять: вашу почту кто-то читает. Ведь там не было ничего важного, ни разу. Да и кто мог писать ему что-либо угрожающее безопасности государства? А досаждало самое сознание, как в тот день, когда они выстукивали у него в кабинете шахматную доску, вывалив фигуры на пол, и искали потайное дно в вазе, что ни на какую неприкосновенность собственности он не может даже рассчитывать; нет для них ничего святого и неприкосновенного. Понятия нет такого. «Живу как рыба в аквариуме, — так было написано его почерком на странице, вырванной

из учебника, — когда каждое твое движение под испытующим взглядом чьих-то пристальных глаз, отмечающих все и вся. Рыба дышит жабрами? А вот мы тебя за жабры».

А еще *(датировано 14 сентября),* «только оказавшись — и вполне осознав это — под докучливым сыском чужих глаз, начинаешь по-другому смотреть на себя. Начинаешь смотреть на вещи трезво, понимать подлинную цену непреходящим ценностям и отметать ложное. Поистине, не было бы счастья… несчастье же учит самоочищению; избавь себя от всего наносного, учит оно, и меньше полагайся на собственную силу либо своемыслие, не они украшают, но добродетель. Только она единственно вседозволена… Они могут ворваться в любую минуту дня и ночи. Даже когда ты спишь, не спит их недремлющее око. И что прошел день и еще день, час и еще час, а ты можешь сказать себе; вот еще день, вот еще час отпущен мне, — само по себе это становится столь непостижимым, что начинаешь воздавать богу хвалу не заученно, но поистине. Не то же ли чувствует прокаженный, когда один за другим отпадают члены его? Или больной раком, чьи дни сочтены? Вот он сухой белый сезон. Белая книга смерти».

Но это редкая запись, редкая попытка позитивного мышления. Большая же часть заметок Бена Дютуа за эти месяцы говорит о депрессии, озабоченности, тревоге, чувстве неопределенности. Напряженная обстановка дома, эти вечные трения с Сюзан, ссоры с Сюзеттой, так что раскалялся телефон. Размолвки на работе.

Можно было бы отнести это за счет эпизодов с мелким шантажом, слежкой, этими пусть булавочными, но постоянными уколами самолюбию человека. С этим можно было бы с отвращением, с тягостью мириться; но нет, было и другое. Например, утром ему намалевали на дверях серп и молот; на следующий день он выходит из школы, идет к машине, и все четыре покрышки исполосованы в клочья; анонимные звонки, чаще всего в два-три часа ночи. А чего, кроме тревоги, обескураживающей теперь уже вконец, стоили истерики Сюзан, у которой нервы сдали куда раньше, а ее вспышки неизменно кончались одним: что с нее хватит и подите вы на все четыре стороны.

Ну и к чему он уж совсем не был подготовлен, так это натолкнуться в своем собственном классе на явную глупость. Вот уж подлинно чушь так чушь, а они вывели ее печатными буквами на

классной доске. И еще эти подавленные смешки. Как, кто там знает, а только это тут же стало известно в учительской, и тут же, в присутствии всего коллектива, Клуте, сам г-н директор Кос Клуте, не преминул заметить с уничтожающей иронией: «Позвольте, как учитель может рассчитывать, дабы ловили каждое его слово, если собственная его репутация отнюдь не вне всяких сомнений?»

18 сентября. Йоханн пришел из школы в ужасном виде. Рубаха порвана, синяк под глазом, губы распухли. Поначалу вообще отказался разговаривать. С трудом удалось все-таки вытянуть из него, что произошло. Ну, компания из выпускного класса. Которую неделю его изводили насмешками, вот твой, мол, папаша, любимец всех ниггеров. А сегодня он не выдержал. Ну и что, что рубаха, подумаешь, задели, синяк поставили, а им-то сколько синяков досталось. Самое страшное, всю эту стычку видел учитель, однако прошел мимо, словно это его не касалось.

Но меня не запугаешь, твердит Йоханн.

— Слушай, па, если они завтра снова пристанут, я из них не знаю что сделаю.

— И чего же ради, Йоханн?

— Пусть больше не трогают тебя, вот чего ра-

ди!

— Меня?! Меня это и так не трогает.

Йоханн говорил с трудом, я же видел, у него были разбиты губы, а только гнев душил его, и он выпалил:

— Я же пытался выяснить, чего они от тебя хотят, так они и слушать не стали. Они, получается, и знать не знают, чего ты добиваешься…

— Ты в этом уверен? — Я вынужден был задать ему этот вопрос, как ни жестоко это было с моей стороны, тем более по отношению к сыну.

Он повернулся, но так, чтобы я не видел его подбитого глаза.

— А я все знаю, — ответил он мне запальчиво. — А стыдиться тебя стану не раньше, чем ты сам сдрейфишь. Понятно?

Похоже, и сам испугался того, что вырвалось. Может, это я виноват, не надо было вызывать его на откровенность. Мне хотелось сказать ему спасибо, моему мальчику, но я промолчал, щадя его самолюбие. Остаток пути домой мы просидели, глядя прямо перед собой на дорогу. Но в тот единственный и неповторимый, в тот чудесный момент я понял: нет, все-таки стоило, хотя бы ради того, чтобы услышать эти слова от собственного сына, все это делать.

Он повернулся ко мне, только когда я остановил машину у дома, и подмигнул здоровым глазом.

— Знаешь, лучше не говорить маме правду, а? Ее это только расстроит.

И уж совсем другой силы удар ожидал Бена, когда он заехал в контору Д. Левинсона проконсультироваться по делу одного из очередных просителей. Д. Левинсон, как всегда, был резок до бесцеремонности, мог оборвать на полуслове. Не в этом дело. У Бена ноги подкосились, когда он увидел, что его ждут здесь и эти двое, адвокаты сторон по делу Гордона Нгубене: де Виллирс, тот, что выступал по иску, от семьи покойного, и Лоув, адвокат полиции.

— Вы знакомы? — бросил Д. Левинсон.

— Конечно. — Бен от души приветствовал де Виллирса, хмуро кивнул Лоуву. Этот последний встретил его на удивление радушно, едва не сердечно. И затем все трое еще с четверть часа самым дружеским образом болтали и обменивались шутками, прежде чем попрощаться.

— Вот уж не думал встретить у вас этого Лоува, — заметил Бен. Он чувствовал себя не в своей тарелке.

— Это почему же? Мы старые знакомые.

— Но… Помилуйте, после дела Гордона…

Левинсон усмехнулся, этак по-свойски потрепал его по плечу.

— Боже правый. Друг мой любезный, да мы же все профессионалы, один цех. Служба службой, как говорится, но не откажете же вы нам в простом человеческом общении. Ну-с, что у нас сегодня? Кстати, вы мой последний счет получили?

6

В начале октября нескольких сослуживцев Бена, четверых по крайней мере, вызывали на Й. Форстер-сквер. Расспрашивали о нем. Как давно они с ним знакомы, что им известно о его политических убеждениях, деятельности, круге интересов, его связях с неким Гордоном Нгубене, знают ли они о его «регулярных» поездках в Соуэто, не случалось ли им бывать у него дома, и, если да, не встречали ли они там небелых, и т. д.

Первым примчался доложить об этом Вивирс. Молодой человек буквально пылал от возбуждения и взахлеб пересказывал все подробности.

— Но я им прямо выложил, поверьте, что они попросту теряют время, ооом Бен, — вот что я им сказал, — А то, что они от меня там услышали, так я полагаю, им это и так доподлинно от вас известно. Не тревожьтесь…

— Я вам признателен, Вивирс. Но…

Молодой человек был слишком возбужден, чтобы слушать.

— Нет-нет, вы только подумайте, они заинтересовались и мною тоже! Не связан ли я с вами? Что мне известно об АНК и так далее. А в конце все

такие ласковые стали и по-отечески принялись меня убеждать, что вот, мол, господин Вивирс, вы происходите из добропорядочной семьи стопроцентных африканеров и мы ценим, как вы строго смотрите на вещи. И что, мол, конечно же, мы живем в свободной стране и каждый может высказывать собственные взгляды, это понятно. Но при этом вам одно надо себе уяснить: именно за такими вот, как вы, и охотятся эти коммунисты. Вы и понятия не имеете, как легко попасть им в лапы, вы и опомниться не успеете, как окажется, что в одну дуду с ними дудите.

— Прошу прощения, Вивирс, — сказал Бен, — но, право же, я не хотел доставлять вам столько хлопот.

— Что за церемонии? И почему вы должны просить прощения? Если они воображают, будто могут запугать меня, то, знаете ли, они глубоко ошибаются. — И с самодовольной улыбкой: — Скажите спасибо, что они еще именно меня вызвали. А то другие могли бы о вас черт-те чего наговорить, сами понимаете. Уж я-то их знаю.

Вскоре стало, конечно же, очевидным, что вызывали не одного Вивирса. И у Бена, увы, стало привычкой выслушивать отчеты коллег о доверительных беседах, что велись «где-то там» на его

счет. Однако спокойствие духа было нарушено не этим. Очевидная организованность, с какой его сослуживцы являлись к нему, — не дурак же он, чтобы не понять, откуда ветер дует, — короче говоря, вся искусственность ситуации, осознание того, что все это подстроено с одной-единственной целью — довести, и по возможности в заданное кем-то время, до его сознания: о нем расспрашивают, допрашивают даже людей! — это и должно было разбередить сознание. Так и было. Не то чтобы его беспокоила мысль, а вдруг они, его коллеги, выдадут, вольно или невольно, нечто роковое для него. Отнюдь. Ему нечего было скрывать. Его приводило в смятение лишь сознание собственной беспомощности, то, что он решительно ничего не мог предпринять в ответ.

Остальные, впрочем, не в пример Вивирсу, восприняли эти допросы по-разному. Конечно, для веселого, общительного Карелсе, при его беззаботном отношении к жизни вообще и деталям существования в частности, все это явилось не более чем очередной шуткой, колоссальным событием. Он только и знал теперь, что горланить на этот счет в учительской, благо не на одну неделю хватало запаса пусть грубого, неумного, но беззлобного, в общем, юмора. «Как наш террорист

поживает? — орал он теперь вместо обычного «доброе утро», входя в учительскую, — То есть я имею в виду с добрым утром, оом Бен, и не будете ли вы любезны снабдить меня одной из ваших бомбочек, ха-ха-ха! Я, знаете, хочу пустить на воздух наш седьмой класс. Да, а какая сегодня погода в Москве, не скажете?»

Иные стали избегать Бена Дютуа, причем более явно, нежели прежде. Ферейра, преподаватель английского, не глядя в его сторону, прошелся насчет того, что есть, мол, такое выражение в английском языке: «обжечь пальцы», то есть отучиться лезть в чужие дела.

Кос Клуте возгласил в своей обычной агрессивной манере на большой перемене, когда в учительской подавали чай:

— За все годы, что я учительствую, службе безопасности не доводилось, простите, беседовать со мной по поводу присутствующих. Чисто умозрительно я мог предположить вероятность такого поворота событий, однако допустить это практически… Ну нет, увольте.

— Я готов обсудить с вами этот вопрос, буквально по пунктам, — отвечал Бен, растерявшись перед этим запальчивым гневом в тоне директора, — тем более что мне абсолютно нечего

стыдиться.

— И тем не менее. Если хотите играть на повышение, господин Дютуа, вам придется позаботиться о том, что о вас думают. Одно могу сказать: в настоящий момент департамент предельно щепетильно относится к такого рода вещам. Впрочем, вам это известно не хуже моего.

— Я прошу уделить мне ровно полчаса в вашем кабинете.

— Позвольте, почему в кабинете? Вам есть что скрывать от своих коллег?

Бен сглотнул застрявший в горле ком негодования. И тут же постарался взять себя в руки.

— Отнюдь. Я готов сообщить вам все, что вас интересует. Где вам будет угодно. Если вами действительно руководит забота обо мне.

— Куда как важнее разобраться с собственной совестью, — отвечал Клуте, — чтобы не стать обузой школе.

Чтобы не наговорить лишнего, Бен поднялся и молча пошел к себе в класс. Слава богу еще, у него был свободный урок. Он долго сидел в пустом классе, уставившись в одну точку, потягивал трубку, пока не успокоился. Гнев прошел, вернулась способность рассуждать. И тогда он понял, что должен сделать. Это было настолько

очевидно, что он лишь подосадовал, как это ему раньше в голову не пришло.

Едва дождавшись конца занятий, он отправился на П. Форстер-сквер. Завел машину на стоянку в цокольном этаже здания и вызвал лифт. На формуляре, который дежурный ткнул ему в руку, написал фамилию полковника Вильюна. И через десять минут стоял перед письменным столом, знакомым по прошлому визиту сюда много месяцев назад. На этот раз полковник был один. Пусть так, но Бена не оставляло ощущение, что у него за спиной неслышные и невидимые люди появляются в двери, разглядывают его и тут же исчезают в коридоре. У него не было ни малейшего представления, где в этом громадном голубом здании может быть Штольц. Может быть, его сегодня вообще здесь не было. А ощущение такое, что он присутствует. Сверлит острым взглядом своих темно-карих глаз на неподвижном лице, перечерченном глянцевитым шрамом. И тут — как удар под ложечку, даже дыхание перехватило — в памяти мелькнуло другое лицо, Гордона, лицо и руки, сложенные на груди, и шляпа в руках.

«Будь это со мной, ладно. Но ведь это мой ребенок. Я должен знать. Видит бог, я не остановлюсь, пока не узнаю, что с ним случилось и где они его

похоронили. Его тело принадлежит мне. Это тело моего сына».

Любезное, бронзовое от загара лицо человека средних лет смотрело на него выжидающе. Седые волосы подстрижены ежиком. Человек откинулся на спинку и покачивается взад-вперед, балансируя на задних ножках стула.

— Чем могу служить, господин Дютуа? Весьма польщен.

— Полковник, я подумал, нам самое время все откровенно обсудить.

— Очень рад это слышать. Что именно?

— Вы прекрасно знаете, о чем речь.

— Прошу уточнить. — У него чуть заметно дернулась щека.

— Не знаю, как это у вас заведено. Но вам, должно быть, известно, что ваши люди проводят кампанию по запугиванию меня и шантажируют вот уже несколько месяцев.

— Вы определенно преувеличиваете, господин Дютуа. Единственно, что мне известно…

— Но вам известно, что они устроили у меня дома обыск, не так ли?

— В установленном порядке. Полагаю, они вели себя вежливо?

— Ну еще бы, конечно. Не в этом дело. Как

понимать все остальное? То, что обо мне расспрашивают моих сослуживцев, например?

— А почему вас это волнует? Я уверен, вам нечего скрывать.

— Не в этом суть, полковник. Суть в том… Ну вы же знаете, люди есть люди. Начались разговоры. Пошли самые нелепые слухи. Существует понятие: репутация семьи…

Хмыкнул.

— Господин Дютуа, я не врач, но и так видно, вам явно нужно хорошенько отдохнуть. — И прибавил, не без намека, который и не скрывал, впрочем: — Просто на какое-то время взять и отключиться от всего, а? Ну, уехать?

— Наконец, ряд других вещей, — настойчиво продолжал Бен, оставив замечание полковника без внимания, — мой телефон, моя корреспонденция.

— Что ваш телефон, что ваша корреспонденция?

— Не делайте вид, полковник, будто ничего не знаете.

— Именно?

Бен почувствовал, как кровь застучала у него в висках.

— Я вхожу в класс и вижу на доске оскорби-

тельные для меня слова. На дверях моего дома некто рисует серп и молот. В клочья кромсают покрышки на моем автомобиле. По ночам нас будят анонимными звонками по телефону.

Полковник перестал раскачиваться на стуле, сел как положено.

— Вы заявляли обо всем этом в полицию?

— Какой смысл?

— Смысл тот, что для этого она и существует, не правда ли?

— Я одно хочу знать, полковник. Когда вы оставите меня в покое?

— Минутку, минутку, господин Дютуа. Вы что, меня в этом хотите обвинить, так я понял?

Ему не оставалось ничего другого, как идти до конца.

— Полковник, скажите, почему вам так важно не дать мне довести до конца расследование по делу Гордона Нгубене?

— Так вот вы чем занимаетесь, — протянул он. — И это вы серьезно?

Впечатление такое, будто ему никогда не скажут правды. И все-таки он убеждал себя, что с этим человеком, непохожим на других, он может быть откровенным. И что ему отплатят той же монетой. Он упрямо тешил себя мыслью, что

они говорят на одном языке. Какую-то минуту он еще раздумывал, глядя на фотографию в рамке, разделявшую их на пустом столе.

— Полковник, — произнес он в неожиданном порыве, — вас привидения не мучают? То, что случилось с Гордоном Нгубене, вам не мешает спать по ночам?

— Все надлежащие свидетельства были представлены компетентному суду, который тщательно разобрался в обстоятельствах и вынес заключение.

— А как насчет свидетельств, что были не менее тщательно скрыты от суда?

— Ну, вот что, господин Дютуа. Если вы располагаете какой-либо информацией и с этим пришли, прошу. Выкладывайте, я готов.

Бен поглядел на него, прямого, приросшего к стулу с прямой спинкой. А тот подался к нему через стол, отодвинув фотографию в рамке. Голос звучал мрачно:

— Ибо, если обнаружится, что вы что-то намеренно скрываете от нас, господин Дютуа, если вы дадите повод заключить, что вы вовлечены в деятельность, которая может представлять опасность для всех — для вас самих и для нас, — я предвижу некоторые осложнения.

— Это что же, угроза, полковник? — спросил он, и у него запрыгали желваки на скулах.

Полковник Вильюн улыбнулся.

— Давайте выразимся так: предостережение. Дружеское предостережение. Знаете, бывает, человек исходит из лучших намерений. Но вы так увлеклись, что не в состоянии дать себе отчет во всем том, что за этим стоит.

— То есть, по-вашему, я пляшу под дудку коммунистов? Слышал. — Он не смог подавить сарказма в голосе.

— Почему вы это говорите?

— Это не я говорю, один из ваших людей буквально сказал моему сослуживцу.

Вильюн пометил что-то на листке линованной бумаги. Бен сидел достаточно далеко и, что именно, не разобрал. Но почему-то именно от этого больше всего защемило сердце.

— Так вы действительно ничего не хотите сказать мне, полковник?

— Я вот все жду, что скажете мне вы, господин Дютуа.

— В таком случае, не смею больше отнимать у вас время.

Бен поднялся и пошел к двери. Полковник тихо произнес вслед вместо привычного «до свида-

ния»:

— Уверен, мы еще с вами встретимся, господин Дютуа.

Ночью, когда все в доме спали, кроме Йоханна, засидевшегося допоздна у себя в комнате за уроками, раздались три выстрела. Стреляли с улицы в комнату Бена на заднем дворике. Вдребезги разнесло телевизор, пуля угодила в трубку, по счастью не причинив другого ущерба. Он тут же позвонил в полицию, но преступника так и не нашли. К Сюзан пришлось все-таки вызывать врача.

7

Он долго не мог решиться, сообщать ли о случившемся газетам, даже после разговора с Мелани.

— Не вижу другого выхода, Бен, — так она сказала ему. — Было время, вы скрывали все это, полагая это сугубо личным делом. Вы, Стенли, я — все мы так поступали. Но это было и прошло. Если вы и сейчас поведете себя таким образом, они попытаются сделать так, чтобы вы вообще замолчали. Ваша жизнь зависит сейчас от гласности. И если вы действительно хотите что-либо сделать и для Гордона Нгубене, вам не обойтись без прессы.

— Как бы они меня самого не использовали.

— Ну, это от вас зависит. У вас право выбора.

Он вспыхнул и с неожиданной агрессивностью бросил:

— Ну еще бы, такую сенсацию заполучить вашей газете!

— Нет, Бен, — сказала она тихо. — Сама понимаю, что я теперь никудышная журналистка, но своей газете я такого шанса давать не хочу. Вам нужна другая газета, на африкаанс. Только они

одни могут поместить такое и придать вес. Вы же знаете, что власти думают об «этой английской прессе».

Но даже и тогда он все тянул, откладывал, и единственное, на что решился, — условился о встрече с Георгом Алерсом, мужем своей сестры Хэлен, директором компании.

Офис, размером с хороший танцевальный зал, помещался на последнем этаже ультрасовременного здания, возвышающегося едва не над всем городом. Массивные кресла, низенький стеклянный столик, письменный стол красного дерева, столешница обтянута телячьей кожей, под прямым углом к нему длинный стол для заседаний с двумя рядами стульев, эти уже под старину, перед каждым — хрустальный графин и бювар из кожи. В огромных вазах бегония и delicious monster — пикантный монстр, так его называют. И все это никло в царственном присутствии самого Георга Алерса, крупного, атлетически сложенного, шести футов с лишним роста мужчины в синем блайзере, бледно-голубой сорочке и галстуке, свидетельствующем о безукоризненном вкусе. Седые волосы венцом обрамляли красивую голову. Что еще? Румяное лицо. Сигара и кольцо с печаткой на безымянном пальце.

В своем поношенном коричневом костюме Бен здесь был неуместен, подобно бедному родственнику, пришедшему искать покровительства. Ощущение только подчеркивалось учтивостью, какую выказал Бену хозяин всего этого великолепия.

— Прошу, прошу, Бен. Прошу. Целую вечность не виделись. Садитесь. Сигару?

— Нет, благодарю вас, Георг.

— Как наша Сюзан?

— Прекрасно. Я по одному вопросу.

— В самом деле? Получили наследство, состояние, так понимать?

Бен объяснил в чем дело, и веселой общительности поубавилось. Это было заметно.

— Бен, излишне говорить, с каким удовольствием я бы кинулся помочь. Ужасная история. Но что я могу сделать?

— Я подумал, такой крупный бизнесмен должен иметь доступ в правительственные сферы. Вот я и хотел знать…

— Ваш тесть, помнится, член парламента? Я не ошибаюсь?

— У него я получил от ворот поворот. А мне нужен человек со связями на самом верху.

— Безнадежно, Бен. Вы допускаете досадную

ошибку, если всерьез полагаете, будто большой бизнес у нас сам собой открывает дверь к власти. В индустриальной стране вроде США, возможно. Но не здесь. Политика — бизнес, улица с односторонним движением. — Он пустил дымок и тут же вежливо разогнал его рукой. — Предположим, я смогу добраться до кабинета министров — предположение само по себе чисто умозрительное, — и что же? Как вы себе мыслите, что дальше? Разрешения, уступки, добрая воля — вот на чем я держусь. — Отточенными, в нужном ритме движениями он стряхивал пепел с сигары в хрустальную пепельницу. — Будучи же замешанным в вещах такого рода, я всего этого лишаюсь, — Он откинулся на спинку, показывая, что официальная часть беседы окончена, — Но скажите, когда вы с Сюзан соберетесь навестить нас? Нам ведь есть о чем поговорить, бездна новостей, не правда ли?

6 октября. Сегодня: Андриа Лоуренс. Один из самых приятных людей, с кем мне довелось иметь дело. Ездил к нему по совету Мелани, имея в виду не подлежащую сомнениям прогрессивность его газеты и его собственную репутацию человека неподдельной честности и, безусловно, здравомыслящего. Не очень популярен в правя-

щих кругах, но ему отдают должное. Но и зная это заведомо, я все равно был приятно поражен. Явно по горло занятый — ему предстояло сдавать в печать субботнее приложение, — он нашел возможным тем не менее уделить мне время. Провел с ним больше часа в редакции, где все вверх дном, что естественно, когда люди думают о работе, а не собственном комфорте. Горы окурков. Кипы газетных вырезок и листки, листки бумаг, напечатанных на машинке и написанных от руки, и все это навалено повсюду, сколото конторскими скрепками, а то и просто прищепками для белья, разложено, разбросано, навалено у него на столе.

Я рассказал ему, чем занят, передав вкратце события той ночи. Он заинтересовался. На переносице залегла глубокая морщина. Гораздо старше годами, чем можно было ожидать. Вид нездоровый. На лбу испарина. Коронарная недостаточность? Готовый кандидат. Но как раз, когда я почувствовал было надежду, он вдруг покачал головой, почесал озадаченно в затылке и поглядел на меня своими острыми, но усталыми глазами.

— Господин Дютуа… Сказать по правде, никак это меня особенно не поразило. Знаете, сколько у нас аналогичных историй за эти несколько

месяцев? Иногда кажется, будто вся страна с ума посходила.

— В ваших силах положить этому конец, господин Лоуренс. У вас тысячи подписчиков.

— А вы знаете, сколько мы их потеряли за последнее время? Показать вам точные цифры по нашей редакции? — Он потянулся к проволочному ящику для бумаг на углу стола, но в отчаянии бросил затею что-нибудь найти. — А, какая разница, — сказал он. — Все равно ничего не изменишь; я одно точно знаю: сколько вокруг творится несправедливости. Однако резкое движение в неподходящий момент приводит к результатам, прямо противоположным желаемому. Наши подписчики и так уже обвиняют прессу на африкаанс, что мы идем против них. Мы же хотим вести их за собой, господин Дютуа, а не отталкивать.

— Итак, вы предпочитаете не иметь с этим дела?

— Господин Дютуа, если завтра утром я напечатаю эту историю, — он положил руку на мои бумаги, — считайте, что к вечеру я могу закрывать лавочку. Вы что, не видите, что происходит в стране? — спросил он устало. — Терроризм в городах, и ведь это только начало. Россия и Куба

у наших границ, вы читали? Даже США готовы всадить нам нож в спину.

— И посему мы должны отмахнуться от собственного позора?

— Не отмахнуться, но постараться досконально понять. Приспособиться и дожидаться наиболее выгодного момента. А затем приступить к устранению наших бед изнутри, последовательно. Постепенно.

— А пока пусть эти гордоны нгубене продолжают умирать один за другим?

— Я этого не говорил, господин Дютуа. Но вам следует понять (сколько же я это слышу, господи!), да, вы должны понять, что бросаться головой в омут — это, согласитесь, самоубийство. Постарайтесь взвесить все непредвзято. Давайте говорить объективно, какая другая партия в состоянии мирным путем ввести нас в будущее? Я ни на минуту не заблуждаюсь, будто в самой националистической партии все, как должно быть. Отнюдь. И тем не менее это единственный инструмент, с помощью которого мы в состоянии чего-то добиться. Мы больше не можем позволить себе вкладывать оружие в руки собственных врагов.

И все в таком духе. И все, я убежден, из самых

искренних побуждений. Я только больше и больше понимаю, что действительно стоит у меня на пути. Парадокс. Эта доброжелательность, эта христианская добродетель, понимание, соблюдение приличий. Не открытая враждебность, этому бы ты знал, как противостоять. Нет, те, кто устраивает тебе обструкцию, кормят тебя с ложечки кашкой добрых намерений, «в ваших же интересах» стараясь «оберечь вас от себя самого».

— Прошу вас, господин Дютуа, — сказал он в конце, — о единственном одолжении. Не давайте этот материал в английские газеты. Это самый верный путь сорвать все ваши планы, погубить дело и себя самого. Играете со смертью. Поверьте, это в ваших же собственных интересах. Даю вам слово, как только создастся благоприятная обстановка, я сам первый прибегу к вам.

В газету к Мелани он не пошел. Она сама была против этого, хотя бы из того расчета, что когда-то их могли видеть вместе. И тогда все было бы ясно, как дважды два, а она страшно хотела оберечь его.

Воскресная газета не просто приняла, буквально ухватилась за материал. На первую полосу. И, верх любезности, с обещанием ни намеком не раскрывать источник. Его подпишет один из

ведущих репортеров, как полученный «в результате собственного расследования, предпринятого газетой».

Заметка наделала шуму в то воскресенье, была сенсация. Но вот сил противодействия явно не предугадали На той же неделе министерство юстиции выдвинуло против газеты обвинение в клевете. Комиссариат полиции затребовал данные об источниках информации, представленной в печать. Репортера, Ричарда Гаррисона, вызвали для дачи показаний, а когда он отказался их представить, суд приговорил его к одному году тюремного заключения.

И сам Бен тоже не избег последствий, причем немедленных. Было очевидно, что никто и не сомневается, что он приложил к этому руку. Уже в понедельник утром вырезанная из газеты заметка висела, пришпиленная к классной доске. Позвонила Сюзетта. Явились с визитом церковные старосты и недвусмысленно дали понять, что ему следует отказаться от должности в церковном совете. Он был староста в своем приходе. А преподобный Бестер не нашел ничего умнее, чем встать в позу, иначе это не назовешь, когда на той же неделе он пришел с прошением об отставке. В среду Кос Клуте вызвал его к себе в кабинет:

похоже, впервые дело зашло так далеко, что не подлежало обычному разбору в учительской. На столе у директора Бен увидел воскресную газету, вернее, первую ее полосу. Без всякого предисловия Клуте взял в карьер:

— Полагаю, вы знакомы вот с этим?

— Да, я прочел.

— Я не спрашиваю, прочли вы это, господин Дютуа, или нет. Я хочу знать, насколько вы причастны к этому, вы лично.

— С чего это вы взяли?

Г-ну Клуте было явно не до церемоний.

— По моим сведениям, именно вы наболтали все этой английской газетенке.

— Могу я спросить, откуда у вас эти сведения?

— Интересно, сколько они вам заплатили? — Клуте часто и тяжело дышал. — Тридцать сребреников, а, господин Дютуа?

— Как вы можете?!

— Подумать только, и это кто, африканер, продает за них душу! — Он уже не мог сдерживать себя. — И ради чего — ради горсти монет и дешевой популярности. Деньги, слава — это вас увлекло?

— Господин Клуте, я не понимаю, о какой славе вы говорите. Я не видел своего имени, в этой

заметке по крайней мере его нет. Ну а что касается денег, то это и вовсе явная клевета с вашей стороны.

— Позвольте, это вы меня обвиняете в клевете?! — Бен еще подумал, что того вот тут же, не дай бог, хватит апоплексический удар. Потому что Клуте сидел и отирал лицо, покрывшееся крупными каплями пота, огромным, как салфетка, носовым платком и все не мог отдышаться. Наконец он выдавил: — Это… мое последнее… решительное предупреждение, господин Дютуа, так и знайте. Школа не может позволить себе держать в штате всяких там политических агитаторов. Этого еще не хватало!

В тот же день он вынул из почтового ящика бандероль. Он долго разглядывал пакет, так и сяк вертел, изучая со всех концов. Он ничего такого не заказывал. Вроде бы ни у кого в семье не предвиделось ни дней рождения, ни других праздников. От кого же подарок? Почтовый штемпель отправления: Лесото. По счастью, надрывая бандероль, он заметил подозрительную проволочную нитку. И его словно озарило. Он тут же, не распаковывая, отвез пакет в полицию. На следующий день в полиции подтвердили, что это была пластиковая бомба. Никаких задержаний или арестов в этой

связи, однако, так и не последовало.

26 октября. Стенли. Впервые за все эти недели. Понятия не имею, как это он ухитряется делать: являться вот так, невидимый, неслышимый. Судя по всему, пробрался через соседский участок, через забор. Но не в этом дело.

Новости от Стенли: старик уборщик, тот, что рассказывал ему подробности относительно одежды Гордона, исчез. Просто исчез и все.

Я вынужден был подвести в уме некий баланс. Итак, с одной стороны, все эти крохи, с миру по нитке. Хотя не так уж и невыразительный, на первый взгляд, перечень. Ну а расход? Не слишком ли дорогой ценой все это куплено? Я имею в виду не себя лично, не то, через что мне пришлось пройти: тревоги, заботы и ни на день не прекращающуюся травлю. Но других. Именно других, потому что в конечном счете это по моей вине им приходится страдать.

Уборщик: «исчез».

Д-р Хассим: передвижение ограничено районом Петерсбурга.

Джулиус Нгакула: в тюрьме.

Санитарка: содержится под арестом.

Ричард Гаррисон: приговорен к тюремному заключению, хотя подает апелляцию.

Кто еще? Кто следующий? Не занесены ли все наши имена в некий тайный список и каждый просто ждет своего часа, чтобы быть выключенным из жизни?

Я возжелал «очистить» доброе имя Гордона Нгубене, как выразилась Эмили. И единственное, чего добился, — увлек в бездну других людей. Включая Гордона? Ночами меня мучают кошмары, я просыпаюсь в холодном поту и все задаю себе вопрос: ну а не вмешайся я после того, как они его арестовали, ведь, может, он и остался бы в живых? Ужели я подобен прокаженному, одно прикосновение которого несет роковое несчастье?

А если тщательно разобрать все, что мы с таким трудом собрали за эти долгие месяцы, то много ли из этого представляет реальную ценность? Большей частью так, частные детали. Подтверждающие только то, что предполагали либо подозревали с самого начала. А есть что-нибудь действительно бесспорное? Предположим на минуту, все это указывает на совершенное преступление. И даже еще точнее, преступление совершено капитаном Штольцем. Но даже и тогда ничего окончательного, ничего неопровержимого, ничего, «кроме вполне обоснованного

подозрения». На всем белом свете есть одно лицо, которое может рассказать правду о смерти Гордона, — это сам капитан Штольц. Но он же недоступен, он под защитой бастиона, сооруженного его системой, чтобы надежно служить ей.

Было время, я думал: «Ну ладно, Штольц, я знаю, нас двое, ты и я. Я знаю тебя в лицо, врага моего. Давай же сразимся один на один, как подобает мужчинам».

Какая наивность, какая глупость была с моей стороны.

Я понял самое страшное, а именно что называть кого-то одного, чтобы сказать себе: вот он, мой враг, — лишено смысла. Я не могу бросить ему перчатку и вызвать на дуэль: «К барьеру, сударь». Прошли те времена. Мне противостоит не личность и даже не группа людей, но явление, нечто неопределенное и бесформенное, невидимая, но вездесущая сила, что перлюстрирует мою почту и прослушивает мой телефон, внушает принципы и мысли моим коллегам по работе и восстанавливает людей против меня, кромсает в клочья покрышки на моем автомобиле и разрисовывает двери моего дома, открывает огонь по моим окнам и шлет по почте пластиковые бомбы, — сила, следующая за мной по пятам,

играющая мной по своей воле и прихоти, установленным правилам.

Так что, по сути, я ничего не могу сделать, противопоставить что-нибудь эффективное, поскольку мне не дано даже знать, где притаился мой неведомый и невидимый враг и откуда дальше ждать его внезапного броска. Он же может стереть меня с лица земли в любой момент, когда ему заблагорассудится. Он волен решать: просто припугнуть меня, а устав вести эту игру, оставить в покое, или это только начало и он намерен продолжать, пока не доконает. Но где это будет и когда?

— Все, — сказал я Стенли, — Я пас. Больше я ничего не в состоянии сделать. Я устал. Я исчерпал себя. Мне ничего не надо, кроме покоя, капельки покоя, чтобы обрести равновесие и остаток жизни жить для своей семьи и себя самого, как раньше.

— Черт возьми, приятель. Если вы сейчас выйдете из игры… Так ведь только этого они всю дорогу и ждали. Неужели не понятно? Ну, вот уж точно на руку им сыграете.

— Откуда мне знать, чего они хотят? Я ничего больше не знаю. И знать не хочу.

Он выругался.

— Вот не думал, что у вас кишка тонка. — В хриплом голосе звучало откровенное презрение. — Ах, белый, пострадал малость и все, пас. А каково нашему брату, вот таким, как я? Всю эту вонючую жизнь только и знаем, что страдать, от первого дня, как свет божий увидел, и до последнего, пока тебя землей не присыплют. А он, видите ли, пас, больше не играет. Не-е-т. Так не пойдет.

— Ну что я могу сделать? Что, скажите?

— То есть как это «что могу сделать?» Держаться, вот что. А не пасовать. Больше ничего. Выдержите. Так ведь с вами какая уйма людей из беды выйдет. А сникнете теперь, все пойдет к черту. Долг на вас. Доказать должны.

— Что доказать и кому?

— Какая разница? Им. Себе самому. Мне. Всем этим богом проклятым парням, что еще умрут за здорово живешь самой что ни на есть «естественной» смертью, раз уж им в лапы попались. Если вы скиснете! — Он взял меня за плечи своими ручищами и встряхнул с силой, которой я даже от него не ожидал, раз и еще, у меня зубы застучали. — Слышите меня? Вы меня слышите? Да встряхнись же ты, жалкий недоносок. Или ты думаешь, что мне делать нечего, кроме как нян-

читься с тобой? Я тут денег припас на это дело. А вкалывать будем вместе, ты и я. О'кэй? Выживем, приятель. Это я точно говорю.

8

31 октября. Конец недели, решительно ни на что не похожий, просто непостижимо. Даже если учесть, что не было никаких дел, вообще ничего, что составляло все мои заботы в течение последних месяцев. Может, в этом и вся причина. Единственное могу сказать, что, когда среди недели Мелани вдруг предложила мне это, моего угнетенного состояния как не бывало.

И раньше мне случалось вот так уезжать на конец недели, бросал все и ехал. Так бывало. На целую неделю даже, особенно в каникулы. Один, со школьной группой или с друзьями, случалось, с Йоханном вдвоем. Сюзан с нами ни разу не ездила. Не любит вельд. Не скрывает презрения к этому «зову природы».

Но за последние годы не припомню даже, когда выбирался. Поэтому вполне понятно раздражение Сюзан, когда я сунулся с этим («Я договорился на субботу и воскресенье махнуть в сторону Магалисберга, — сказал я, как мог безразлично, — с одним моим приятелем, профессором Филом Брувером. Надеюсь, ты не против»).

— Я думала, ты избавился наконец от этих

мальчишеских привычек.

— Мне нужно развеяться, переменить обстановку.

— А тебе не кажется, что мне тоже хотелось бы переменить обстановку?

— Но это же горы, ночевки в палатке, пешие переходы. Совсем не твой стиль.

— Не об этом речь. Просто можно было бы поехать куда-нибудь вдвоем.

— Почему бы тогда тебе не съездить к Сюзетте?

Она не ответила, только посмотрела на меня. И меня как ударило, когда я увидел, как она постарела, какие у нее усталые глаза. И еще, было что-то неряшливое, какое-то безразличие к себе, и это у женщины, всегда такой ухоженной, привередливой до изощренности, когда дело касалось собственной внешности.

Больше мы к этому не возвращались. А спустя два дня, в субботу утром, когда Сюзан ушла за покупками, они заехали за мной, и мы умчались. Профессор Брувер, Мелани и я втиснулись на переднее сиденье старенького «лендровера», явно знавшего лучшие дни, как заметил хозяин, однако не сдававшегося с годами. Мелани откинула верх. Солнце и ветер. И навстречу всем ветрам, пусть переднее стекло в паутине трещин, а из

сидений клочьями торчит набивка.

Город остался позади, и нас тут же окружил ясный, теплый день, и мы растворились в нем. Год выдался почти без дождей, и трава едва входила в рост после зимы. Хрупкая, как соломка. Обожженный краснозем. Здесь и там, на поливных участках, полосы зелени всех оттенков. И снова пустынное ровное плато. И наконец первые изломы почвы, отроги гор. Доисторический ландшафт, выжженная солнцем земля; начисто выветренная, нагая, она лежала, открыв небу все свои тайны. И узкие зеленые долины среди холмов своими купами деревьев, и зеленью склонов, и домиками под красными крышами оставляли впечатление почти анахронизмов, чего-то несвойственного этой земле. Человек еще не пустил здесь корни по-настоящему, нет; это как была, так и осталась ничейная земля. Он гость на ней, человек, и, если земля решит стряхнуть его с себя, что ж, ей только дохнуть — и он исчезнет, не оставив следа. Единственное, что вечно и неизменно, — это горы, окаменевшие останки некоего безмерного остова. Древней Африки.

Иногда что-то мелькало по сторонам. И кто-то мелькал. Разрушенная ветряная мельница. Груда ржавой жести. Останки автомобиля. Пастух в

шляпе, висевшей лохмотьями, и с посохом в руке, на котором трепетал красный лоскут, погонял свое жалкое стадо. Еще человек. На велосипеде.

Воспоминания детства. Поездки с отцом на двуколке или маленьком зеленом «форде». Мы с Хэлен играем в невесть откуда пошедшую игру, «чур, кто первый увидит», кто первый увидел, чур, того и будет. «Чур. Мой дом». «Чур, моя овца». «Чур, моя запруда». И если попадался черный мужчина, женщина или ребенок, все равно: «Чур, мой раб». Как это казалось тогда естественно. Мы едва замечали, как они складывались, наши стереотипы, вокруг, в нас самих. Ужели так все начинается, с такого вот простого детского неведения? Ты черный, а потому ты мой раб. Я белый, что делает меня твоим господином Проклят Ханаан: раб рабов будет он у братьев своих. Ибо распространил бог Яфета, Ханаан же будет рабом ему.

Старенький «лендровер», дрожа и подпрыгивая, пожирал километры и не сдавался, даже когда Брувер свернул с гудрона и пошел петлять по пыльным проселкам, все глубже в горы. Разговаривать в этой адской тряске было невозможно. Да и не было ни необходимости, ни желания. Мы с покорностью вверили себя судьбе, и да будет

отброшено все лишнее, и пусть откроется суть. Думать и то ненужная роскошь, и ее прочь, нечего забивать себе головы. И то, что нахлынуло на меня из моего детства, не было мыслью, рожденной разумом, это был образ, и только. Понятие. Образ вещей.

Мы остановились высоко в горах. Здесь, среди первозданного хаоса диких скал, приютилась ферма друзей Брувера. Она стояла в глубокой долине, среди тучного пастбища; роща тополей, по вымощенному канальцу бежала вода, водопадом, низвергающимся из запруды на склоне где-то за домом, сложенным из дикого камня. Веранда была огорожена проволочной сеткой. В огромной клетке порхали канарейки и длиннохвостые попугаи. Клумбы. Во дворе рылись в земле, кудахтали куры. На выгоне одинокий теленок, через равные промежутки времени он жалобно мычит.

Очаровательная пожилая пара, миссис и мистер Грейлинг. Руки у старика задубелые от земли, с обломанными ногтями, и такое же продубленное лицо, только и есть белого что полоска на лбу, там, где шляпа закрывает голову от солнца. Миссис Грейлинг — крупная дородная женщина. На голове у нее соломенная шляпа с

широченными полями, из-под нее выбиваются растрепанные волосы, на подбородке родинка с пучком черных волос. Когда говорит, все время прилаживает языком вставную челюсть, протез плохо сидит. Едва подъехали, она тут же направилась к нам вразвалку, шла, видно, из домика для наемных рабочих, в нескольких стах ярдов в стороне. Там у ребенка жар, простуду схватил, сказала она нам, вот ей и приходится ночами сидеть, выхаживать.

Мы устроились на просторной веранде в холодке, пили чай и непринужденно болтали. Ни о чем серьезном. О засухе и видах на дожди, о рабочих, на которых все меньше можно положиться — «Что за спиной! В глаза дерзят!» — о том, как уродилась земляника, что вчера передавали по радио в последних известиях. Благодать — вот так снова окунуться в ничего не значащие вещи.

Они и слышать не хотели отпускать нас без обеда. Баранья ножка, рис и жареный картофель, зеленый горошек, фасоль и морковь с огорода, даже кофе со своей плантации. Только в половине четвертого мы взвалили наконец рюкзаки на плечи и по тропинке, проложенной по крутому склону за домиком из дикого камня, прилепившимся к скале, пустились в горные выси Фила

Брувера.

Он ступал впереди в своих тяжелых горных ботинках, серых носках и широченных шортах, юбкой колыхавшихся вокруг костлявых коленок. Загорелые мускулистые икры. Шел, весь подавшись вперед под тяжестью рюкзака, выцветшего от времени и всех ветров на свете. И под стать хозяину на берете у него задиристым хохолком торчало индюшачье перышко. Ступал прокуренной козлиной бородкой вперед, опираясь на посох, строганный из бука, и не отирал пота с продубленного непогодами лица. За ним Мелани, след в след, в старой отцовской ковбойке, узлом стянутой на голом животе, и джинсах. Обрезала по колени и даже не прострочила, висели бахромой. Шла, пружинисто ступая загорелыми ногами в теннисных туфлях. А я за ней, отставал, то и дело приходилось прибавлять шагу.

Горы в этих местах не очень высокие, но зато куда круче, чем кажется, когда смотришь снизу. И удивительное ощущение: будто не ты поднимаешься вверх, а мир пятится от тебя и уходит из-под ног, чтобы оставить, покинуть и бросить в этом разреженном и полупрозрачном воздухе. И разве что налетит вдруг легкое дуновение ветерка, но и этого достаточно, чтобы обжечь тебе

лицо холодом, когда ты весь в поту. Сухой шелест травы. Иногда мелькнет птица маленьким комочком или ящерица под ногами.

Мы то и дело останавливались перевести дух и оглядеться. Старик уставал скорее, чем я мог подумать. Это не ускользнуло и от внимания Мелани. И должно быть, это ее тревожило, потому что я расслышал, как она спросила его, как он себя чувствует. «Порядок», — буркнул он досадливо, ему это явно не понравилось. Но я заметил, что она тут же стала искать всякие предлоги, чтобы лишний раз остановиться: то полюбоваться скалой какой-нибудь невероятной формы, сочной зеленью деревца или очертаниями причудливой коряги, то показывала нам что-то в долине, оставшейся далеко под ногами.

На одном совсем лысом склоне мы миновали рой хижин, они так и сгрудились роем. Жалкое стадо коз, голых черных ребятишек, играющих в иссохших от зноя кустах, одинокого старика, греющегося на солнце в дверях хижины и попыхивающего длиннющей трубкой. Он приветствовал нас, пустив клуб дыма.

— Слушайте, а не построить ли нам здесь хижину и не зажить ли тихо, мирно в этом благолепии, а? — сказал я, не знаю зачем, с тоской по молодо-

сти, по ушедшему прошлому, не знаю. — Огород вскопаем, посадим картошку, коз разведем. Огонь есть, крыша над головой тоже, а глинобитные стены хорошо защищают от непогоды. Сиди себе и смотри, как облака плывут над головой. А хоть бы и тучи, нам какое дело…

— Просто вижу, как вы сидите здесь оба и покуриваете себе трубочки, пока я делаю всю домашнюю работу, — сказала Мелани.

— Добрый старый патриархат, — отвечал я и еще посмеялся: — Лично мне нравится, хорошо придумано.

— Не беспокойтесь. Уж я позабочусь, чтобы вам скучно не было, работы по горло хватит. Детей учить станете. Ведь при патриархате детей много бывает?

Больше чем уверен, здесь не крылось ничего такого. И все-таки, когда она это сказала: «детей» — мы тут же замолчали, и не так, как молчали иногда, это было что-то совсем-совсем другое, настороженное, что ли, молчание. Она посмотрела мне в глаза, и я, залитый прямым солнечным светом, весь на виду, ответил ей взглядом. И все ее очарование, простодушие этих открытых больших темных глаз, нежная припухлость губ, волосы, чуть-чуть трепещущие на

легком ветерке, и эти нежные плечи, согнутые под тяжестью дурацкого рюкзака, выцветшая ковбойка, завязанная узлом на животе, а между отцовской рубахой и джинсами трогательная впадинка на животе…

Это был миг, когда все, что имело значение, существовало само по себе, одно во всем мире, изолированное в безбрежном пространстве.

И, словно прочитав наши мысли, ее отец сорвал, не дав расцвести, этот бутон неразумной и сумасбродной романтики.

— Нельзя поворачиваться спиной к миру, — сказал он. — Не в те времена живем. Мы вкусили от запретного плода, так что путь наш — в мир грешный, иного не дано. — И тут же, казалось без всякой связи, пустился рассказывать историю, какими был буквально напичкан. — Мой старый приятель Хельмут Крюгер, немец из Юго-Западной Африки, в войну был интернирован. Но старине Хельмуту в чем другом, а в сообразительности не откажешь, умный, шельма. Посидел, посидел и однажды исчез, юркнул под грузовик, на котором в лагерь овощи возили, пристроился как-то там на раме, — он вконец выбился из сил и присел отдохнуть, — и был таков. А только вернулся он к себе на юго-запад, и что же? Ни друзей,

ни соседей. Кто уехал, кого интернировали, а ему носа на улицу не показать: опознают, тут же снова арестуют. Довольно мрачная перспектива. — Он принялся набивать трубку.

— Ну и что потом? — поторопил я его.

Брувер озорно улыбнулся:

— А что ему оставалось? В один прекрасный день он преспокойно возвращается в лагерь, на том же фургоне с овощами. Можете представить себе физиономию коменданта на очередной перекличке, когда они обнаруживают одним заключенным больше по счету? — Он вздохнул. — Мораль? А мораль такова: сколько ни беги из своего лагеря, в конце концов все равно вернешься. Условия. Руссо ошибался насчет того, что человек рождается свободным, а повсюду он в цепях. Как раз наоборот. Мы рождаемся в зависимости. И уж затем, по мере собственной добродетели, либо глупости, либо храбрости, вырываемся на свободу. Пока не озарит и не вернемся в свой лагерь. Мы так и не научились пока обращаться со свободой, она нам невмоготу, видите ли! Жалкие, ничтожные создания. — Он поднялся. — Пошли. Не целый же день нам здесь штаны протирать.

— Ты очень бледен, — сказала Мелани.

— Придумываешь. — Он отер пот, и я тоже обратил внимание, как бледность выступила на его покрытом загаром лице, оно стало серым. Но он, не обращая на нас внимания, дернул плечами, поправляя рюкзак, взял свою тяжеленную палку и зашагал.

Мелани, однако, позаботилась, чтобы до захода солнца мы все-таки стали лагерем. Протиснулись в щель и оказались в маленьком убежище, наглухо защищенные со всех четырех сторон огромными валунами. Собирали хворост. Потом мы с ним оставались одни, пока Мелани ходила собирать траву, ветки на подстилку под спальный мешок. Я сидел и смотрел на нее, пока она не исчезла за гребнем скалы, бугристой и похожей на окаменелый позвоночник некоего доисторического животного. А как мило было бы моему сердцу пойти с ней, но ее «добропорядочная линия» жизни заставила меня остаться в компании с ее старым отцом.

— Что это вы такой подавленный? — спросил Брувер, и я понял, что он давно за мной наблюдает. — Вы в горах, Бен. Забудьте обо всем остальном на свете.

— Увы. — Я принялся рассказывать ему о досадах и неприятностях последних недель, исчезно-

вении этого старика уборщика, о своем визите на Й. Форстер-сквер. — Если б они только одно мне разрешили: обсудить все начистоту, — сказал я. — Но я натыкаюсь на стену непонимания. Они просто не дают мне слова сказать. Ни спросить, ни объяснить, ни обсудить.

— А вы на что рассчитывали? Ужели непонятно, именно этого — обсудить, дать вам высказаться — они и не могут себе позволить. Ведь что значит разрешить вам задавать вопросы? Они вынуждены тем самым признать возможность сомнения. Свой же raison d'être[17] они видят именно в том, чтобы исключить эту возможность как таковую.

— Почему должно быть так?

— Потому что в этом суть силы. Грубой силы. Этим они пришли к власти, этим держатся. Сила же может исчерпать себя. — Он принялся укладывать хворостинки на место, избранное им для нашего очага. — Если у вас счет в швейцарском банке, если у вас ферма в Парагвае, если у вас вилла во Франции, если у вас интересы в Гамбурге, Бонне и Токио, если от одного движения вашего пальца зависят судьбы остальных, ох какой со-

---

[17] Примечания: 17
Смысл существования, оправдание существования *(франц.).*

вестью надо вам запастись, дабы заставить себя действовать против собственных интересов. Совесть же — растение нежное, ее надобно лелеять, резкого колебания температур она не выносит.

— Тогда безумие надеяться даже на малейшие перемены.

Он сидел, как бушмен, на корточках, раздувая огонь. Солнце село, и сразу опустились сумерки. Лицо у него красное в отблесках занимавшегося огонька и от натуги, он с трудом перевел дыхание и, прежде чем ответить, сидел некоторое время, отдуваясь.

— Есть лишь два вида безумия, Бен, которых должно остерегаться, — произнес он спокойно. — Вера в то, будто мы все можем. И еще — будто мы ничего не можем.

Во тьме я разглядел ее, она шла к нам, и у меня заколотилось сердце. Какими неисповедимыми путями дает это знать о себе? Непостижимо, подобно семени, брошенному в землю, и вдруг существования его, доселе невидимого, уже никому не дано отрицать. Так и со мной. В тот самый миг, когда мое сердце угадало ее в темноте, еще прежде, чем видеть ее, идущую к нам, я понял, что люблю ее. И еще я понял, что это невозможно, что это идет против всего того, что я собой пред-

ставляю, всего, во что верю.

И я стал избегать ее. Не ее остерегался, но себя самого. Конечно же, немыслимо было заставить себя смотреть и не видеть. Пока мы все втроем были заняты приготовлением ужина, я старательно не замечал ее. Потом это стало невозможно, потому что старик тотчас забрался в свой спальный мешок.

Она еще села рядом с ним и встревоженно допытывалась: что? почему? правда ли, он себя хорошо чувствует?

Он только кивнул и проворчал, что просто малость устал.

— Годы не те, — сказал он ей. — Ну, хватит об этом. Правда, что-то не по себе. Наверное, съел что-нибудь лишнее. А теперь оставь меня, спать хочу.

И вот мы вдвоем у огня. Она то и дело поглядывала в его сторону, как он, даже подошла посмотреть, дышит ли. Но он мирно спал. Когда огонь слабел, я подкладывал в наш очаг хворост, не давая огню угаснуть, и тогда сучья вспыхивали, потрескивая, и тысячи искр уносились во тьму. Иногда нас обдавало сухим дыханием ветра, а когда хворост дымил, за дымом нашего очага пропадали мерцающие звезды.

— Вас что-нибудь беспокоит? — спросил я и кивнул в сторону старика.

Она смотрела на огонь, джемпер набросила на плечи и зябко поеживалась, когда холодный ночной ветер залетал волной в наше убежище.

— Да нет, к утру все будет в порядке. — И долго молчала. А потом повернулась ко мне: — Ничего не беспокоит. Просто я понять не могу природы привязанности. Теряешь голову, когда подумаешь, что удержать ничего невозможно. — Она резким движением головы, в ярости почти, забросила за спину волосы, мирно покоившиеся на плечах. — Глупости говорю. Ночью со всеми так. Защитная способность ночью ослабевает.

— Вы его очень любите?

— Конечно. Он всегда со мной. Когда я порвала с Брайеном, он один все понял. Я еще сама не понимала, что происходит, только подсознательно чувствовала. А он понял. Но я не поэтому вернулась к отцу: просто не могла менять одно ярмо на другое. Когда решаются на такое, как я тогда, надо набраться сил выстоять в одиночку. Непременное условие. Иначе… — Она снова обернулась в его сторону и долго прислушивалась к его дыханию, потом уставилась на огонь и помолчала.

— Неужели действительно можно существо-

вать самому по себе? — спросил я. — Абсолютная независимость от всех и вся, это возможно? И разумно?

— Нет, я не хочу отделять себя от чего бы то ни было. В этом смысле вы, конечно, правы. Но и быть зависимой от кого бы то ни было, то есть смысл и сущность ставить в зависимость от другого человека…

— А что же тогда любовь?

— Когда я ушла от Брайена, — сказала она, — он любил меня. И я его любила. Так по крайней мере, как принято понимать это слово — любовь. — Молчание. И прямой взгляд. — Если хочешь быть журналистом, если в тебе это действительно серьезно, надо научиться не ставить во главу угла собственную безопасность, стабильность своего положения и вообще не воображать себя центром мироздания. Сегодня здесь, завтра там. Вверх-вниз по Африке. И везде найдется человек, который заставит и тебя понять, что ты человеческое существо, так восприми же все человеческое, проникнись нуждами людей, почувствуй, что сама алчешь. Но ты не смеешь сдаваться. Не совсем, конечно. Что-то всегда удерживает. Ну делишь с кем-то дни, случается, разделишь и ночь, — Она долго молчала, и мне стало совестно до отвраще-

ния собственных недавних желаний. — И снова в путь, — сказала она.

— Чего вы добиваетесь? — спросил я, — Это действительно нужно, вот так казнить себя?

Она импульсивно взяла меня за руку.

— Бен, а вам не приходило в голову, что и мне хотелось бы стать просто маленькой хозяйкой большого дома, чтобы вечером, как и все, встречать у двери своего мужа, когда он возвращается с работы? Тем более, когда тебе тридцать и ты женщина и понимаешь, что время уходит и надо спешить, если хочешь иметь детей. — И раздраженно тряхнула головой. — Да я вам рассказывала все это. Эта страна не позволила мне распорядиться собой таким образом. Хочешь жить в ладах с совестью, откажись от личной жизни — так здесь все устроено. Интимное, личное, порвите со всем этим, или мы разрушим. И если уж выбирать, то как можно меньше того, что может быть разрушено.

Я избегал смотреть на нее и сидел, уставившись на яркие уголья, словно пытаясь проникнуть в то, что скрыто под ними, в самом сердце черной земли. И я сказал то, чего не мог больше хранить в душе.

— Я ведь люблю вас, Мелани.

Ее тихий вздох. Я так и не поднял на нее глаз. Но я знал, что она рядом, и еще, что нет на свете человека, которым бы более дорожил. Не поднял глаз, но видел ее лицо, и волосы, и хрупкую ее фигуру, и плечи, и руки с нежными пальцами, и девичью грудь под отцовской, не по росту, рубахой, и упругую линию живота, все, что составляло ее самое; и еще более остро, нежели все это, я ощущал само ее присутствие рядом и жаждал ее, как земля жаждет дождя.

Потом она положила голову мне на плечо. И это было единственной нашей лаской. Теперь я думаю, а случись нам иначе выразить наш порыв и наше открытие друг друга? Земля не показалась бы нам камнем, а ночь укрыла бы нас. Но я был полон страха перед этим, и она, так мне кажется, тоже. Страха перед тем, что это всегда подводит черту и дает одно-единственное определение отношениям; перед всем, что до этого существовало лишь как возможность, пусть и осознанная. Мы же сострадали один другому, и моральным долгом нашим было не вовлекать друг друга в большее, чем то, с чем мы могли справиться или что было нам дозволено.

Так мы и сидели, и, должно быть, было совсем поздно, когда поднялись. Угли едва тлели. Она

повернулась ко мне, и я еле разглядел ее лицо в их тусклом отблеске. Потянулась на цыпочках и на миг коснулась моих губ своими. Коснулась, шагнула торопливо к своему спальному мешку и легла рядом с отцом; он дышал глубоко и неровно.

Я подложил топлива в огонь и тоже лег. Я дремал урывками, сон не шел. А проснувшись, долго лежал, закинув руки за голову, и смотрел на звезды. Жуть брала от воя шакалов где-то неподалеку. Я лег на бок и, когда глаза привыкли к темноте после ярких звезд, стал смотреть на неверные в свете затухавшего очага черные тени рядом. Ближе ко мне старик. А за ним она, Мелани. И откуда-то из далекого далека зазвенел в ушах ее нарочито несерьезный, как в чужой роли на сцене, голос: «Разве не самое страшное, когда человек обнаруживает, что до оскомины надоел другому?» Шакалы затихли, и воцарилась тишина. Но я не мог больше лежать. Эта ее близость и едва различимое в ночи дыхание не давали мне покоя. Я подложил в едва тлевший огонь несколько веток потолще, подул, пока они не занялись, и сел, накрывшись спальным мешком. Набил трубку. Стал ждать рассвета. Раз-другой старик простонал во сне. Если б Мелани не спала,

понятно, подхватилась бы. Так я и сидел над ними, точно храня безмятежный сон младенца.

Вот к чему это привело. Покой, очарование красоты, минута озарения или нечто более величественное в своей первозданности? Ночь вокруг нас, непроглядная, как судьба?

Мысли мешались, и снова нахлынули воспоминания. Детство. Университет. Лиденбург. Крюгерсдорп. Затем Йоханнесбург. Сюзан. Наши дети. Обязанности. Раз и навсегда предопределенный порядок моего существования. А затем отклонение от курса, столь незначительное, что ведь едва и заметил. Джонатан. Гордон. Эмили. Стенли. Мелани. И за каждым именем нечто необъятное, как эта ночь. И такое чувство, будто я на краю бездны. И совершенно один.

Я подумал: вот ты спишь сладким сном в двух шагах от меня, и я не смею коснуться тебя. И все-таки, оттого что ты здесь, оттого что мы одни в этой ночи, и возможно продолжать верить в самую возможность чего-то цельного, важного.

Пронизывающий предрассветный холод. Шелестит порывами ветерок. Звезды меркнут, становятся серыми. И на горизонте, сначала едва заметная, мелькает полоска занимающейся зари, медленно, не торопясь отворяя глазам землю, и

вот открываются тайны ночи, затейливые и не приличествующие свету дня.

Я тут же принялся готовить кофе. Я еще не кончил, когда старик поднялся и подсел к огню. Сидел нахохлившись, его знобило, и он был нездорово бледен.

— Что с вами, профессор?

— Не знаю. Неприятное какое-то состояние, не отпускает. Дышать тяжело. — Он потер себе грудь, там, где сердце, потянулся, расправил плечи. И тут же беспокойно оглянулся: — Ни слова Мелани. Она станет с ума сходить, а я-то знаю, что ничего особенного, пройдет.

А ей и незачем было рассказывать. Она, как глаза открыла, едва взглянув на него, тут же все поняла. И сразу же после завтрака, к которому никто из нас не притронулся, она, несмотря на все его протесты, велела поворачивать назад. Ни взглядом единым ни она, ни я не напомнили о ночи. Не было никакой ночи. В свете дня все предстало бы нелепым и абсурдным. Последний километр нам пришлось поддерживать его. Так мы добрались до фермы. Мелани погнала машину что есть духу. Я хотел их проводить до дому, вдруг понадобится помощь, но она сказала, что сначала подбросит меня домой.

Я не знал, куда себя деть весь день. Она позвонила вечером. Он в больнице, положили в интенсивную терапию. Сердечный приступ. Все.

На следующий день я поехал к ним, но ее не было. Вечером она позвонила. Кризис миновал, но он еще очень слаб. Похоже, придется полежать в больнице несколько недель.

— Мне заехать? — спросил я.

— Нет, лучше не надо. — И тут же безмятежно и тепло, совсем как в минуты нашего счастья в горах, что так коротко нас одарило: — Правда, так ведь лучше…

И оставила меня с не дававшей теперь покоя нелепой мыслью: ужели и это твой грех? Теперь Фил Брувер. Профессор Брувер… Что ж ты за прокаженный?!

Но я не дал этой новой депрессии завладеть собой. Что ни случись отныне, я должен помнить и не забывать никогда на свете ту единственную нашу ночь в горах. Она была, эта ночь, какой бы нереальной ни казалась потом в воспоминаниях. И ради этих воспоминаний я должен продолжать. В этом — жизнь. В конце концов, Стенли был прав. Мы должны выдержать. Мы должны выжить.

9

В конце ноября Фила Брувера выписали из больницы. Бен вез его домой, Мелани он посадил на заднее сиденье. Старик был хрупок и бледен, на ладан дышал, хотя ничто не поколебало неистребимый его дух. Даже болезнь.

— Я решил пока не умирать, — заявил он. — Подумал, что просто не готов вот так, сию минуту, и будьте любезны. Решительно не готов! Слишком много отвратительных привычек не исчерпано, ну и все такое… — С каким-то нарочитым мальчишеством, что ли, ораторствовал он. — То есть я хочу сказать: может быть, я испустил свой дух, прошу прощения, совсем не в ту сторону, что нужно. Точнее, святой Петр, может, и не одобрил бы, если б я вот так, подобно ангелу во плоти реактивного истребителя, вдруг ворвался бы с этим вз-вз-з-з-з-в… во врата рая его… Ха-ха…

При всем беспокойстве о здоровье старого Брувера у Бена просто руки опустились при таком начале. А тут еще водопад — в полном смысле этого слова — людей, искавших его помощи, не иссякал. Разрешение на работу; просьбы о паспортах; проблемы с полицией или муниципальными

властями; женатые мужчины, отказывающиеся проживать в одних квартирах с цоци и желающие переехать с семьями в пригород; дети, обвиненные в поджоге и саботаже; женщины, в отчаянии от непрекращающихся облав в пригородах после того, как там был обнаружен склад оружия. Трогательная пожилая пара в опрятных воскресных костюмах: месяц назад их пятнадцатилетний сын был выслан на Роббен-Айленд, и вот теперь им сообщили — сердечный приступ, согласно заключению тюремной администрации; но как это может быть, твердили они, мальчик был абсолютно здоров. И им предписано забрать тело в Кейптауне до следующего четверга, в противном случае оно будет похоронено без них. Но у них просто нет таких денег, старик больной и без работы, и весь их доход — что зарабатывает жена как домашняя прислуга. Но как свести концы с концами на двадцать рандов в месяц, не говоря уж о таких расходах, как поездка в Кейптаун?

Большинство просителей он посылал к Стенли либо к Дэну Левинсону; в ряде сложных случаев обращался к Мелани. О ситуации с пожилой парой Бен также упомянул в разговоре по телефону с тестем. Последний тут же взялся за дело и устроил так, что тело было перевезено в Йоханнесбург

поездом за казенный счет. На этом, впрочем, дело и кончилось. Диагноз с «сердечным приступом» никто не пересматривал, да и пресса, если не считать газеты Мелани, тоже его замолчала.

В его подавленном состоянии это постоянное участие в вечных чужих проблемах единственно и спасало Бена, помогало ему держаться. Пока люди шли к нему за помощью, оставалось по крайней мере хоть что-то, чем он мог жить, пусть даже все это, на периферии сознания, и не было главным — тем, что ни на минуту не отпускало. Истовые поиски новых доказательств, пролив-ших бы свет на смерть Гордона и Джонатана. Сведения, собранные за эти месяцы, оказались менее драматичными, нежели некоторые уже выявленные до этого подробности. Тем не менее он мало-помалу пополнял свое досье. А с учетом того, что слишком на многое и не приходилось рассчитывать, в этом его медленном, но все-таки движении вперед был какой-то смысл. Бен не оставлял надежд, что полицейский которого нашла тогда Эмили, Джонсон Сероки, не навсегда потерян, а по его глубокому убеждению, у него-то и был ключ к последней неразгаданной тайне, которая поставит все на свои места. А пока ему оставалось довольствоваться любой мелочью,

отмечая в уме хоть что-то относящееся к делу, только бы оно пусть медленно, но продвигалось. Уповать на будущее — тут ничего не стоило лишиться остатков мужества. Но если оглянуться назад, ведь столько сделано. Он уповал на себя.

А затем, это было в первую неделю декабря, случилось непредвиденное, едва ли не провал. Газеты сообщили, что Дэн Левинсон бежал. Перешел границу с Ботсваной (с риском для жизни, ведь нет почти никаких шансов на подобную затею, утверждали газеты) и проследовал в Лондон, где ему было предоставлено политическое убежище. Там он дал, одно за другим, целую серию интервью для печати, объясняя, почему и как его положение в Южной Африке стало нетерпимым и как в этой связи создалась угроза его жизни. Он заявил, что вывез достаточно документального материала для книги, которая окончательно прольет свет на незаконный характер действий полиции. Его фотографии замелькали в газетах. Фото, сделанные в ночных клубах или на светских приемах, большей частью в обществе восходящих кинозвезд и супруг газетных магнатов. Он решительно и резко отверг сообщения из Южной Африки, будто прихватил с собой тысячи рандов наличности, переданные ему как адвокату на

условиях доверительной собственности, в том числе и депозиты своих черных клиентов. Тем не менее ряд лиц при встречах с Беном после того, как разразилась эта сенсация, жаловались на непомерные гонорары, которые якобы запрашивал с них этот адвокат, хотя Бен расплачивался с ним за консультации, о которых шла речь, из собственного кармана либо из средств, выделенных на это газетой, где работала Мелани.

Потеря такого количества свидетельских показаний и документов потрясла Бена. По счастью, он хранил почти все в копиях в своем тайнике в ящике для инструментов. Это единственно и смягчило удар. Тем не менее, когда Стенли принес ему эту новость, у Бена опустились руки.

— Боже мой, — выдавил он. — Как он мог так поступить с нами? Я доверял ему!

Стенли, похоже, ничего другого и не ожидал, только расхохотался.

— Ну-ну, приятель. Надо отдать ему должное, он нас вот как вокруг пальца обвел! Ого! Я так считаю, вот уж кто акула, так это он. Одно мне в голову не приходило, что он еще такой отличный артист: ведь как сыграл! Ей-богу. — Он с удовольствием снова развернул газету и принялся читать вслух слово за словом описание того, как

глухой ночью, в жесточайший шторм Д. Левинсон милю за милей ползком пробирался через минные поля в строго патрулируемой зоне, пока не пересек границу. — Вот это человек, скажу я вам. Столько миль отмахать, а? Такого теперь голыми руками не возьмешь. Ну что мы с вами перед ним? Мальчики в коротких штанишках. А нам что, ничего не светит? Может, тоже дадим драпу? А? Подцепим там парочку шикарных блондинок, — он изобразил в воздухе руками, что он имеет в виду, — и станем себе жить-поживать, добра наживать. Сказка! Как насчет этого, а?

— Не смешно, — бросил Бен.

Стенли какую-то минуту глядел на него посерьезневшими глазами. Затем произнес:

— Вы раскисли, друг мой. Вам теперь в самый раз хорошенькая… ну, как это? Вам stokvel нужна.

— Это что такое? — недоверчиво поинтересовался Бен, он не знал этого слова.

— Ну вот видите! Вы даже понятия не имеете, что это такое. В пятницу завалимся и устроим гигантскую… а, встряска! — вот как это по-вашему… завалимся аж до самого понедельника. — И, перехватив его непонимающий взгляд, добавил: — Ну вечеринку устроим, понимаете? Не выпивку там

какую-то, а такого сорта, когда танцы до упаду и когда любая штучка на выбор, передохнул, подкрепился и снова порядок. Слушайте, я вам обещаю: до вечера в воскресенье — если живы будем, там и окочуриться ничего не стоит, — вы не просохнете, зато почувствуете, словно родились заново. А вам только это и нужно.

Скорчив брезгливую гримасу, Бен спросил его:

— И это единственное, что вы можете предложить?

— Не в пример сильнее касторки помогает, приятель. Нечего морщиться. Вам это теперь в самый раз. Если уж человека от шутки с души воротит, значит, все! Крышка. — И хлопнул Бена по спине. — А я не желаю видеть ваши скорбные глаза, приятель. Нам еще жить и жить.

Бен вымученно улыбнулся.

— Ладно, Стенли, — ответил он. — Я-то никуда не денусь. — Вздохнул, помолчал и добавил: — Да и что еще мне остается?

Его зять Крис, муж Сюзетты, против собственного ожидания, но в силу влияния на него во «внутренних кругах» организовал Бену встречу с членом кабинета министров. Так что в один прекрасный декабрьский день тот направился в Преторию.

Обшитый панелями кабинет и все строго функционально. Письменный стол завален бумагами. В углу под картой Южно-Африканской Республики столик, на нем графин с водой и семейная Библия, все. Господин министр оказался расположенным к шуткам человеком, этакий веселый толстяк с бычьей шеей, плечами тяжеловеса, здоровенными ручищами. Волосы прилизаны, на носу очки в проволочной оправе, ну точь-в-точь как у мистера Пиквика, только с двойными линзами. Первые несколько минут болтали о всякой чепухе. Министр интересовался его работой, справился о семье, не преминул коснуться призвания, коего требует педагогическая деятельность, и надежд, которые возлагаются на молодое поколение. Похвалил в этой связи добрых парней, что исполняют свой долг в армии и полиции, защищая нацию от козней коммунистов, и в той же интонации своим поставленным голосом осведомился, чем может служить.

— Ибо полагаю, господин Дютуа, вас привело ко мне желание кое-что обсудить со мной?

И снова — в который уже раз? — Бен кратко изложил историю Гордона Нгубене до самого дня его смерти.

— У каждого есть полное демократическое

право на смерть, — изволил пошутить на это господин министр и заулыбался.

Бен молча разглядывал его.

— Вы вправду верите, что он покончил с собой? — только и нашелся он спросить.

— Обычный прием этих коммунистов уклониться от дознания.

— Господин министр, Гордон Нгубене был убит.

Коротко и четко Бен сформулировал все, что ему удалось установить в ходе своих расследований.

Теперь в холодном взгляде внимательно рассматривавших Бена глаз не было и тени недавнего добродушия.

— Господин Дютуа, полагаю, вы отдаете себе отчет в серьезности заявления, сделанного вами относительно людей, которые исполняют неблагодарную, но необходимую работу в чрезвычайно сложных обстоятельствах?

— Я знал Гордона Нгубене, — ответил он, сдерживая себя. — Обычный порядочный человек, у которого и в мыслях не было сделать кому-либо зло. И когда они убили его сына…

— Сын, насколько мне известно, был застрелен наряду с другими подстрекателями в одной из

ожесточенных схваток демонстрантов с полицией в Соуэто?

— Джонатан погиб в камере после двух месяцев заключения. У меня есть доказательства, что его видели в больнице в критическом состоянии именно накануне его смерти. И свидетели есть на этот счет.

— Вы абсолютно уверены, господин Дютуа, что не являетесь игрушкой в руках лиц, действующих с весьма сомнительными намерениями?

Бен оперся о подлокотники кресла, полагая, что больше говорить не о чем, остается встать и уйти.

— Означает ли это, что вы не желаете расследования этого дела?

— Скажите-ка, — спросил тут министр, — ведь это от вас исходила эта история, вокруг которой еще устроила шумиху английская печать? Я не ошибаюсь?

Он почувствовал, как кровь приливает к голове.

— Да, — ответил он сквозь зубы. — У меня не было выбора после того, как наши бурские газеты дали мне от ворот поворот.

— Могу себе представить. У них было предостаточно оснований. Похоже, они отдавали себе

отчет в том, какой ущерб будет нанесен националистической партии, если станут кричать об этом с каждой колокольни. Тем более люди, которые вряд ли отдают себе отчет в том, о чем пытаются рассуждать.

— Я думаю об интересах страны, а не партии националистов, — отрезал Бен.

— А что, вы действительно полагаете, господин Дютуа, будто это разные вещи?

Бен рывком подался вперед, но тут же постарался взять себя в руки. И все-таки голос у него дрожал.

— Господин министр, — произнес он, — вы отдаете себе отчет в том, что если я уйду отсюда с пустыми руками, то вы, именно вы кладете конец всяким попыткам официального расследования этого дела?

— О, я не отпущу вас с пустыми руками, — сказал министр, улыбаясь щедрой улыбкой. — Я попрошу полицию разобраться в этом деле и доложить мне.

10

26 декабря. Жалкое вчерашнее рождество. И тем более безутешное, ибо Мелани с отцом еще неделю назад уехали в Кейп. Полон дом родственников. Сидел, точно загнанный в угол. Даже Линда дуется на меня, ходит с заплаканными глазами: мы, видите ли, оторвали ее на все святки от ее Питера, а это ее последнее рождество, на следующий год они поженятся, так что мы эгоисты и думаем только о себе. Родители Сюзан заявились и вовсе за несколько дней. Утром ни свет ни заря, еще до завтрака, прибыли из Претории Сюзетта с Крисом в сопровождении Хэлен и Георга. Первый раз бог знает за сколько лет вся семья собралась вместе.

А я не мог, как ни старался, смотреть весело. Хотел было облачиться в свой траченный молью наряд деда-мороза, чтобы позабавить внука, и уже вынул из шкафа все облачение, но Сюзетта и слушать об этом не пожелала.

— Боже, па! Да откуда у тебя эти ветхозаветные представления? Ведь мы же современные люди. Хенни прекрасно знает, что все эти басни про деда-мороза — сплошной вздор. Мы против того,

чтобы воспитывать детей на лжи.

Ради рождества долой все заботы, это семейный праздник. И я без устали наблюдал, что же это такое, моя семья со всеми ее заботами. Хэлен, затянутая в корсет и до ужаса похожая на манекен: волосы выкрасила, платье явно не по возрасту, зато от какого-то француза с непроизносимой фамилией, — принимает едва не раболепные взгляды Сюзан, внимающей рассказам о том, как много теряет в жизни жена бедного школьного учителя. Сюзетта вконец испилила Линду, та еще дуется на нее из-за Питера — хоть бы мужчина был, а то так, ни то ни ее, и его еще, пожалуйста, извольте величать ваше преподобие. Георг, с вечной сигарой во рту, буквально изводит Криса своим самомнением. Тот уж не знает, куда деваться от этого вечного «мне лучше знать». Сюзан, вся как струна, ни минуты без нервов, поедом ест Йоханна, от того, видите ли, никакой помощи, а он терпеть этого не может: пойди, принеси. Тесть завидует молодежи, Георгу и Крису, как им все легко дается, а он вот всю жизнь боролся и пострадал даже за националистическую партию, а это только для красного словца говорится, что долг платежом красен, безвестностью ему заплатил фатерланд. Зато все они вместе против меня за

«предательство» семьи, и выражается это самым непостижимым образом. Меня делают теперь козлом отпущения — каждый за все свои обиды.

Ну как бы там ни было, мы наконец собрались за столом (чтобы уместиться всем, пришлось к нашему обеденному столу приставить еще и столик с веранды, а он чуть ниже оказался), в тесноте, но не в обиде мы сели, буквально чувствуя локоть друг друга и не зная, куда поставить тарелку. А надо было ведь найти место и для индейки, над которой Сюзан колдовала, и для бараньей ножки, и для украшения стола — желтого риса с изюмом, горошка, батата с корицей, печеных фруктов, лимских бобов и салатов — взносов на общий стол Луизы и Сюзетты (авокадо, морковь, спаржа, огурцы — заливное в желатине, точь-в-точь похоронный венец, прости меня, господи). В дополнение же еще нужно было найти место для букетов в стиле икебана; и для канделябров, этих бронзовых ангелочков, кружащих свой хоровод под звон хрустальных подвесок; и для пестрого набора рюмочек, рюмок, бокалов. (Сюзан: «Бен все кормит нас обещаниями купить приличную посуду. Но что такое Бен, сами знаете»; Хелен, сладким голоском: «А Джорджи, когда последний раз был за границей, привез из Стокгольма

совершенно изумительные хрустальные бокалы, целый комплект. Ну конечно, везде нужны связи».)

— Папа, ты благословишь нас?

Головы склонились в кротком молчании, пока тесть читал молитву перед едой. А он никак не мог остановиться: не достигнув высот в политике, он в качестве единственной компенсации взял себе за правило испытывать терпение всемогущего, пеняя ему на несправедливость рода людского.

А тут еще посреди молитвы, улизнув от своей черной няни — они гуляли там, во дворике, — в гостиную влетела крошка Хенни и во весь голос прервала его красноречивое благолепие самым прозаическим вопросом; где здесь делают помаленькому? Наступило неловкое молчание, но тесть, покашляв, тут же, как превосходно воспитанный человек, нашелся и продолжил, благословив наконец хлеб наш насущный, ибо перехватил взгляд накалявшейся по этому поводу Сюзан. С формальностями было покончено, мы переломили по обычаю хлебцы, надели на головы рождественские колпаки — мужчины, чепчики — женщины. Наполнили себе тарелки, и Георг провозгласил красивый тост.

Чувство принужденности рассеивалось, и, по мере того как все сидели в этой изнуряющей летней жаре, праздновали рождество и, покрываясь потом, жевали, решительно накладывая на тарелки полной мерой все, что дано было днесь, снисходило великодушие. Мы с Сюзан единственные не черпали из этого рога изобилия: у нее не было настроения, у меня — аппетита.

Как раз переменили тарелки и подали каждому невероятных размеров порцию доброго рождественского пудинга, готовить который теща принялась еще за месяц с лишним до рождества, когда в парадную дверь постучали, просто забарабанили.

Йоханн открыл.

И тут вдруг в комнату ворвался Стенли, этакая черная махина в белом костюме и белых туфлях, коричневой рубашке, ярко-красном галстуке и с таким же платочком, парадно торчащим из кармана пиджака. Постоял, покачиваясь, ища меня глазами. Я сразу понял, что он нагрузился, пожалуй, больше обычного.

Нашел меня и проревел:

— Lanie. — При этом он неловко задел букет на краю стола, и цветы полетели на пол, а он, широко улыбаясь, с этакой американской бесце-

ремонностью, подхваченной из какого-нибудь кинобоевика, приветствовал присутствующих развязным: — Привет, люди! Здорово!

За столом воцарилась мертвая тишина, все как сидели, так и застыли, не донеся ложки до рта.

Я как в дурном сне поднялся и, не чувствуя под собой ног, двинулся к нему по мягкому, ворсистому ковру, купленному Сюзан к празднику рождества. Глаза присутствующих следили за мной.

— Стенли! Что вы здесь делаете?

— Так ведь рождество, разве нет? Пришел отметить. Примите поздравления с рождеством Христовым. Общий привет. — Он широко развел руками, показывая, что обнимает всех нас.

— Вы хотите видеть меня по какому-нибудь делу, Стенли? — Я понизил голос, так чтобы нас по возможности не слышали, — Может быть, пройдем ко мне в кабинет?

— Нужен мне ваш кабинет! — Он выругался.

Я растерянно оглянулся и обратился к нему:

— Ну, если вы предпочитаете здесь, садитесь…

— Вот именно. — Он, пошатываясь, пошел к креслу и тяжело опустился в него, тут же вскочил, потрепал меня по плечу. — Представьте мне счастливую семейку! Это кто же будет?

— Вы слишком много выпили, Стенли.

— Еще бы. А почему и не выпить? Праздник ведь доброй воли. Самое время, а? Мир на земле, в человецех благоволение.

Из-за стола поднялась мрачная фигура тестя.

— Кто этот кафр? — прозвучало в гробовой тишине.

Затем последовал смешок Стенли. Тесть, побагровев, двинулся к нам, и я сейчас же встал между ними, чтобы не случилось самое страшное.

— Почему бы вам и вправду не объяснить этому буру, кто этот кафр? — сказал Стенли и вытер глаза: он расхохотался до слез.

— Бен! — В голосе тестя звучал металл.

— Да объясните ему, что мы старые друзья. А, белый? — И Стенли снова заграбастал меня в объятия, навалившись всей тушей, я еле на ногах удержался. — Или я не прав?

— Конечно, друзья, Стенли, — сказал я примирительно. — Папа, мы потом обсудим это. Я все объясню.

Ничего не отвечая, тесть повернулся и вышел из комнаты.

— Мать, собирайся, — сказал он. — Похоже, нас больше не желают здесь видеть.

Ад кромешный, что тут началось. Сюзан ки-

нулась удерживать отца. На нее набросилась с упреками Хелен. Георг пытался урезонить жену, но тщетно. На него буквально обрушилась Сюзетта; Йоханн встал на сторону сестры. Линда ударилась в слезы и, всхлипывая, выбежала из комнаты. Хлопнула входная дверь.

И тотчас комната оказалась пустой, ни единой живой души. И только ангелы на подсвечниках кружили свой хоровод. На тарелках оставались куски знаменитого тещиного рождественского пудинга. А посредине ковра стоял, пьяно покачиваясь, Стенли, не в силах удержаться от хохота, который теперь буквально сотрясал его, точно назло мне.

— О черт, приятель, — он просто стонал от хохота, — ты хоть раз видел в своей… — он снова выругался, — …жизни, чтобы вот так кидались врассыпную?

— Может, вам это и кажется смешным, Стенли. Мне нет. Вы хоть понимаете, что вы натворили?

— Я?! А что? Просто пришел поздравить, я же сказал. — И он снова разразился хохотом.

Из соседней комнаты доносились всхлипывания тещи и голос ее супруга, сначала успокаивающий, затем все более на высоких тонах.

— Ну? — произнес тут Стенли, похоже и сам

отрезвев, на минуту хотя бы. — Как бы там ни было, счастливого рождества! — И протянул мне руку.

У меня не было никакого желания отвечать ему пожатием, но я сделал это, чтобы ублажить его.

— Кто это все-таки, этот толстобрюхий старый… — он выругался, — в черном фраке? Все повадки владельца похоронного бюро…

— Мой тесть… — И я прибавил со значением: — Член парламента.

— Вы шутите?!

Я покачал головой. Тут он и вовсе зашелся от хохота.

— Ого, да у вас связи что надо. И такую компанию вам распугал. Слушай, извини, старик. — Впрочем, он отнюдь не выглядел раскаивающимся.

— Есть хотите? — спросил я его.

— А что, наскребете чего и мне?

Тут уж я взорвался:

— Знаете, Стенли, всему есть предел. Вот вам стол, из-за которого вы выгнали людей, садитесь и давайте — или выкладывайте, зачем пришли, или катитесь ко всем чертям.

— Правильно. По всем правилам. Знай, кафр, свое место! Так?

— Что с вами сегодня? Может, вы мне объясните наконец?

— Да не валяйте вы дурака, приятель. Будто сами не знаете.

— Вы что, явились сюда орать на меня или действительно что-то сообщить мне? — не выдержал я.

— С чего это вы взяли, будто я должен вам что-то сообщать?

И хотя я понимал, как это нелепо, ведь Стенли был вдвое сильнее меня, я схватил его за плечи и тряхнул изо всех сил.

— Скажите вы наконец, зачем пожаловали? — прокричал я. — И что с вами происходит, хоть это я могу знать?

Стенли отстранил меня резко, так что я покачнулся, а сам остался стоять на нашем рождественском новом ковре как ни в чем не бывало. Будто и не был пьян.

— Вы ведете себя просто неприлично, — выпалил я ему. — Вместо того чтобы в такой день побыть с Эмили, вы вламываетесь сюда и доставляете неприятности людям… Вам не кажется, что лучше было бы побыть сегодня с ней, с Эмили, и…

И тут он перестал качаться и вообще корчить

из себя пьяного, взглянул на меня налитыми кровью глазами и тяжело-тяжело вздохнул.

— С Эмили? — усмехнулся, посерьезнел. — Зачем вы так?

— Ради бога, Стенли, что все это значит, эти недомолвки? — взмолился я, вконец сбитый с толку. — Единственное, что я имел в виду…

— Нет ее, никакой Эмили, — сказал Стенли. — Мертвая она, Эмили.

Ангелочки вели свой бронзовый хоровод, позванивая хрустальными подвесками. Только это и улавливал мой слух. Его же слова я не воспринял, как не слышал вообще ничего, что творится в доме.

— Что вы сказали?

— Да вы оглохли, что ли? Орать мне, что ли?

— Не понимаю. Бога ради, Стенли, что вы такое несете? Повторите.

— Да нет уж. Празднуйте свое торжество-рождество. — И он запел, возопил на манер ярмарочного Санта-Клауса: — «Хоть и небо твой чертог…» — Но тут же умолк, точно вспомнил, где он и зачем. — Вы что же, и о Роберте ничего не слышали?

— О каком еще Роберте?

— Да о сыне ее. Ну, что сбежал тогда, после смерти Гордона.

— А с ним что?

— Подстрелили. Вместе еще с двумя его приятелями, когда переходили границу. Вчера еще. С оружием переходили. Кинулись очертя голову, вот и нарвались на армейский патруль. Подстрелили.

— А потом? — Я все еще пребывал в оцепенении.

— Сегодня утром, как узнал, пошел к Эмили рассказать, куда денешься. Она так спокойно все приняла. Ни суеты, ни слезинки — ничего такого. Выслушала и велела мне идти. Откуда мне было знать? По ней ничего незаметно было. А потом она и… — И у него перехватило голос.

— Да что потом, Стенли? Не плачьте вы. О господи боже, Стенли, да прошу же вас, успокойтесь.

— На станцию она пошла. На вокзал Орландо, вот что потом. Пешком. Говорят, с час там сидела. Поезда ведь почти не ходят. Рождество ведь. Ну, дождалась все-таки и кинулась под колеса. И конец, в один миг.

У него дернулись губы, и я подумал, что вот он опять разразится своим дурацким хохотом, но он зарыдал. Я едва стоял на ногах, а он навалился на меня всей своей тяжестью и сотрясался от рыданий.

Так я и стоял посреди гостиной, обхватив его руками, когда родители Сюзан с чемоданами проследовали по коридору к двери. Сюзан за ними. Я видел в окно гостиной, как они тащили чемоданы к своему автомобилю у калитки.

Вечером она сказала:

— Я тебя уже спрашивала, но повторю: ты отдаешь себе отчет в своих поступках? В какую историю теперь влип, ты понимаешь?

Я отвечал:

— Я одно знаю: теперь уже поздно раздумывать. Идти, так до конца. Если я потеряю веру в справедливость, я сойду с ума.

— А скольких людей ты свел с ума, тебя, похоже, не касается?

— Прошу тебя, постарайся… — Я не находил слов. — Я знаю, Сюзан, как ты расстроена. Но постарайся только понять. И не надо преувеличивать.

— Преувеличивать? Это после всего, что было сегодня?

— Стенли сам не знал, что делает. Эмили скончалась. Можешь ты понять человека?

Она тяжело вздохнула и долго сидела молча, легкими движениями массируя кожу щек, осторожными шлепками втирая крем.

— А сколько других людей умирает каждый день, — произнесла она наконец, — почему это тебя не касается?

Я смотрел на ее отражение в зеркале и не знал, что ответить.

— Не понимаю, я-то тут при чем?

— Ты ни при чем, я не в этом смысле. Просто ничего не изменится, как бы ты ни старался. Ничего ты не добьешься, ровным счетом ничего. Когда ты это поймешь?

— Никогда.

— И какой ценой это дается, тебе тоже безразлично?

Я устало закрыл глаза. Когда только кончится эта мука мученическая.

— Поздно об этом думать, Сюзан.

— И тем не менее придется, — отчеканивая каждое слово, сказала она. — Ты утратил равновесие и чувство реальности. Ты больше на свете ничего не видишь.

Я только покачал головой.

— А сказать, почему? — отрывисто бросила она.

Я молчал.

— Потому что, кроме Бена Дютуа, для тебя ничегошеньки на свете не существует. При чем здесь

эти Гордоны, эти Джонатаны, ну кто там еще? Да кто угодно. Решимости не хватает признаться, что проиграл, вот и все. Затеял сражение, а теперь просто гордость не позволяет признать себя побежденным, хотя сам давно перестал понимать, с кем воюешь? Так?

— Тебе этого не понять, Сюзан.

— Прекрасно знаю, что мне не понять. И будь я проклята, если вообще стану отныне вникать во все это. Единственное, что меня теперь интересует, — увериться, что я не должна больше влачить это жалкое существование.

— Что ты имеешь в виду?

— Больше я ничем не могу тебе помочь, Бен. Видит бог, я старалась сберечь семью. Но теперь я вынуждена подумать о себе. Сохранить остатки чувства собственного достоинства, которое ты вконец утратил сегодня.

— Ты что же, собираешься уйти?

— Какое это имеет значение, уйду я или останусь, — сказала она. — Надо уйти — уйду. Если буду убеждена, что оставаться бессмысленно. Пока не знаю. Но то, что между нами было, утрачено навсегда. И я хочу, чтобы ты это знал.

И белая застывшая маска в зеркале. А ведь было, было же время, годы назад, когда мы любили

друг друга. Теперь мне не дано даже тосковать по утраченному, ибо даже память ровно ничего не подсказывала.

11

Кончались каникулы. Начало школьных занятий, похоже, предвещало новое развитие событий. Новую войну анонимных телефонных звонков, очередной налет каких-нибудь вандалов на его автомобиль, лозунги, намалеванные по всему фасаду его дома, непристойные надписи на классной доске, а по ночам крадущиеся шаги под окнами. Пока он не пришел к мысли завести сторожевую собаку. Впрочем, ее через полмесяца отравили. Состояние здоровья Сюзан внушало самые серьезные опасения, о чем после очередного приступа нервной депрессии врач, вызвавший Бена для разговора, счел нужным его откровенно предупредить. И даже если не случалось ничего особенного, все равно не отпускало гнетущее чувство, что некие невидимые и неведомые силы следят за каждым его шагом. Впервые в жизни он на собственном опыте узнал, что такое бессонница, лежание часами без сна, когда пустые глаза уставлены в темноту, а в голову лезут тревожные, мучительные мысли. Когда ему будет нанесен очередной удар и какой именно, как это будет сделано на этот раз?

По утрам он поднимался вконец опустошенный и возвращался домой из школы опустошенный, опустошенный ложился, зная, что не сомкнет глаз. Школа вносила меру благотворной дисциплины в его жизнь, теперь же становилось все труднее держать себя в норме. Порой бывали такие дни, почти невыносимые физически, когда он в тревоге, постоянном раздражении чувствовал, что перестает контролировать собственные поступки. Открытое недоброжелательство коллег. Молчаливый антагонизм Коса Клуте. Плоские остроты Карелсе. Тяжелее открытого презрения остальных была порой восторженная преданность молодого Вивирса, особенно велеречивая манера ее выражать.

Оставался Стенли, появлявшийся и исчезавший, когда ему заблагорассудится. Как тому это удавалось — оставаться все-таки невидимым и неслышимым, — было выше его понимания. По всем законам логики, Стенли должны были схватить и заставить замолчать еще полгода назад. Однако же он — и Бен вынужден был это признать — был просто божьей милостью мастер на этот счет, и вот он оставался, и жил, и сидел за рулем своего такси, этого громадного «доджа». Что там жена и дети, ближе родни не было, и

колесил с ним Бен по всей округе, и волоска не упало с головы Бена рядом с этим могучим хранителем. Рождество так и осталось единственным днем, когда этот человек потерял над собой контроль. Никогда больше. И если не считать тех редких случаев, когда он врывался в жизнь Бена, возникая вдруг из ночи и тут же исчезая в ней, вся остальная его жизнь как была, так и осталась полной загадкой. И лишнее было даже пытаться искать на нее ответ.

Время от времени он отправлялся в одно из своих вечных путешествий в Ботсвану либо Свазиленд. Ясное дело, контрабанда (но что? Наркотики, валюта, оружие, а может, и люди?).

В последнюю неделю января Фила Брувера выписали из больницы. Приступов после того, единственного, больше не было, однако общее состояние настолько ухудшилось, что врачи сочли необходимым рекомендовать постоянное наблюдение. Мелани пришлось, бросив все, прилететь из Кейпа. За те несколько посещений, что Бен с ней вместе видели старика, он раз от разу сдавал, и это было тягостное зрелище, как он ни старался показать, что дух его неукротим.

— Никогда не боялась умереть, — сказала она Бену. — Все, что ни написано мне на роду, приму

безропотно. Столько смертей насмотрелась, что вполне спокойно все могу воспринять. — Она поглядела на него своими огромными карими глазами. — Но его боюсь потерять.

— Вы раньше никогда не говорили, что боитесь одиночества.

Она задумчиво покачала головой:

— Не в этом дело. Узы. В полном смысле слова. Идея продолжения рода. Осознание незыблемой прочности. То есть может меняться все вокруг, одно неизменно, сколько вы себя помните. Как река, что всегда впадает в море, и в вас сознание уверенности, вера, что ли, не знаю, как это выразить, что так и будет во веки веков. Знаете, порой мне кажется, именно поэтому я так до неистовства хотела иметь ребенка. Ну, чтобы ничего не кончалось. — Они тут же засмеялись, принужденным таким смехом, — стараясь обратить все в шутку. — Видите ли, каждый ищет собственную зацепку, лишь бы остаться в вечности? Верят же в деда-мороза.

12 февраля. Теперь еще Сюзан. Последние несколько дней она явно не в себе. Думал, просто очередной приступ депрессии, хотя она принимает успокаивающие средства. Теперь и вовсе в непомерных дозах. Однако на этот раз все ока-

залось куда сложнее и хуже. Южноафриканская радиовещательная корпорация аннулировала контракт с ней. Выдвинули в качестве доводов что-то о необходимости влить «свежую кровь», как всегда, «бюджет поджимает» и т. д. Однако продюсер, с которым она всегда работала, выложил ей за чашкой чая всю правду. Она — моя жена, и они не хотят лишних осложнений. Никто не знает, с каким еще скандалом может быть вдруг связано мое имя. Откуда ветер дует, он понятия не имеет, его начальство просто сказало ему, что у них есть «информация».

Вчера вечером это и случилось. Я вошел в спальню, а она сидит и ждет меня. После того злополучного рождества она перебралась в спальню девочек, а тут вдруг вхожу и вижу: она в ночной сорочке, не в халате даже, сидит у меня на постели. Сидит и вымученно улыбается, а у самой лицо дергается.

— Ты еще не спишь? — спросил я зачем-то.

— Тебя жду.

— Знаешь, я еще должен поработать.

— Неважно.

Господи, сколько тривиальных, пустых фраз мы произносим.

— А мне показалось, ты сегодня в театр собира-

ешься, — сказал я.

— Нет, раздумала. Нет настроения.

— Тебе полезно развлечься.

— Я очень устала.

— Последнее время это твое обычное состояние.

— Тебя это удивляет?

Раздраженно:

— Я во всем виноват, это ты хочешь сказать?

Она не искала ссоры, это видно было по испугу, мелькнувшему у нее на лице.

— Извини, Бен. Пожалуйста. Я пришла не упрекать тебя. Просто так дальше не может продолжаться.

— Да. Так или иначе, а скоро это кончится, уверен. Это всякому ясно.

— Я только одно и слышу от тебя. Откуда эта уверенность? Чем кончится? Неужели ты не видишь, что день ото дня становится только хуже? Хуже и хуже.

— Нет.

Тогда она рассказала мне эту историю с радиовещательной корпорацией.

— Ведь это единственное, чем я еще держалась, Бен. — Она заплакала, хотя я видел, что она крепилась изо всех сил. Я стоял, смотрел на нее и не

знал, что делать, просто руки опустились. Когда такого рода вещи происходят исподволь — ведь жизнь есть жизнь, — не замечаешь перемен. А вчера, сам не знаю зачем, я стал разглядывать нашу с ней свадебную фотографию над туалетным столиком. Эта лучезарно улыбающаяся, полная достоинства, сильная, налитая здоровьем девушка с золотыми волосами и эта усталая пожилая женщина в ночной сорочке с кокетливыми кружевами не по возрасту, оставляющей зачем-то открытыми руки с дряблой уже на плечах кожей и морщинистую шею, с сединой в волосах, что не скроешь уже никакими ухищрениями, лицом, некрасиво перекошенным в плаче, — одна и та же женщина? Моя жена? И моя вина?

Я присел рядом, обнял. Пусть выплачется. Она даже не прикрыла грудь. Это она-то, в молодости такая целомудренная, стыдливая во всем, что касалось наготы тогда такого прекрасного юного тела. И я отвел глаза. Теперь, с возрастом, ее не заботили мои взгляды. Безразличие? Отчаяние?

И как это объяснить, отчего даже в страдании, даже в совершенном отчаянии в человеке способно просыпаться желание? Или так я пытался отомстить ей? Не знаю только за что. Может, за все эти годы безразличия ко мне, за редкие

минуты ее страсти, да и те лишь для того, чтобы потом отвергать меня почти с такой же страстью. Грех, неприлично, порочно. Всегда в делах, вечно занята, все на бегу, что-то не сделано, жадная до успеха. И все, чтобы отвергнуть, с неистовством каким-то, саму мысль о нашей близости. И вот теперь, кто бы мог подумать, она сама потянулась ко мне, открыто и откровенно предлагая себя. И я не отверг ее, и это не доставило нам радости, только муку. Она сама приучила меня к стыдливости, и потому я отвернулся, и мы долго лежали молча. Долго-долго.

А когда она заговорила, в ее голосе не было и следа нашей близости.

— Этим делу не поможешь, правда?

— Извини. Сам не понимаю, что на меня сегодня нашло.

— Я не о сегодня. Я вообще, как мы жили эти годы.

Я промолчал, о чем теперь спорить.

— Может, мы никогда и не старались иначе. Может, я никогда не понимала тебя по-настоящему, но ведь и ты тоже, разве нет?

— Сюзан, у нас с тобой трое детей. Мы всегда прекрасно ладили. И ведь все обходилось.

— Это и есть самое страшное. Когда можешь

прекрасно обходиться в аду.

— Ты просто измучилась и видишь все в искаженном свете.

— Мне кажется, я впервые в жизни вижу все в правильном свете.

— Что ты надумала?

Я повернулся к ней лицом. Она сидела прямо, зябко кутаясь, несмотря на духоту ночи, в простыню.

— Хочу на время уехать к родителям. Просто чтобы прийти в себя. И дать тебе шанс. Чтобы мы могли все трезво взвесить. Мы так запутались, нам нужно отдохнуть друг от друга. Не вижу другого выхода.

Что мне оставалось? Я кивнул.

— Ну что ж.

— Так ты согласен? — Она поднялась.

— Делай как знаешь.

— Но ты-то как считаешь? Ехать мне или нет?

— Да. Подышишь свежим воздухом. И дашь нам обоим шанс.

Она была у двери. И уже взявшись за ручку, обернулась.

— И ты даже не пытаешься удержать меня, — сказала она со страстью в голосе, с которой не могла соперничать вся известная мне в самые

лучшие наши минуты та, другая ее страсть. Та была жалкая подделка, не больше.

И еще. Самое страшное — мне нечего было ей ответить. Нечего. Впервые я понял, какая она мне чужая. И если мне была чужой она, женщина, с которой я столько прожил, совсем чужой, как мог я брать на себя смелость даже подумать, будто могу понять хоть что-нибудь еще на свете?

25 февраля. Я почти совсем забросил свой дневник. Да и что там, мне нечего сказать. Сегодня тому ровно год. А такое чувство, точно это было вчера, когда я стоял в кухне вечером и ел сардины прямо из банки. Некто Гордон Нгубене, осужденный на основании Закона о терроризме, сегодня утром был обнаружен мертвым в своей камере. Согласно заявлению представителя службы безопасности… И так далее.

И чего я добился за год? Складываем все вместе, и бог знает, как это получаем — нуль. А ведь я старался, упорно и настойчиво. Пытался убеждать себя, что мы движемся вперед. Ужели все это одни иллюзии? Ну хоть что-то я узнал, в чем-то уверился? В минуты слабости — и такие бывают — я страшусь самой мысли, что Сюзан, возможно, права. Я теряю разум.

Безумный. Я или этот мир? Кто из нас? И с чего

же пошло тогда безумие вселенское, где ему начало? И если это безумие, отчего оно дозволено? Кем?

Вот уже два дня прошло, как был Стенли: Джонсон Сероки убит неизвестными лицами, этот парень из СБ, единственная моя надежда. И его нет. Поздно ночью, если верить Стенли. Стук в дверь. Открывает. Пять выстрелов в упор. В лицо, грудь, живот. Вчера на первых полосах нескольких газет интервью с полицейским офицером: «Вся болтовня разных там крикунов о смерти лиц, находившихся под арестом, просто меркнет перед самим фактом, когда при исполнении служебных обязанностей гибнет сотрудник службы безопасности. Жизнь этого черного человека, отдавшего себя на алтарь блага и безопасности нашей нации перед лицом разгула бессмысленного террора, да послужит примером и заставит задуматься всех тех, кто не находит слова доброго для полиции и ее непрестанной борьбы ради покоя и процветания фатерланда…»

Но я знаю, почему мертв Джонсон Сероки. Не надо обладать особым воображением.

Или, может быть, это еще один симптом моего безумия? И я в состоянии лишь плохо думать о моих врагах? Что самым чудовищным образом

упрощаю всю сложность ситуации, попросту обращая всех тех, кто «по ту сторону», в преступников, о которых могу думать лишь дурно? Что возвожу в факты пустые подозрения, дабы выставить их в самом ужасном свете? Если так, если это правда, я не лучше их во всех отношениях. Достойные соперники!

Но если я перестану верить в собственную правоту, если утрачу веру в это властное «не сдавайся!», — что будет со мной?

12

7 марта. Начало, конец, убеждение, что назад пути нет: что это было? Несомненно, решающее. Отгородиться окончательно от всего, что случилось, и бог с ним, либо врасти в него корнями? Хожу вокруг да около, не в состоянии нанести это на бумагу, и в отчаянии, что не могу. Напуган, что это кончится? За себя самого боюсь?

Увы, отныне этого не избежать. Иначе я никогда, я никогда не смогу решиться.

Суббота 4 марта.

Полнейшее одиночество. Ни слуху, ни духу о Стенли. С тех пор как принес эту новость про Джонсона Сероки, точно в воду канул. Умом понимаю, что теперь он должен быть, как никогда, осторожен, и все-таки. Ни слова от Сюзан. Йоханн уехал с друзьями за город. Такая жизнь, что установилась в доме, не для молодого парня, я понимаю. (А как меня все-таки тронуло, когда он сказал: «Слушай, па, ты вправду здесь справишься один? А то если нужно что помочь, так я не поеду».) Больше недели уже не навещал Фила Брувера, тот еще в больнице. Мелани вся в ра-

боте. Когда человек слишком долго пребывает в вынужденном одиночестве, это опасно. Тут один шаг до мазохизма, самоистязания.

Но куда идти, к кому податься? Кто еще не отвернулся от меня? Молодой Вивирс? Этот общительный Карелсе? Пока и им тоже не придется расплачиваться. Думаю, что от меня не отвернулся бы преподобный Бестер. Но воротит от одной мысли обсуждать с ним то, что у меня на душе. Да и что там моя душа. Самому надоело в ней копаться.

Пытался работать. Заставил себя снова просмотреть все свои записи, целый пасьянс разложил. А ну как не выпадет? Собрал все и снова свалил в ящик для инструментов. Карты в колоду.

…Старый дом с полукруглой верандой стоял темный и пустой. Обошел его вокруг. На веранде у черного хода блюдечки для кошек. Шторы не задернуты, но везде темно. Где ее комната? Точно это имело значение. Просто хотелось знать в утешение. Мальчишество какое-то. Вот почему стареющим мужчинам, если они не хотят выглядеть смешными, следует избегать увлечений.

Долго сидел на ступеньках у парадной двери, курил. Ни-че-го. Ровным счетом ничего. Почти с облегчением вздохнул, когда заставил себя

подняться и пошел к калитке. Чувствовал себя «спасенным». Боже милостивый, от чего? Судьба пуще смерти? Бен Дютуа, вам следует обдумать свои поступки.

Однако же стало покойней. Отказался от мысли ехать домой и снова оставаться наедине со своим одиночеством.

Но я еще не дошел до ворот (надо выбрать день и починить им ворота, совсем развалились), когда ее малолитражка скользнула в них и завернула на задний дворик. Истинно говорю, я почувствовал едва не огорчение. Ведь так легко было избежать всего этого. («Избежать», как я мог еще рассуждать о таких вещах? Хотя, ну что же, способен я был в ту минуту предвидеть, надеяться, если не предполагать, что может произойти? И как? Нет, конечно. Хотя, мне кажется, должно быть, есть все-таки некие неосознанные, неуловимые, что ли, предвидения.)

— Бен?! — Она глядела, как я поворачиваю из-за угла. — Это вы? Как вы меня напугали.

— Да вот, решил заглянуть. Уже собрался уезжать.

— Я ездила к папе в больницу.

— Как он?

— Без изменений.

Она открыла ключом дверь в кухню и решительным шагом пошла по темному коридору. Я за ней. Я еще наступил на кошку в этой тьме египетской. Мелани впереди, я — за ней. На ней было платье с чопорным высоким воротником — первое, что я увидел в слабом желтом свете, когда мы вошли в гостиную и она включила лампу.

— Я приготовлю кофе.

— Помочь?

— Нет. Садитесь, чувствуйте себя как дома.

Она вышла, и все в комнате сразу потеряло всякий смысл. Было слышно, как она звенела в кухне посудой, потом засвистел чайник. Она тут же и вернулась. Я взял у нее поднос. Мы пили кофе и молчали, ибо я чувствовал себя неловко. И ей тоже было неловко? Но ей-то почему? Я видел себя здесь посторонним человеком, прибывшим с официальным визитом.

Она допила кофе, включила проигрыватель, повернула ручку громкости.

— Еще кофе?

— Нет, благодарю вас.

Снова мурлыкали кошки. Музыка придала комнате более жилой вид, а полки с книгами защищали от окружающего нас мира.

— Когда папу выписывают, что-нибудь из-

вестно?

— Нет. Врачи, похоже, удовлетворены состоянием, но не хотят рисковать. А ему уже не терпится.

Я с облегчением ухватился за эту тему. Это давало возможность без слов говорить о самих себе и в то же время не говорить. О первом вечере в этой комнате. О той ночи в горах.

И опять какую-то минуту молчание.

— Я не отрываю вас от дел?

— Нет, — ответила она не сразу, — ничего срочного пока. В следующую пятницу еду. А пока ничего.

— Куда на этот раз?

— Кения. — Она улыбнулась. — Снова уповаю на свой британский паспорт.

— Не боитесь, что когда-нибудь попадетесь?

— Ну, как-нибудь и вывернусь.

— Слушайте, а это, должно быть, изматывает, вот так колесить вечно по белу свету, то одно, то другое, жизнь на колесах?

— Иногда изматывает. А только иначе ведь ноги протянешь.

Сам не знаю зачем сказал:

— По крайней мере вам хоть есть чем похвалиться, а я эти несколько месяцев почти

безрезультатно прожил.

— Это на каких же весах вы результаты взвешиваете? — У нее потемнели глаза, в словах ее был не упрек, сочувствие. — А я думаю, мы с вами похожи. Оба обладаем удивительной способностью не осмысливать, как другие, но непременно познавать все на собственном опыте. Ведь умом-то легче?

— Возможно. Только мне иногда кажется, что, если осмыслить все до конца, с ума сойдешь… Выходит, труднее.

Было уже поздно. Теплая ночь несла ароматы ранней осени. И теперь мы не торопились искать слова и не тяготились молчанием; неловкость ушла, она растворилась во времени, как вечер в ночи. Вернулась прежняя близость душ в этой уютной комнате, где, как и прежде, стоял чуть уловимый запах трубочного табака, который курил ее отец, и запах старых книг на полках, и кошек, и истертых ковров.

Должно быть, было уже за полночь, когда я нехотя поднялся и проговорил, что мне пора.

С едва уловимой иронией:

— Ну конечно, «обязанности»?

— Нет, я один, все домашние разъехались.

Почему я раньше не рассказал ей про Сюзан?

Ради самозащиты? Нет. Как бы там ни было, дальше скрытничать на этот счет не имело никакого смысла. Я и рассказал ей все. Она не произнесла ни слова, выслушала молча, и только глаза ее смотрели на меня теперь как-то по-другому. Задумчиво, почти с печалью, она поднялась из кресла и посмотрела мне прямо в лицо. Туфли она сняла, еще когда по привычке усаживалась с ногами в кресло, и теперь стояла совсем маленькая, ни дать ни взять школьница-подросток, худенькая стройная девочка; но нет, это была и зрелая, рассудительная женщина, утратившая иллюзии. Зато исполненная глубокого чувства сострадания, которое едва ли знакомо юности и уж никак не свойственно ей. Ибо юность жестока.

— Так почему бы вам не остаться? — произнесла она. Я растерялся, стараясь проникнуть в смысл сказанного. И, словно угадав мои мысли, она спокойно добавила: — Я постелю вам в комнате для гостей. Чего вы поедете среди ночи.

— С удовольствием останусь. Знаете, совсем не улыбается торчать в пустых стенах…

— Ну вот видите, я ж говорю, как мы с вами похожи, обоих только и ждут что пустые стены.

Она показала мне, куда идти, и пошла, неслышно ступая, впереди. Я помог ей постелить мне

постель в пустой комнате, сам расстелил простыни на роскошной старой кровати резного дерева. И все это не обменявшись ни единым словом, в настороженном молчании.

Мы подняли глаза друг на друга, она по одну сторону этого резного чуда, я — по другую. Я еще поймал себя на том, что вместо улыбки у меня получилась какая-то вымученная гримаса.

— Ну, мне тоже пора на боковую, — сказала она и повернулась к двери.

— Мелани.

Она обернулась и молча ждала, что я скажу.

— Останьтесь.

Мне показалось было, что так оно и будет, что она скажет «да». У меня в горле пересохло. Я хотел протянуть руку к ней, но между нами была эта дурацкая постель. А она постояла и ответила:

— Нет. Зачем это? Нет.

Я понимал, что она права. Мы были так близко друг от друга. Все могло случиться. А что тогда? Что будет с нами? Как, к черту, нам справиться тогда с этим в нашем спятившем с ума мире?

Лучше как есть, пусть и безутешней. Нет, она не ступила мне навстречу, не обошла кровати, чтобы поцеловать меня, пожелать покойной ночи. Едва улыбнулась. Но эта улыбка выдавала

душевное страдание. И решительно пошла к двери. Мучило ли ее сомнение? Не ждала ли она, что вот я ее окликну? Я безрассудно желал этого. Но в том, что я осмелился сделать, я и так зашел слишком далеко. Больше я рисковать не мог.

Я не знал, куда она ушла. Она ступала неслышно. Время от времени где-то в огромном доме, погруженном в темноту, поскрипывали половицы, но, может, это дерево от старости, а не потому, что там была она. Я как был, так и остался стоять у кровати, приготовленной для меня, и не помню, как долго простоял так. Я разглядывал все, каждую мелочь в комнате, словно оценщик, для которого не было ничего важнее. Узоры на старомодных обоях. Тумбочку у кровати, заваленную как попало книгами. Книжный шкафчик у стены. Туалетный столик с большим овальным зеркалом. Огромный гардероб в викторианском стиле с грудой чемоданов на нем.

Потом я подошел к окну. Шторы были не закрыты, одна створка окна была отворена. Постоял, вглядываясь в сад. Когда глаза привыкли к темноте, разглядел траву и деревья. В темноте ночи еще плыли ароматы нагретой за день земли, и неподвижную ее тишину будили лишь сверчки и лягушки.

И меня поразило, каким безмятежно мирным, оказывается, может быть отчаяние. Ибо ведь ее отказ и то, как она отвернулась от меня, не оставляло сомнений, что на чем-то окончательно поставлен крест. Я тешил себя надеждами, пусть нелепыми и самонадеянными, и вот все это мягко и безмятежно спокойно закрывается, точно дверь перед носом захлопнули. Как просто.

А потом она пришла. Повернул голову и увидел ее так близко от себя, что мог дотронуться до нее. Она пришла. Я смотрел на нее и не верил глазам, уставился и смотрел в совершенном молчании. Она и сама была в явном замешательстве и не знала, наверное, как я восприму этот ее поступок. Но она стояла молча и не думала уходить. Не могла же она не знать, что я оказался вынужденным глядеть на нее, как в то самое зеркало, о котором она тогда говорила. Посмотрите на себя, на свою природу, нагую как есть, на лицо, на тело, что каждый день видите в зеркале. В том-то и дело, что смотрели, но не видели. Никогда по-настоящему не видели. А тут вдруг точно глаза открылись…

Все те мгновения, что были у нас, теперь слились в одно это мгновение. Делить по порядку и степени важности, что было, утратило смысл.

Мы были теперь вне времени, оно скользнуло и легло у наших ног, подобно никому не нужным одеждам.

Искренность ее тела. Оно захватило собой все, и, кроме него, ничего не было. Да что я, нелепо и пытаться выразить это словами, жалкие до обидного попытки. Но молчать — все равно что отречься.

Нет, не то. Что проку искать слова, если ими не передать и того, что доступно взгляду? Она же, по сути, сказала: вот, бери. Что большее способны мы даровать?

Вот что значат те ее слова, сказанные тогда еще, накануне всего: однажды в жизни, но только однажды, во что-то поверишь настолько, что всем на свете готов ради этого рисковать…

Мы не укрылись простыней. Она даже не сказала, чтобы я выключил свет. Нам не нужны были загадки. Новизна неизведанного, как рождение. Ибо рождаемся мы однажды. Я вдыхал аромат ее волос, уткнувшись в них лицом, и ловил их губами, и искал губами ее тепло, и она отдавала мне его прикосновениями, негу и сокровенное тепло своего дара. У каждого своя бездна, но вот мы с ней смешались на краю бездны, теперь одной для двоих, и вот оно открылось нам, чудо и таинство

плоти, когда ее голос звучал в ушах моих, а ее дыхание было у меня на груди, где сердце.

Но и это не то. Совсем не в том дело. Что я осознал, как теперь могу понять, — это что мне было дано чувствовать, и видеть, и ощущать, и слышать, и обонять, ибо таковы пять чувств, и только тогда человеку дано чувствовать. И это не все. Господи, да не в том же дело, чтобы разложить все по порядку в отчаянных попытках доискаться, что же произошло. В чем-то еще, в чем-то совсем другом. Мне хотелось, чтобы годы и годы вместились в одну эту ночь, я же стал бы тем, что она, и все пять чувств моих исполнились ее чувствами, и так раствориться в ней без остатка. И чтобы вырваться из этих чувств и погрузиться в темноту небытия, в ту любовь, когда бы наша страсть была единственно праздником торжества и знаком его.

И, утолив жажду, я почувствовал безмятежный покой. Я смотрел на нее, и она внушала покой и благоговение; я дотрагивался до нее — полно, она ли это? — и осторожно гладил ее, едва касаясь пальцами, и все равно не верил своим глазам, своим рукам. Сама мысль о том, чтобы закрыть глаза, когда можно вот так смотреть и смотреть на нее, казалась нелепой. Я не смыкал глаз и

хранил это видение, впитывая каждый миг этой короткой нежности, случайно и неправдоподобно дарованной нам.

Счастье? Это была одна из самых грустных ночей в моей жизни, ночь вечной печали, вот так незаметно вкравшейся в святая святых этого нового для меня мира и постепенно переросшей в боль и муку. Вот она спит рядом, и нет ближе мне человека на свете, открытая и доверчивая. Открыть для себя неизведанное; и вместе с тем в этом своем глубоком сне — дальше самой далекой звезды, недостижимая, навсегда чужая. Я знал ее глаза и то, что укрыто от глаз, спокойную и в порыве чувства, каждую клеточку ее легкого и нежного тела. И ничего все это, ровным счетом ничего не значило. И во сне, улыбаясь и всхлипывая или безмятежно дыша, она была так далеко от меня, точно никогда мы с ней вообще не встречались. Мне хотелось кричать. Но боль была оглушающей, такую не выплачешь слезами.

Так я лежал почти до рассвета, потом задремал. А когда проснулся, солнце уже поднялось и в саду стоял птичий гомон. На тумбочке у кровати зачем-то горела лампа, вялое и ненужное желтое пятно среди буйных красок утра. А разбудило меня движение ее руки: она доверчиво обняла

меня за плечо, совсем как я, чуть касаясь, пыталась удержать ее всю эту ночь, пока она спала в далеком от меня далеке. Спешить некуда, было воскресенье, и ничего от нас не требовалось, ни одной живой душе мы не были нужны, но единственно друг другу…

Ибо одно я знаю, но уж это безусловно — тогда еще знал в этом свете нашего ночника, так храбро пытавшегося устоять и не сдаться перед безжалостным ослепительным светом дня вокруг, — что мы любим друг друга, но ни один из нас не сможет спасти другого, этого не дано. И что за этим порывом друг к другу последует отмщение. Наши имена будут связаны, теперь же это будет связь в определенном смысле, и еще месяцы, а то и годы нам полной мерой отмерят всего, что общество имеет в виду, говоря об интрижке, о шокирующей и пагубной страсти. И до конца дней не избавят меня от печали, что никогда и не снилась.

Три недели спустя Сюзан вернулась из Кейптауна. Не прежняя Сюзан, нет, но все же заметно успокоившаяся; она приехала более собранная, с какой-то даже определенной решимостью еще раз попытаться сохранить что осталось.

Через два дня после ее приезда, в четверг трид-

цатого марта, Бен обнаружил, придя домой с работы, в почтовом ящике большой конверт. Плотная коричневая бумага. Адресовано Сюзан. Он захватил вместе с остальной почтой. В конверте оказалась фотография, просто фото, без всякого сопроводительного письма. Обычная глянцевая бумага восемь на десять. Не очень профессиональный снимок, слегка размыто изображение. Так бывает при недостаточном освещении. Задний план явно не в фокусе, пошел зерном, но просматривается даже рисунок на обоях, тумбочка у кровати и сама постель, в беспорядке, со сбившимися простынями. Мужчина и девушка, нагие, сняты в скандальной позе.

Сюзан, едва взглянув, собиралась уже с отвращением порвать ее, когда что-то заставило вдруг присмотреться. Девушка с черными длинными волосами, нет, она видит ее в первый раз. Но мужчина… Это был ее Бен. Бен Дютуа.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ[18]

[18] Примечания: 18

Так в печатном издании: первые три Части, четвёртая Глава. *(Прим. Verdi1)*

1

Он открыл калитку, на веранде стоял капитан Штольц. Все эти месяцы знал ведь, что они не оставят его в покое, что все равно придут, когда — вопрос времени. Тем более после истории с фотографией, полученной по почте. И тем не менее не то что Штольцу, любому с первого взгляда стало бы ясно, какое это произвело на него впечатление. Шок, вот что он испытал. Это было третьего апреля. Мелани как раз на следующий день должна была вернуться из Кении. Офицер был один. Одно это было уже многозначительно.

— Поговорим?

Не окажись Бен так растерян, он под любым предлогом предпочел бы уклониться от разговора и не пускать его на порог. А тут он машинально посторонился, давая пройти этому сухому и костистому человеку в его неизменной спортивной куртке. А может, он просто испытал бессознательное облегчение от того, что наконец он снова видит противника во плоти и крови, нечто осязаемое, имеющее вид, форму, с чем можно схватиться. На худой конец и вправду хоть поговорить, несмотря на всю ненависть к нему.

Штольц оказался, по крайней мере поначалу, не в пример прошлому, настроенным чуть ли не благожелательно. Справился о здоровье, как супруга, как дела в школе?

Тут Бен осадил его и с колкостью выразился в том смысле, что нечего, мол, валять дурака:

— Полагаю, капитан, не затем вы здесь, чтобы справляться о моей семье.

У того ну просто злорадной радостью блеснули глаза, словно только и ждал этой вспышки.

— Но почему же?

— У меня не сложилось впечатления, будто вы очень уж озабочены моим семейным благополучием.

— Господин Дютуа, я сегодня прибыл сюда потому… — он сел, вытянулся, скрестив длинные ноги, — …потому что уверен, мы все-таки найдем общий язык.

— В самом деле?

— А вы разве не находите, что со всем этим давно пора кончать?

— И здесь решать вашему брату, я не в счет?

— Давайте-ка начистоту: ну скажите, вот все эти свидетельства-доказательства, в которых вы копаетесь в связи с Гордоном Нгубене. Ну и что, приблизили они вас хоть на шаг к этой вашей

истине, которой вы доискиваетесь?

— Думаю, да.

Пауза, а потом:

— Знаете, я вправду рассчитывал, что мы сможем поговорить по-человечески.

— Не думаю, что это у нас получится, капитан, тем более теперь. С кем угодно, только не с вами.

— Жаль. — Штольц переменил позу, готовый встать и уйти. — В самом деле жаль. У вас курят?

Бен показал рукой на пепельницу.

— Ведь не очень-то у вас все вырисовывается, как хотелось бы, ведь правда? — заметил Штольц, затягиваясь сигаретой.

— Как посмотреть.

— Ну, если не закрывать глаза на определенные вещи, имевшие место. Между прочим, стань они известными, вам ведь туго придется, очень даже. А?

Бен напрягся, до боли стиснул зубы, но выдержал этот взгляд и, глядя Штольцу прямо в глаза, спросил:

— Какие вещи? Не понимаю.

— Слушайте-ка, — сказал тогда Штольц, — но только это между нами. Все мы живые люди, у всякого свои слабости. Ну, забил себе человек в голову таскать клубничку с чужой грядки, ради

бога, его святое дело. Было бы все, как говорится, шито-крыто. Непременное условие. А то, согласитесь, ближнему может ведь и не понравиться, и тогда хлопот не оберешься. Ведь правда? Ну а особенно, если еще человек на виду, скажем там, учитель…

В наступившем молчании, которое, казалось, никогда не кончится, они мерили друг друга взглядами.

— Не понимаю, чего вы темните, — выговорил наконец Бен и, чтобы чем-то занять руки, машинально потянулся за трубкой.

— Господин Дютуа, то, что я вам скажу, уж совсем строго конфиденциально, — Штольц подождал, как Бен на это отреагирует, но тот только пожал плечами. — Полагаю, вам известно о некоей фотографии, которая ходит сейчас по городу и определенно может причинить вам неудобства? — сказал Штольц. — Так вот, волею обстоятельств и мне довелось подержать ее в руках.

— А меня это не удивляет, капитан. Как же без ваших рук обойтись, если вашими стараниями она и сработана. Разве нет?

Штольц неодобрительно расхохотался.

— Это же несерьезно, — проговорил он. — Ну

признайтесь, господин Дютуа, что вы пошутили. Нет, в самом деле, точно у нас других забот не хватает.

— Вот и меня это удивляет. Подумать ведь, сколько человеческих усилий, сколько денег, времени, наконец, вы тратите на мою скромную персону. Казалось бы, вас должны занимать проблемы куда масштабней и, уж конечно, серьезней.

— Рад слышать это от вас. За этим я и приехал, с дружеским, так сказать, визитом. — Он как бы подчеркнул это последнее и помолчал, следя за дымком своей сигареты. — А то, понимаете, еще этой чепухи не хватало. Вот я и подумал, что мой долг рассказать вам.

— Почему же это?

— Потому, что не желаю видеть, как гибнет в общем вполне приличный человек.

Бен натянуто улыбнулся.

— Позволю себе сформулировать мотив вашего визита: если мы «находим общий язык», как вы выразились, если я перестаю обременять вас и тем более таить угрозу для вас, эти фотографии тихо-мирно исчезают. Так? И не ходят больше по рукам. Так?

— Ну, не дословно. Давайте просто скажем: это

дает мне возможность использовать свое влияние, чтобы этот ваш неблагоразумный поступок наверняка не был использован против вас.

— А в обмен я должен заткнуться?

— Ну в самом деле, пусть усопшие покоятся с миром. Какой смысл продолжать тратить время и силы, как вы это делаете? Ну на что вы убили год жизни?

— А если я откажусь?

Штольц неторопливо затянулся, медленно выдохнул дымок.

— Я не настаиваю, господин Дютуа. Но все-таки подумайте.

Бен поднялся.

— Меня не удастся шантажировать, капитан. Даже вам.

Штольц не шелохнулся, продолжал сидеть, развалившись на стуле.

— А вы не спешите, не надо. Я вам даю шанс.

— Вы хотите сказать последний шанс?

— Кто знает.

— Я еще не доискался всей правды, капитан, — тихо сказал Бен. — Но картина вырисовывается. Нешуточная, поверьте. И я не позволю никому и ничему вставать у меня на пути.

Штольц неторопливо потянулся к пепельнице,

тщательно затушил окурок.

— Это ваше последнее слово?

— Ну скажите, ведь ничего другого вы и не ожидали услышать?

— Как знать. — Штольц посмотрел ему прямо в глаза. — Вы уверены, что отдаете себе отчет, на что вы себя обрекаете? А ведь эти люди, неважно кто, ох как могут устроить вам желтую жизнь…

— Что ж, это останется у них на совести. Я верю, вы так и передадите им, капитан. Ведь есть у них хоть остатки совести?

Казалось, лицо офицера покрылось чуть заметной краской стыда, отчего еще явственней проступил шрам, прорезавший наискосок щеку.

— Ну-с, на том тогда и кончим. До свидания.

Бен не подал ему в ответ руки, попросту молча проводил до двери кабинета и захлопнул ее за ним. Больше не было сказано ни слова.

И что его поразило, так это открытие, что у него нет даже ненависти к этому человеку. На какое-то мгновение ему было почти жаль его. И только. Ты такой же невольник, как и я. С той разницей, что не знаешь этого…

В аэропорту, куда Бен поехал на следующий день встречать Мелани, ее и следа не оказалось. Стюардесса, к которой он обратился, нажала

кнопки компьютера и подтвердила, что да, фамилия Брувер значится в списке пассажиров. Результатом же ее дальнейших поисков явилось неожиданное появление перед Беном служащего в форме, который сообщил, что стюардесса, увы, ошиблась. Особы с такой фамилией на борту самолета из Найроби не значилось.

Профессор Брувер принял это известие с удивительным спокойствием; Бен навестил его в больнице в тот же вечер. Никаких причин для беспокойства, сказал он. Мелани может передумать и перерешить что угодно в самую последнюю минуту, это за ней водится. Возможно, подвернулось что-нибудь интересное для газеты. Через день-другой преспокойно вернется. Его просто позабавило, как Бен тревожится, не более того.

На следующий день телеграмма из Лондона: «Добралась благополучно. Не беспокойся. Позвоню. Люблю. Мелани».

Звонок раздался около полуночи. Слышимость из рук вон, ослабленный расстоянием голос еле разобрать, чужой до неузнаваемости.

Бен через плечо глянул на дверь комнаты Сюзан.

— Что случилось? Где ты, Мелани?

— В Лондоне.

— Но ради бога, как ты туда попала?

— А ты встречал меня в аэропорту?

— Конечно. Что с тобой приключилось?

— Они не захотели меня пропустить.

Какое-то мгновение он просто остолбенело молчал. Потом переспросил:

— То есть ты тоже была там? В аэропорту?

Далекий смех. Ему показалось нервный.

— Конечно, а как же.

Наконец до него дошло.

— Паспорт?

— Ага. Нежелательный элемент. Иммигрант. Немедленно выслана.

— Но ты же не иммигрант. Ты такая же южноафриканская подданная, как и я.

— Была. Лишение гражданства, слышал?

— Поверить не могу. — У него вконец все перемешалось в голове от этой невероятной мысли, что она никогда не вернется.

— Ты не можешь сообщить папе? Но только как-нибудь деликатно. Я не хочу расстраивать его в его состоянии.

— Мелани, могу я чем-нибудь…

— Не сейчас. — Незнакомое, такое чуждое ей, усталое смирение в голосе. Точно уже примирилась и сдалась. Может быть, просто не хотела

давать волю чувствам. Тем более в разговоре по телефону. — Только присмотри за папой, Бен. Пожалуйста.

— Не беспокойся.

— Потом мы что-нибудь придумаем. Может быть. У меня не было пока времени думать.

— Где, как я могу с тобой связаться?

— Через газету, Бен, я дам тебе знать. Может, мы что-нибудь придумаем. Сейчас такая путаница в голове.

— Но боже мой, Мелани…

— Не надо сейчас, Бен. — Безмерность расстояния между ними. Моря, континенты. — Все образуется… — На какой-то момент линию словно отключили.

— Мелани, ты меня слышишь?

— Да-да, слышу, — прорвался ее голос. — Я слушаю.

— Скажи мне, ради бога…

— Я с ног валюсь, Бен. Две ночи не спала. Сейчас в голову ничего не идет.

— Но могу я завтра тебе куда-нибудь позвонить?

— Я напишу.

— Обязательно, прошу тебя.

— Береги себя. И расскажи папе. — Сдавленным

прерывающимся голосом, едва не с раздражением. Или это просто от расстояния?

— Мелани, ты абсолютно уверена?..

Телефон молчал.

Через десять минут снова звонок. Но теперь на другом конце провода молчали. А затем мужской голос хмыкнул кудахтающим смехом, и там положили трубку.

2

Казалось, письмо от нее никогда не придет. И это напряжение от ожидания и что ни день разочарование, сколько ни открывай почтовый ящик, вконец изматывали нервы — теперь еще вдобавок ко всему остальному, с чем он вынужден был жить и мириться. А если письмо перехвачено? Уже одна возможность этого до такой степени вызывала отвращение к самому себе со всей этой тщетностью пустого негодования, что куда там даже история с фото. С какой бы злобной яростью ни давили на него до сих пор, ладно, все это было связано с ним самим, с тем, что он схватился с властями из-за Гордона. Но теперь в это втянули Мелани, лишив самого сокровенного в его существовании.

Бесконечные ночи без сна. Возвращение мыслями к той невероятной ночи, так глубоко запавшей в душу, что порой он думал: полно, да не галлюцинация ли все это? Но он вспоминал эту ночь, потому что единственно и держался тем, что она освещала ему жизнь яркими вспышками. И память рисовала чуть заметные припухлости ее девичьей груди с темными смоквами в золотых

ореолах, аромат ее волос, и вкус ее поцелуя, и звук ее голоса, и… В том, что память восстанавливала не зрительный образ, но чувственное его восприятие, и было самое невыносимое. А то, что не удавалось восстановить в памяти, ведь сколько еще она утратила? И полно, сама их любовь, была ли она, или это только игра воображения, мираж в пустыне?

И с другой стороны, мучительные домыслы, терзавшие душу: что она сознательно решила не писать, потому что просто хочет оставить его; что она ухватилась за первую попавшуюся возможность, чтобы уйти от него, потому что он стал ей в тягость. И того фантастичней: что она сама просто была приставлена ими с самого начала, играла с ним в прятки с целью выведать, что ему известно, и установить, с кем он связан. Безумие, конечно! И тем не менее за достижение сходило теперь просто прожить день и знать, что вот еще один прошел, и благо, что не случилось ничего хуже, чем было.

Может быть, все превратилось в часть и целое одного сплошного миража? Может быть, он вообразил себе все это преследование, надумал? Может быть, это просто заболевание мозга, опухоль? Рак, злокачественное новообразование. И

как следствие утрата способности к реальному восприятию действительности, паранойя. Но если так, разве сумасшедший способен осознавать собственное сумасшествие?

Если б только действительно вокруг была пустыня, а он — беглец, спасающийся от реального врага, преследующего его по пятам на вертолете или на джипе. Если б только это действительно была пустыня, где люди умирают от жажды или зноя, где слепнут от ее белого солнца и остаются иссыхать выбеленными костями, тогда по крайней мере он хоть знал бы, что происходит. Только не неизвестность; знай он, можно было хоть предвидеть конец, смирить себя перед богом и людьми, приготовить себя к тому, что всегда в запасе. А так — ни-че-го! Неизвестность. Одна эта слепая сила, что движет тобой, без уверенности даже, что она и в самом деле движет; неощутимо же вертится _ земля, по которой ступаешь.

События и мелочные огорчения каждого дня больше вообще не принимались в расчет и уже не были вехами существования, просто слились с этим общим движением по инерции, вслепую. И эти телефонные звонки, и автомобиль, следовавший за ним чуть ни каждую поездку. Взять даже более серьезные случаи: бомба-самоделка, кото-

рую швырнули ему в окно как-то вечером, когда он поехал навестить в больнице Фила Брувера (счастье еще, что Сюзан гостила тогда у Сюзетты; Йоханну удалось справиться с огнем, и до пожара дело не дошло); выстрелы в ветровое стекло на следующий вечер, когда он возвращался домой после бесцельной — так, проветриться — поездки в город. Что, он в сорочке родился или сознательно стреляли мимо?

Он было вздохнул с облегчением, когда наступили пасхальные каникулы, все-таки с плеч долой заботы, все эти утомительные обязанности бесконечной школьной рутины. Но тут же сам и пожалел, лишившись последней уверенности в себе, проистекавшей из этого относительного, но порядка, который с радостью предпочел бы бесцельному, день да ночь, существованию, когда не знаешь, что будет через минуту и будет ли. Неведение. Краски осени тускнели, надвигалась зима. Листья падали, деревья теряли крону, черствела их плоть, лишенная жизненных соков. Невидимо, невероятно. Вся тихая кротость, вся нежность живой природы, женское ее родоначало и вся доброта человечности, сострадание — ничего не стало, все выжжено. Сушь, бесцветная сушь. Суровые краски осени. И зима. Сухой белый сезон.

И не переставая, неизменной бесконечной чередой люди шли к нему за помощью. От одного этого можно с ума сойти. Ну что, что мог он им предложить реально и действительно в помощь? Да и сами просьбы? Душераздирающие, серьезные, лживые, банальные. Черный юноша из Оранжевого свободного государства нелегально здесь в поисках работы, семья на ферме с голоду умирает: четыре ранда деньгами и полмешка муки в месяц; дважды до этого пытался бежать, оба раза ловили, и хозяин избивал до полусмерти; вот теперь, на третий раз, все-таки повезло, и теперь баас должен (!) помочь ему. Женщина, у которой в супермаркете украли зарплату. Мужчина, только что отсидевший восемь месяцев в тюрьме, и вот получил шесть палок по спине, потому что имел дерзость сказать хозяйской дочке, девочке-подростку, что она «просто душенька».

Это начинало угнетать. Так дальше не могло продолжаться. Он просто тонул в этой общей агонии. «Баас должен мне помочь, больше некому». Случалось, он из терпения выходил.

«Ради бога, да не докучайте вы мне. Надоело! Дэн Левинсон смотал удочки. Мелани нет. И вряд ли мы еще встретимся с вашим Стенли. Не к кому мне больше обращаться. Оставьте меня в

покое. Все! Больше я вам ничем помочь не могу, кончено».

Стенли все-таки объявился. Давно пора было спать, но Бен не ложился из страха перед очередной бессонной ночью.

— Вот и я, приятель. Ну и видик у вас, не человек, а точно рыбу на песок выбросило.

— Стенли?! Чем обязан?

— А, просто взял и заскочил. — Громадина, само воплощение активного начала, он, как всегда, буквально, заполонял собой комнатушку. Эти его жизненные токи, которые он излучал, подобно генератору, казалось, бьют через край и передаются всему, чего он ни касается: ковру, столу, лампе, книгам, — всему, по таинственным законам передачи энергии.

— Пилит пила? А то еще один зубчик нарежем. Мелочь, а все-таки. А?

— Что такое?

— Водитель полицейского фургона, который отвозил тогда Джонатана в больницу.

Бен вздохнул.

— Ну и что от него проку?

— Я думал, сгодится. Сами же говорили, вам любая мелочь важна.

— Говорил. Но я устал.

— Развеяться вам надо, вот что. Красотку какую ни на есть подцепить, а? На предмет… — объяснил, как он это понимает. — Верно говорю.

— Не время для шуток, Стенли!

— Прощенья просим, приятель! Просто подумал, вдруг поможет.

Они сидели и молча приглядывались друг к другу. Каждый ждал, что скажет другой. Наконец Бен произнес, вздыхая:

— Ладно, давайте фамилию водителя.

Записал, равнодушно отодвинул бумагу, посмотрел в пространство.

— Надеетесь, Стенли, у нас еще есть шансы на победу? — спросил вяло.

— И не надеялся никогда. — Стенли, казалось, удивила сама мысль. — Так не в этом же смысл, человек.

— А вообще есть какой-нибудь смысл в том, что мы делаем?

— Победить мы не можем, но и отступаться нельзя. Стало быть, держать осаду, и все тут.

— Мне бы вашу уверенность.

— Мне без этого нельзя, у меня детишки. Я же вам давно говорил. Будь я сам по себе, да что бы со мной ни случилось — плюнуть и растереть. А так ведь останься я не при деле, им тоже крыш-

ка. — Облокотился о стол, согнулся всем своим грузным телом. — Что-то надо делать. Возьмите нашего же брата, они мне в лицо плюнут, знай, что я вот так рассиживаю с вами… А я иду на это.

— Почему? — Бен во все глаза смотрел на него. — Почему плюнут?

— Потому что не в моде теперь сидеть строить планы с белым человеком. Меня никто не поймет. Не те времена. Вам надо это понять. У моего народа черно на душе. Хоть моих детей возьмите. Они на другом языке говорят, чем мы с вами. — Он встал. — Не знаю, когда еще удастся заглянуть. Тут теперь в каждой щели, будь оно все проклято, информаторы понатыканы. Времечко, на чем свет только держится.

— И вы тоже меня покидаете, так, что ли?

— Я не брошу, друг. Но надо быть осторожным. — Он протянул руку. — Пока.

— Ну, и куда путь держим?

— А никуда.

— Значит, как-нибудь когда-нибудь?

— Конечно. — Он засмеялся, взял руку Бена обеими своими руками. — Да не дальше как завтрашним днем и увидимся. Знаете, что скажу? Настанет день, когда мне не надо будет по ночам финты откалывать, чтобы не будить соседских

ваших собак… — Он выругался. — Мы еще средь бела дня погуляем с вами, как порядочные люди. Куда пойдем: прямо, налево, направо? Да куда угодно, лишь бы по дружбе, под руку. Поверьте моему слову. На глазах у всего белого света пойдем, приятель. И никто нас не остановит. Только подумайте. — Он наклонился, согнул руку, точно кавалер перед дамой, пожалуйте пройтись. — Вот так. И ни один сукин сын не скажет: «Эй, ну-ка стой, где твой domboek?»

Он хохотнул, но было в этом смехе что-то от неизбывной печали. И вдруг повернулся, вышел, и в комнате воцарилась мертвая тишина.

Больше они не виделись.

А рядом своей жизнью жила Сюзан. Поодаль и в стороне. Они почти не разговаривали, обменивались несколькими обязательными словами за столом, не более того. Когда он пытался еще завязать разговор, задавая вопрос либо предлагая на какой-нибудь счет объяснение, она опускала глаза и сосредоточенно занималась ногтями с тем отрешенным видом, какой принимает женщина, давая понять, что находит внимание назойливым.

По сути, единственной, с кем он еще разговаривал, была Линда; он ей время от времени звонил,

но чаще всего случалось так, что посреди разговора его вдруг одолевали мысли и он начисто забывал, зачем, собственно, набирал ее номер.

И конечно, еще Фил Брувер, пусть даже Мелани молчаливой преградой стояла между ними. Старик постоянно говорил о ней, а Бен терялся. Хотя старик был ей отцом — а может, именно поэтому? — он ревниво воспринимал все, что касалось дочери.

Ее газета выдала отчет — статья наделала шуму — о конфискации ее южноафриканского паспорта, намекая, что в известной мере это могло быть связано «с частным расследованием, предпринятым ею в связи со смертью некоего Гордона Нгубене, находившегося в заключении, около года назад». Хотя примечательно было и то, что больше этой темы газета не касалась. Вечерняя «Санди пейпер» время от времени продолжала ссылаться на дело Гордона Нгубене главным образом благодаря настойчивому упорству одного-двух молодых репортеров, поддерживавших на этот счет контакты с Беном. Но момент был упущен. Пошли письма читателей, однозначно требовавших, чтобы газета прекратила «мусолить эту чепуху, в зубах навязло».

— Вообще-то их и обвинять нельзя, — сказал

профессор Брувер. — Знаете, у людей короткая память и благие намерения. Но понимаете, миру, который видел Гитлера и Биафру, Вьетнам и Бангладеш, — что ему жизнь одного-единственного человека? Люди теперь только масштабами мыслят, это еще производит впечатление. А один человек…

В тот день Бен привез старика домой. Врачи по-прежнему морщились, когда заходила речь о выписке, но явных признаков, показывавших только больничный режим, тоже не было. И еще, после этой высылки Мелани старик стал пуще прежнего раздражительным, вспыльчивым. Все равно не обретет покоя, пока не дадут ему вернуться под собственный кров, копаться в собственном саду. Бен договорился с сиделкой, на круглые сутки. Правда, пришлось изрядно поспорить, пока старик согласился. И хоть одна ноша с плеч. Бен было вздохнул с облегчением. Но тут — еще не кончились и каникулы в школе — Брувер позвонил и попросил заехать.

Его ждало письмо от Мелани. Он тупо смотрел на конверт, чистый конверт без всяких штемпелей.

— Вложен в письмо на мое имя, — объяснил старик, довольно хихикая. — А письмо послала

на адрес моего приятеля. Он утречком же мне его и занес. Так вот. А вы читайте спокойно, читайте, я вам мешать не стану.

Письмо было едва в страничку и на удивление деловое. Он лихорадочно читал и перечитывал скупые строчки в поисках какого-то тайного смысла, ну хоть чего-то неуловимого, намека на сокровенно личное в этом прозаическом перечне того, как ее остановили в аэропорту Яна Смэтса, препроводили в приватную комнату и оттуда прямо к трапу самолета британских авиалиний, шедшего тем же вечером обратным рейсом в Лондон. Краткое, без тени эмоций сообщение о ее обстоятельствах, заверения, что им буквально не о чем беспокоиться, у нее все в порядке и практически место в лондонском бюро газеты на Флит-стрит ей обеспечено, все по закону. А затем наконец:

«Что не дает покоя, так это единственно твои глаза, они не умеют лгать. Прошу тебя, только бы папа не догадался о всей правде. Я начала статью о Гордоне, думала, это будет бомба. Но еще и кончить не успела, как вдруг неожиданный визит. Джентльмен с головы до кончиков ногтей, по виду самый что ни на есть британец, только акцент выдал (если я не даю волю

воображению, иногда начинаешь в себе самой сомневаться). Он в высшей степени обходительно заметил, что просто уверен, я и мысли не держу печатать что-то такое о Гордоне Нгубене. И это здесь, в Великобритании! «А что мне может помешать?» — поинтересовалась я. «Благопристойность, уважение к приличиям, — отвечал он, — И вы же не хотите никаких неприятностей вашему старому отцу, не правда ли?» Вот так-то. Но мы не должны падать духом, Бен. Прошу тебя об одном: пусть все, что случилось со мной, никак не повлияет на дело, которому ты служишь. Отчаяние — худший из советчиков. Папе нужна твоя помощь. Ты обязан идти своим путем. Ты обязан вытерпеть. Обязан ради Гордона и Джонатана. Но больше всего ради самого себя. Меня ради. Ради нас. Пожалуйста. Что касается меня, я ни на миг единый не пожалела ни о чем, что было между нами».

Он сидел и смотрел, ничего не видя, в этот листок бумаги у него на коленях, и, спохватившись, аккуратно сложил его и убрал в конверт.

— Довольны? — спросил старик с веселыми огоньками в глазах.

И тут он решился. Вряд ли это был голос здравого смысла, просто приятие того, чего не миновать,

что все равно неизбежно.

— Профессор, я вам должен кое-что рассказать.

— Что вы с Мелани любите друг друга, это, что ли?

— Позвольте…

— Я не слепой, Бен.

— Это серьезней, чем вы думаете. И вы должны знать. Как раз перед тем, как ей лететь в Кению…

— Зачем вы мне это рассказываете? Смысл?

— А затем, что по этой причине они лишили ее гражданства. Другой вины за ней нет. Только моя, понимаете? Они сделали фото… и пытались меня шантажировать. А когда я дал им от ворот поворот, они решили отыграться на ней. Они знали, что это меня доконает.

Удивительно спокойный, даже головы не подняв, старик слушал эти его выкрики.

— Поскольку я несу ответственность за то, что произошло, я не могу больше обременять вас своим присутствием. Мне стыдно переступать порог вашего дома.

— Она давно у них на примете, Бен.

— Но я оказался последней каплей.

— Они могли воспользоваться любым другим предлогом, какая разница.

— Но как мне после этого смотреть вам в глаза?

— Что проку винить себя, время тратить.

— А кого мне винить, кроме себя, кроме своей совести?

— Если уж по совести, так надо дальше смотреть, дело-то не в этом частном случае, Бен. Вот наш долг перед самими собой. И перед Мелани тоже. — Он потянулся за трубкой, о которой врачи категорически запретили ему помышлять, и принялся ее чистить. — Знаете, чему я не перестаю удивляться? Что же это за мир такой, что за общество такое, в котором государство может преследовать и вот так ломать человека? Как рождается подобная система? С чего, откуда это идет? И кто дозволяет такой порядок вещей?

— Достаточно того, что это происходит. Праздные вопросы, профессор.

— Помилуйте, во что мы превратимся, если перестанем задаваться вопросами?

— Но куда они заведут?

— Неважно куда, черт побери! Главное, не облениться душой и все-таки спрашивать с себя. — Тяжело дыша — Бен никогда не видел, чтобы старика до такой степени покинуло душевное равновесие, — он чиркал спички, одну

за другой, пытаясь раскурить трубку, — И задаваться вопросами до тех пор, пока не проясним собственную меру ответственности за все, что происходит.

— Как мы можем быть ответственны за то, что происходит? — сказал Бен, — Мы восстаем против этого! Но сделали мы что-то конкретное?

— А суть не обязательно в чем-то конкретном. — Он затянулся с наслаждением и медленно выдыхал дым. — Может быть, суть как раз в чем-то, чего мы не сделали, чем пренебрегли, когда еще не поздно было остановить гниение, а мы закрывали глаза просто потому, что это «наш народ» совершал преступления.

Они долго сидели молча.

— Выходит, вы не вините меня в том, что случилось с Мелани?

— Вы не дети. — Жестом, в котором было раздражение, он резко потер пятерней лицо, будто досадуя на что-то. В сумерках комнаты Бен и не заметил, что в глазах старика стояли слезы, — Горло не дерет? — спросил старик. — А по мне, так очень крепкий табак, пора переходить на что-нибудь полегче.

Понедельник 24 апреля.

Утром позвонил Клуте, сказал, что ему крайне

необходимо меня видеть. И все. Меня это неприятно поразило. Завтра начинаются занятия в школе, и так увидит, если надо. К чему эта спешка? Тем не менее я держался спокойно. Проглотил все, как стакан пунша. Нет в самом деле ничего, кроме облегчения, от сознания того, что еще одна забота с плеч долой. Остается только восхищаться, сколь мало, в сущности, человеку нужно. Смирение с собственной незначительностью. Полезный и отрезвляющий опыт.

На столе лежал коричневый конверт. Он не открывал его в моем присутствии. Нет нужды. Точно такой пришел на имя Сюзан.

— Господин Дютуа, полагаю, нет необходимости говорить, до какой степени я шокирован. Все эти долгие месяцы я ни минуты не сомневался… то есть я всегда был готов прийти вам на помощь. Но в нынешних обстоятельствах, — он часто и тяжело пыхтел, ну точь-в-точь, как оставшиеся в памяти с детских лет кузнечные мехи в примитивной отцовской кузнице на ферме; на дворе зимнее утро, белое от инея; в загоне около кузницы овцы, собака лает на огонь в горне. А от наковальни россыпью летят искры… — первейшая обязанность каждого, вы не находите? — долетает его голос. — На нашем

попечении школа, ученики. Полагаю, вы понимаете, что у меня просто нет иного выхода. Я связывался с департаментом. Разумеется, будет официальный запрос. Но до тех пор…

— В этом нет никакой необходимости, господин Клуте. Хотите, я сию минуту напишу заявление.

— Рад, что вы сами заговорили об этом. Это упростит дело во всех отношениях.

Ему что, в самом деле нужно было обсуждать все это с остальными учителями? Или нет даже смысла и надеяться на жалость даже ценой ужаснейшего из унижений? В учительской было человек пять, может даже четверо, когда мы вошли туда с Клуте из его кабинета.

Карелсе, выспренне: «Нет-нет, позвольте, вот уж теперь мне доподлинно хочется встать и снять перед вами шляпу. Вам надлежит открыть коннозаводское производство».

Вивирс, угрюмый, против ожидания изо всех сил сторонится меня. Затем все же обращается, словно неожиданно решившись: «Господин Дютуа (не «старина Бен», как обычно), надеюсь, вы меня простите, но, право же, мне очень больно, вы меня просто сразили. Я всегда был на вашей стороне, с самого первого дня. Я-то и вправду полагал, что вы делаете нечто важное, нужное и

что вы принципиальны. Но такого, извините…»

Обсуждать все это с Сюзан нет желания. Не сейчас, по крайней мере не сегодня. Но за ужином — слава еще богу, мы были один на один, — когда она заметила что-то насчет костюма на завтра, меня прорвало.

— Я не собираюсь завтра ни в какую школу.

Она удивленно оглядела меня и тут уж посерьезнела.

— Я написал заявление об отставке.

— Ты что, в своем уме?

— Клуте поставил меня перед выбором, что ж мне оставалось… Так хоть приличия соблюдены.

— Ты хочешь сказать, что…

— Ему тоже пришла фотография по почте.

Я не мог оторвать взгляда от нее. Как при дорожном происшествии: смотришь, точно завороженный. Тошно, а глаз оторвать не можешь, гипноз какой-то, не можешь, и все.

— То есть теперь все всё знают. — Констатация факта, не вопрос. — Все время я убеждала себя, будто это нечто такое, что касается только нас с тобой, относительно чего нам предстоит прийти к соглашению. — Она вздохнула. — Хуже не придумаешь, но по крайней мере это оставалось между нами.

И все, больше она ничего не сказала. Она ушла к себе, даже не убрав посуду. Я поплелся в кабинет.

Теперь уже за полночь. Полчаса спустя она пришла сюда. Совершенно спокойная. Этот ее ужасный самоконтроль.

— Я все обдумала, Бен. Если ты не возражаешь, я сегодня останусь здесь. А утром я уберусь.

— Нет.

Зачем я это сказал? Ужели не было выбора? Чего ради вдруг я решил удерживать ее? Это недостойно, наконец. Но ведь не ради нее я пытался ее удержать. Единственно ради самого себя. Мука мученическая, пусть. Только не абсолютное одиночество.

Гримаса, вымученная улыбка.

— Господи, Бен, сколько в тебе мальчишества.

Мне хотелось подняться и подойти к ней, а ноги были как ватные. И я не двинулся с места. И она, не оглянувшись даже, ушла.

3

Неприятности накатывались одна за другой, вконец расшатывая устои семьи.

После ожесточенной перебранки с Сюзан Йоханн все-таки остался с отцом. Трудно сказать, выдала ли она ему все как есть. Как бы там ни было, мальчик вышел из себя.

— Ты всегда была против папы, с самого начала. Но он мне отец, и никуда я от него не уйду. Пусть все катятся к чертям, мне до этого нет никакого дела!

Реакция Линды глубоко задела Бена. Она предусмотрительно явилась «объясниться» не одна, а со своим Питером, чем только прибавила страстей. Бен чувствовал себя не в своей тарелке, присутствие зятя его стесняло. Она мирилась со всем, хотя Бен и превратил их жизнь в ад, потому что хранила веру в его добрые намерения. Она могла не разделять его методов, того, как он поступал в том или ином случае, но никогда не сомневалась в искренности мотивов. Он был ей отцом, и она любила его и уважала, была полна желания защищать его перед кем угодно. Но то, что случилось, это уж переходит все границы.

Это… это низко, отвратительно. И подумать только, это стало достоянием гласности. Как ей теперь людям в глаза смотреть, хоть об этом он подумал? И как насчет ценностей, которые он им проповедовал? Храм господень, не человек. И нате вам. На какое теперь уважение с ее стороны он может рассчитывать? Ладно, простить — ее христианский долг. Но забыть — нет, такое не забывается. Никогда. Она ночами не спит, просыпается в холодном поту. Ужас какой-то. Единственный способ сохранить к себе остатки уважения — это порвать с ним тотчас же раз и навсегда.

Питер заверил Бена, что он не оставит его в своих молитвах. С этим они и отбыли в Преторию в своем подержанном «фольксвагене».

И уж чего Бен никак не ожидал, так это реакции Сюзетты. Она прикатила на следующий день после того, как ушла Сюзан, в новомодном спортивном автомобиле. Первой его мыслью, панической, было тут же скрыться, бежать куда глаза глядят. Нечего было и помышлять справиться в эту минуту с напором ее страстей. Но, едва взглянув на нее, тут же с удивлением обнаружил что угодно, только не враждебность, к которой по привычке готовился. Она подошла к нему, высокая, золотоволосая, как всегда ухоженная.

И не было в ней этой ее вечной агрессивности, отвергающей всякие попытки к сближению, и самоуверенности, которая столько раз наводила на него ужас. Прикусив губу, украдкой огляделась, коснулась порывистым, неловким поцелуем его щеки. Стояла, вертела в руках сумочку змеиной кожи, точно провинившаяся девочка в ожидании наказания. Напряженно, взволнованно, потупив глаза.

— Ну, как ты тут?

Не поняв, настороженно поглядел на нее.

— Я думал, ты знаешь.

— Я не о том. — И снова какой-то непонятный взгляд в сторону, чтобы не смотреть в глаза, извиняющийся, что ли. — Может, тебе что-нибудь нужно?

— Справляюсь.

Села, тут же нервно вскочила.

— Я приготовлю чай, ладно?

— Не беспокойся.

— Пить хочется. Чашка чая нам с тобой не помешает.

— Сюзетта. — Ему была не по душе эта игра. — Если ты пришла выложить мне все, что ты думаешь…

— Ага. — Холодные голубые глаза уперлись в

него, только в них не было осуждения. Беспокойство, огорчение, тревога.

— …так я за последнее время на этот счет столько наслушался со всех сторон.

— Я к тебе не с упреками, папа.

— А с чем? — Он уставился на нее, вконец озадаченный.

— Хочу, чтобы ты знал: я понимаю.

Помимо воли с горечью вспомнилось: «О, я понимаю твои взгляды. Ты никогда не питал особого уважения к святости брачных уз». Но ничего не сказал, ждал, что последует дальше.

Он видел, что в ней борются какие-то чувства и она не решается продолжать.

— Папа, я хотела сказать… Ну, что я не обвиняю маму, что она ушла. Я знаю, ей несладко пришлось. Но все эти недели я дни и ночи думала и вот поняла, — она опять бросила на него нерешительный взгляд: не осуждает ли он? — …впервые в жизни, кажется, поняла, через что тебе пришлось пройти. За этот последний год. Да и до этого. И я подумала: не со всем я могу согласиться, да и не уверена, что всегда правильно тебя понимала, но уважаю таким, какой ты есть. И надеюсь только, что я не заставила себя слишком долго ждать, чтобы сказать это.

Он опустил голову. Пробормотал, что хорошо бы выпить чаю.

Больше они к этому не возвращались, старательно держались в разговоре безобидных тем: о внуке, о ее работе в журнале, о Йоханне. Болтали о том о сем, просто о погоде.

Но когда она заехала на неделе, былой скованности уже не осталось и они спокойно обсуждали все, что касалось его непосредственно, включая дело Гордона и остальное, что произошло и происходит. И помимо его воли, хотя в нем и пробудился, как в мальчишке, какой-то пыл откровенничать, он даже упомянул Мелани. Постепенно ее приезды стали в порядке вещей. Через день, редко через два она заезжала по утрам прибраться в квартире или приготовить чай и поболтать. Как подменили человека. Он отказывался верить своим глазам, хотя в порыве сентиментальности готов был бога благодарить за такую в ней перемену.

Бывало, ее присутствие раздражало его — он стал ревниво относиться к своему одиночеству, к этим часам свободы в пустом доме, к тишине. Но стоило ей уехать, и он тут же открывал для себя, как ее недостает. Пусть она делает это не из пылких чувств, пусть для нее это просто возможность

поговорить, посудачить, благо он всегда готов составить компанию. Конечно, это не слепая преданность сына. Общения с Йоханном ограничивались уклончивыми репликами за обедом, иногда они выбирались в кафе или ресторан, ходили на регби. Большей же частью играли в шахматы: это давало возможность общаться без необходимости разговаривать. Но Бен последнее время становился все более рассеянным, полагался в основном на заигранные банальные дебюты, что называется терял форму, за что чаще всего дорого и расплачивался после первых же ходов. Или проваливал эндшпиль, опять же из-за утраченной способности сосредоточиться. Сюзетта же, та несла ему понимание и симпатию проникновенной, зрелой женской натуры, мудро не позволявшей ему утрачивать уверенность в себе, когда он был близок к этому. Навестил его и преподобный Бестер. Однажды, больше не появлялся. Предложил усладить мысль чтением Библии и помолиться. Но Бен сказал: «Нет».

— Ооом Бен, ужели вы не понимаете, что плетью, как сказано, обуха не перешибешь? Отчего и нам не отрешиться и не предать это забвению?

— Нет забвения, пока Гордон и Джонатан Нгубене лежат неотомщенные в своих могилах.

— Не наше отмщение, но богово. Он и воздаст, — увещевал его молодой человек с величайшей серьезностью. — Ожесточение говорит в вас, и мне больно в душе, не знал я за вами этой жестокости.

— А что вы вообще за мной знали, ваше преподобие? — буркнул он, щурясь от дыма; они оба сидели и курили, а он еще после бессонной ночи.

— Не слишком ли далеко это зашло? — спросил тогда священник. — Ужели и так недостаточно в вашей жизни разрушений и опустошенности? — Похоже, он заставил Бена пристально вглядеться в самого себя, в поле боя собственной жизни.

— Вы хотите сказать, имеет ли это смысл? Никакого. Пока не смогу заплатить за все полную цену.

— Не гордыня ли, не ужасная ли самонадеянность толкает вас? Что, кроме страданий, сулит вам этот процесс? Не находите ли вы, что уподобляетесь тем извращенным католикам из средневековья, что, впадая в экстаз, бичевали самих себя? Сие не смирение, оом Бен, не покорность. Но чистая гордыня.

— Кто это занимается самоистязанием? Не понял.

— Ужели непонятно? Я пытаюсь помочь вам.

Пока не поздно.

— Это как же, интересно? И что вы намерены предпринять? — У него был полный разброд мыслей, он чувствовал, что не может сосредоточиться.

— Для начала отложим этот развод.

Он только головой покачал.

— После стольких-то вместе прожитых лет, — продолжал Бестер, — я отказываюсь поверить, что вот так можно взять и разорвать все отношения.

— Нам с Сюзан больше нечего сказать друг другу, ваше преподобие. Все, она исчерпала себя. Мне ее не в чем упрекнуть. И я себя тоже исчерпал.

— Никогда не поздно спросить себя в сердце своем. — Он сидел, выжидающе всматриваясь Бену в глаза. — Эта другая женщина, ооом Бен…

Тут его взорвало.

— Я не желаю, чтобы ее вмешивали во все это! — чуть не прокричал он, забыв все приличия. — Вы ничего о ней не знаете.

— Но если мы хотим чего-то добиться нашим разговором… — У него дрожал голос, исполненный непоколебимой доброты.

— Чего? Меня больше ничто не интересует, — отвечал он, с трудом подавив волнение. — Я сам

распоряжусь своей жизнью. Ничто не интересует!

— Бог нам судья единый.

— Если так, он, увы, явно плохо рассудил меня, — сказал и, успокоившись, добавил: — И я не в претензии на него за это. Я уж на себя самого возьму ответственность.

— Помните тот вечер, когда вы пришли ко мне, как раз после суда? Если б вы тогда меня послушали…

— Послушай я вас тогда, меня бы совесть замучила. Бог знает чего бы еще я лишился. А так, хоть совесть не потерял.

— Чего только не вкладывается в понятие «совесть», — тихо сказал преподобный Бестер. — А это тоже ведь поди от гордыни. Этак-то удобней, промысел божий присвоить из десницы его. А в оправдание — совесть.

— А может, она по той причине и дорога, что в нее столько вкладывается? Непосвященному вовек не понять. Я ничего не знаю о вашей совести, а для вас моя — темный лес. Я часто думаю: а может, в этом и есть истинный смысл судьбы? Знать, перед лицом бога, что тебе и не дано поступить иначе, чем поступаешь. И держать за это ответ. — В комнате висело плотное облако дыма,

он молча всматривался в лицо молодого человека, ожидая, что тот скажет. Не дождавшись, сказал сам, трубка дрожала у него в руке. — По мне, так я готов. Прав я там или нет, не знаю. Но готов. А вы?

4

5 мая. Хватило бы у меня мужества справиться, если б Фила Брувера не забрали снова в больницу? Ну да, какой теперь смысл гадать.

Вчера звонила сиделка. По-видимому, он прослышал от кого-то из министерства внутренних дел, что ему отказано в паспорте на поездку в Лондон к Мелани. И после ленча у него случился новый сердечный приступ. Не очень страшный, но госпитализация обязательна. А навестить его мне не разрешили: «только родственникам».

Говорил с Йоханном. Но его рвение «помочь» ставит в затруднение. Что он, по сути, понимает? Что я могу по-настоящему обсуждать с ним? Как ему объяснить это мое угнетенное состояние, грозящее захлестнуть во мне все без остатка? Кусок в рот не лезет. Я давно потерял сон. Я приперт к стене. Клаустрофобия. Шмель в бутылке. Навязчивый бред.

Пытался разыскать Стенли, хотя сам понимаю, насколько это неразумно. Не по домашнему телефону, естественно. И даже автомат выбрал на другом конце города. Параноик чистой воды! Он не отвечал. Еще трижды звонил в течение

вечера. Наконец женский голос сказал: «Уехал по делам». Обещала передать, что звонил приятель — я сказал: «Lanie, как он меня называет». До сих пор звонка нет. Уже около одиннадцати утра. Дольше я не вытерпел. Слышать человеческий голос — все равно чей. Пусть хоть преподобного нашего! Но и его не застал. Открыла жена. Совсем девочка, блондинка с навсегда застывшим удивлением в глазах — оттого, что уже столько детей народила? — очаровательная своей хрупкостью. Предложила чай. Я имел безрассудство согласиться. Дети за подол держатся. Тут же и сбежал.

Решил ехать в Преторию к Сюзетте. Раздумал. Ее симпатия и дочернее участие — единственное мое утешение, так. И все-таки мне с ней неуютно. Никак не пойму этой в ней перемены, как она мне ни приятна. Вконец отказываюсь понимать и ее, и всех на свете. Устал.

Так я поехал в Соуэто.

Окончательное безумие? А мне плевать, кто что скажет. Еду и все. Может быть, удастся разыскать Стенли. Хоть одно знакомое лицо. Нелепо? Наверное. И все-таки я ехал искать живую душу черт те где, а не в своем окружении. Не на соседском же участке, в самом деле.

Я здорово поплутал, пока добрался, то и дело

останавливался узнать, правильно ли еду. В этой игре в полицейские-и-воры было что-то определенно увлекательное. Проверка на сообразительность — все это заставляет держаться начеку, собраться в кулак. Выжить, наконец, и не сойти с ума.

Притормозил у электростанции, поехал медленней. Я здесь был пару раз, и всегда со Стенли, однажды уже совсем в темноте. А уж тут путаница была с дорожками-тропинками, настоящий лабиринт. Вроде бы в общем правильно. Через железнодорожный переезд. А дальше пошел петлять по улочкам, наугад держась направления. И заблудился. Подался в одну сторону, в другую. Вконец потерял представление, куда еду в этом облаке дыма, заслонившем солнце над головой. Дважды останавливался узнать дорогу. Сначала ребятишки, целая группа, буквально замерли на месте, когда увидели меня, и стояли, рты разинув, так ничего и не объяснив, и еще долго смотрели вслед. Потом цирюльник в дверях своего заведения. У него, я еще разглядел, клиент сидел, ждал среди уличной пыли в плетеном кресле, в мятом-премятом пеньюаре. Цирюльник объяснил толком, куда все-таки ехать.

На углу улицы, там, где я притормозил у дома

Стенли, кейфовала группа подростков. Они просто сделали вид, что не слышат, когда я обратился к ним с вопросом: «Стенли дома?» Наверное, одно это должно было меня насторожить. Но тогда я ни о чем другом и не думал, только бы увидеть его.

Постучал. Полное молчание. Снова постучал. Наконец открывают. Женщина. Молодая, привлекательная, волосы убраны по-африкански. Минуту-другую подозрительно оглядывает меня и все норовит захлопнуть дверь перед носом. Но тут уж я поставил на своем.

— Мне нужно повидаться со Стенли.

— Его нет.

— Я Бен Дютуа. Он ко мне частенько заглядывает. Мы с ним приятели.

Она всматривалась, все еще недоверчиво. Но похоже, правильно, что я назвал себя и сказал «lanie».

— Я вчера несколько раз звонил. Просил передать, что жду его звонка.

— Его нет, — мрачно повторила она.

Я беспомощно огляделся. Эти ребята так и торчали на углу, руки в брюки, глаз не сводят.

— Вам бы ехать, — сказала она. — Неприятностей не оберетесь. Ехать бы вам.

— То есть в каком смысле? Каких неприятно-

стей?

— А для вас. Для Стенли. Для всех нас.

— Вы ему кто, жена будете?

— Они следят за ним, — сказала она, оставив вопрос без ответа. — Они. Следят. Понимаете?

— Кто они?

— Они.

— Он знает? — Я встревожился. Не просто за Стенли. Ведь остался он один. С ним могло умереть все. Он обязан был жить.

— Ну нет его, сказано же вам. Уехал, — тупо повторяла она. — Думается, в Свазиленд. Вернется не скоро. Он знает, что за ним следят. Сказано вам.

— А вы? — спросил я, — И дети? Может, нужно что-нибудь?

Как мне показалось, ей этот вопрос представился просто смешным. Она заулыбалась во весь рот.

— Ничего не нужно. Хлеба он нам вдоволь запас. — И затем, уже серьезно: — Вы ехали бы лучше домой. Нет, я вас не пущу. От них ведь не укроешься.

Я повернулся спиной, все еще раздумывая, что бы это значило, и через плечо:

— Ну, а если он вернется? Вы хоть ему скажете,

что я был?

Кивнула головой, да или нет, не понял. И тут же захлопнула дверь.

И я, удрученный, буквально не зная, что мне предпринять, стоял столбом. Куда дальше? Ехать домой, словно ничего не случилось? Ну а дальше что? Дальше-то?

Я настолько погрузился в эти собственные свои мысли, что даже не заметил, как подростки окружили меня. Когда же наконец поднял на них глаза, они стояли тесной группой между моим автомобилем и мною. А сзади откуда-то надвигались еще и другие. Мне сразу показалось подозрительной эта безмолвность их движений. Тени, не люди. Точно им некуда спешить. Конец предрешен, и они просто идут к концу.

Я ступил было к автомобилю, сделал несколько шагов и в нерешительности остановился.

Они взирали на меня с каменным молчанием, черные лица юношей ничего не выражали. Ну ничего. Как каменные.

— Стенли нет дома, — проговорил я, понимая, как это глупо. Но надо же было хоть как-то вступить с ними в контакт. И почувствовал, что у меня в горле пересохло.

Они не шелохнулись. А там, за спинами, надви-

гаются и надвигаются еще. Господи боже, да как они проведали о моем присутствии?

— Я приятель Стенли, — пробормотал я опять. И сказал: — Lanie.

Молчание.

Стараясь не выдать волнения, я сделал шаг, вынул из кармана ключи от машины.

И тут все смешалось. Похоже, они решили, что я собираюсь удирать. Кто-то попытался выхватить у меня брелок с ключами. Я резко рванул руку. И тут ударом сзади меня свалили с ног. Я растянулся в пыли на дороге, но ключи удержал. Они навалились на меня, как в игре куча-мала, все разом. Не помню, как мне удалось выбраться. Один против многих — дело не шуточное. И я бросился к машине. Но меня снова схватили. Удар в живот. Я рванулся вперед, но тут же получил сокрушающую подсечку коленом по почкам. Наверно, я взвыл от боли, потому что у меня в глазах помутилось. Но я знал одно: не вырвусь — мне конец. До сих пор понять не могу, как мне это удалось, но в общей суматохе я исхитрился увернуться, обежал автомобиль и дернул водительскую дверцу. Слава богу, остальные были заперты. Я плюхнулся на сиденье, но тут с силой рванули дверцу. Я наугад двинул кого-то ногой,

дверцу на себя, защемил тому руку. И мельком отметив, как черные фигуры надвигаются, трясущейся рукой повернул ключ зажигания. Я еще опустил зачем-то на дюйм окно и крикнул им в щелку срывающимся голосом: «Да можете вы понять, я же за вас!..»

Тут машина сотряслась под ударом камня. Швырнули издали, с силой. Десятки рук подхватили автомобиль за задок — раз-два, взяли, — пытаясь поднять, чтобы оторвать колеса от земли и не дать мне уехать. А по кузову грохотали камни. Теперь одно спасение: я включил скорость, дал полный газ. Зацепило, кто-то там не устоял на ногах, остальных расшвыряло. Колеса взвизгнули, подняв тучу пыли, щебня, машину рывком бросило с места и понесло.

На углу меня ждали. Кирпич угодил в стекло с моей стороны, разнес его вдребезги, чудом не снес мне голову и шлепнулся на сиденье рядом. Я чуть не потерял управление, машину швырнуло, повело зигзагами. Куры, детишки бросились врассыпную с обочин. Не понимаю, каким чудом они ускользнули из-под колес.

Все это и длилось-то минуту, ну две от силы, все, что произошло, а казалось — конца не будет. Я пришел в себя уже в соседнем поселке. Дети

катали брошенные покрышки, обручем гоняли велосипедное колесо. Что-то кричали во весь голос женщины, так что на другом конце улочки слышно. Замусоренный ржавым автомобильным хламом вельд несся мне навстречу; какие-то люди, копающиеся на свалках, что-то там подбирающие. Обычная картина. С той разницей, что теперь это воспринималось отнюдь не буднично. Не скажешь: тихая мирная жизнь. Все враждебное, чужое, зловещее. Куда ехать, я понятия не имел, мчал наугад. Куда глаза глядят. Но панический ужас гнал меня, не давал остановиться. Я просто продолжал гнать и гнать, безрассудно, куда бог занесет, едва соображая, что ведь на этих выбоинах и рытвинах еще минута и полетит полуось, никакие амортизаторы не выдержат. Гнал, иногда в каком-нибудь дюйме объезжая пешеходов и оставляя их в клубах пыли, шарахающихся в ужасе, посылающих проклятия и долго еще грозящих мне вслед кулаками. И так всю дорогу по этим улочкам, от одного поселка до другого, ничего не видя перед собой.

Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я притормозил, просто заставил себя остановиться. Но это уже было далеко от жилья, среди выжженного зноем вельда. Просто посидеть и дух

перевести, прийти в себя. Руки, ноги — чужие. Голова разламывается. Весь в пыли, растерзанный, пиджак, брюки висят клочьями. Представляю, на кого я был похож. Я сидел долго, все не мог отдышаться и тронул с места, только почувствовав, что отдышался и яснее начинаю отдавать отчет в том, что делаю. Тронулся и покатил к торговому центру вдали, где мог хоть спросить дорогу. Но это уже на противоположном конце Соуэто, у кладбища, там, где похоронили Гордона. Вот где я очнулся.

И только тогда мне словно в голову ударило: исповедимы ведь наши жизни, вот что воистину, коли жить по кругу, кружа снова и снова по обветшавшим вехам, ибо сколько по ним до нас кружили другие. Один круг отныне завершен. Вот здесь, на этом месте, в родном доме Стенли, его Софасонка-Сити, на демонстрации, точь-в-точь вроде той, на которую я нарвался, арестовали Джонатана. И для меня здесь — начало всех начал. И вдруг во всем этом мне открылся какой-то недоступный прежде смысл: значит, мне в жизни так и предназначено было, предопределено, в один прекрасный день вернуться сюда, на это место, — сам ведь говоришь, жизнь по кругу.

Дома я принял ванну и переоделся. Выпил

снотворное.

несколько таблеток для верности. Лег. Но уснуть не мог. Меня то и дело бросало в дрожь. Почему, сам не знаю.

Еще никогда я не заглядывал так близко в глаза смерти.

И еще долго я лежал так, стараясь привести в порядок собственные мысли. Но тщетно. Я точно вконец разучился размышлять связно. До сознания доходила только эта нестерпимая, затуманивающая разум горечь. Ладно, кого другого, но почему меня? Неужели не понимали? Неужели все, что я вытерпел ради них, — тщета и суета? Неужели так ничего ровным счетом и не значит? Где же тогда логика, понятие, здравый смысл?

Но теперь я чувствую себя спокойней. Переносить вот так все на бумагу, чтобы, узрев, попытаться взвесить, а взвесив, найти в этом какой-то смысл, — это дисциплинирует, что ли.

Профессор Брувер: «Есть лишь два вида безумия, Бен, которых должно остерегаться, — вера в то, будто мы все можем, и еще — будто мы ничего не можем».

Я хотел помочь искренне, от всей души. Но я ставил свои условия. И еще: я белый, они черные. А я грезил, будто это пустое даже здесь, в

Южной Африке, это можно преодолеть безотносительно ко всякой там нашей белизне, черноте. Я думал, что потянуться и подать руку над пропастью — одного этого само по себе достаточно. Увы, как будто достаточно одних добрых намерений, чтобы все было решено. В обычном мире, в мире естественных вещей, я бы мог добиться желаемого. Но не в этом безумном, раздираемом противоречиями. Я могу делать все доступное мне для Гордона или десятка других, взывающих ко мне, могу вообразить себе, каково быть в их шкуре, могу представить их страдания. Но только вообразить. Жить их жизнью мне не дано, так же как и им понять меня. Так чего еще, кроме неудачи, можно было ожидать?

Нравится мне это или нет, готов ли я где-то там в душе проклинать собственное существование или нет — это только подтверждение не моей силы, но слабости — я здесь белый. Вот она, та конечная и мучительная правда моего разломленного мира. Я белый. И потому, что белый, я поставлен в привилегированное положение. И даже выступая против системы, приведшей нас к такому порядку вещей, остаюсь белым и пользуюсь преимуществами тех самых обстоятельств, к которым питаю отвращение. И даже

ненавидимому, подвергаемому остракизму, преследуемому, да чего там, даже уничтоженному в конечном счете, мне не стать другим, ибо я — белый. Равно как и тем, кто платит мне в ответ за все недоверием и подозрительностью. В их глазах самые мои попытки ставить между нами знак равенства, между мной и Гордоном, равно как со всеми гордонами, — невозможны. Всякий жест с моей стороны, любой мой поступок в стремлении помочь им, лишь ставит их в затруднительное положение, вносит смятение в их умы, и им труднее становится понять, что же им действительно нужно, утвердить себя в собственной неподкупности и упрочиться в чувстве собственного достоинства или понять таких, как я, одиночек. Так что же, грабитель и жертва? Оказывающий помощь и в ней нуждающийся? Белый и черный — так всегда? И нет от этого спасения? И нет надежды?

А с другой стороны, что я могу сделать сверх того, что сделал? Я не могу оставаться безучастным, это было бы отречением и надругательством не только над всем, во что я верю, но и над самой надеждой, что между людьми может и должно существовать сострадание и сочувствие. И не поступи я, как поступил, я отказался бы от самой

возможности навести мост через эту пропасть.

Мои потуги заведомо тщетны. Но если я не действую, это другой вид поражения, столь же решающего, но, может быть, и худшего. Потому что тогда, не обретя ничего, я теряю даже совесть.

Конец неотвратим: неудача, поражение, потери. Единственное, что мне осталось, — это решить, готов ли я сохранить в себе остатки чести, приличия, человечности или — лишиться всего. Итак, я в положении, когда пожертвовать чем-то неизбежно, как ни смотри. Но по крайней мере остается выбор между жертвой напрасной и той, что пусть когда-то, но откроет возможность, пусть самую малую и пока гипотетическую, на лучшее будущее — менее омерзительное и более благородное — для наших детей. Моих собственных и тех, кто наследует Гордону и Стенли и всем людям.

Им жить. Мы, отцы, — потерянное поколение.

Как мне хватало смелости произносить: он мой друг, или даже осторожней: думаю, я знаю его? По самому строгому счету мы ведь были не больше чем незнакомцы, встретившиеся среди выжженного добела зимнего вельда, чтобы перекурить и разойтись каждый своей дорогой. Не больше.

Одни. Одни до гробовой доски. Я. Стенли. Мела-

ни. Каждый из нас в одиночку. И те, пусть даже мимолетные, встречи, ну просто видеть и прикоснуться друг к другу, не самое ли это благоговейное и чудесное, о чем можно мечтать в этом мире?

Как непривычна эта ни с чем не сравнимая тишина. Даже этот зимний пейзаж, лишенный примет живой земли — лишь стервятники кружат над ней в небе, — по-своему прекрасен. Сколько не познано еще нами и сколько еще нам предстоит разгадать в бесконечной этой благодати.

Вначале есть хаос хаоса. Затем он уступает, и настает молчание, но это молчание смущения умов и понятий, замешательства и непонимания; не подлинная тишина, но неспособность слышать, тишина без покоя. И лишь когда отваживаешься на страдания, в которых ставка — жизнь, — лишь это, как я понимаю, может помочь смириться с их неизбежностью ради обретения подлинно человеческого покоя. Я еще не достиг этого. Но близок, теперь близок. И надежда дает мне силы.

5

Конечно, не будь он вконец измотан в полном смысле этого слова, когда человек существует на пределе данных ему природой возможностей, живет по инерции, через силу, Бен сразу бы заподозрил что-то неладное. И, вовремя сообразив, может, и предпринял бы какие-то меры предосторожности. Но что теперь строить догадки. В конце концов, она была ему дочь, его ребенок, и кому бы пришло в голову ждать от него, чтобы он не то что докапывался, но просто заподозрил бы скрытые мотивы в той обезоруживающей симпатии, которой она так щедро его одарила.

В воскресенье они с Йоханном поехали в Преторию — Сюзетта пригласила их на семейный обед. Не то чтобы ему очень уж хотелось ехать, но она, позвонив, приглашала так настоятельно, что он просто не мог отказать. И что, пожалуй, главное — его властно влекло к людям, все равно, лишь бы с кем побыть, словом перемолвиться.

Стекла в машине еще не заменили, и он побаивался, как бы не нарваться на дорожную полицию. По счастью, все обошлось.

— Господи боже, что такое с автомобилем? —

первое, что спросила Сюзетта, широко раскрыв глаза. — Такое впечатление, что ты на войне побывал.

— Что-то в этом роде. — Он через силу улыбнулся. — К счастью, вернулся невредим.

— Что случилось?

— Разбойники с большой дороги. Нарвался пару дней назад. — Он не был расположен вдаваться в подробности.

После великолепного обеда, приготовленного домашним поваром — на этот счет Сюзетта не скупилась, — Бен расслабился, обмяк. Еда, вина, вся обстановка со вкусом оформленного интерьера столовой, прямо со страниц ее блестящего глянцем журнала, приятное предвкушение, что он еще поиграет с внуком, пока няня не уведет малыша спать, — все это настроило его на забытое уже чувство душевного покоя, комфорта даже. Сюзетта провела его к бассейну и предложила удобный шезлонг, здесь под теплыми лучами осеннего солнца им накрыли столик для кофе. Крис тем временем пригласил Йоханна к себе в кабинет, что-то такое показать. Только потом Бену пришло в голову, что ведь все это было подстроено.

Она снова вернулась к разговору об автомо-

биле.

— Па, ты вправду должен быть осторожней. Прошу тебя. Подумать только, чем это могло кончиться! Господи боже, это в наше-то время.

— Одним-двумя камнями больше, мало их в меня бросали, — сказал он шутя, не желая рассуждать на эту тему.

— Но почему ты не поставил ее на ремонт? Нельзя же ездить в таком виде.

— На неделе собирался. Да как-то все времени не было.

— Чем это ты так занят?

— Мелочи жизни.

Наверное, она почувствовала, что он отгораживается и вот-вот опять уйдет в себя, потому что тут же изменила тон и уже потеплевшим голосом спросила, не денежные ли у него затруднения.

— Обещай, что ты немедленно скажешь, чем Крис или я можем тебе помочь, — сказала она.

— Непременно. — Он смотрел на нее улыбаясь. — Знаешь, я все никак поверить не могу, всю жизнь прожить как кошка с собакой — это я о нас с тобой, — а тут вдруг такая дружба…

— Иногда хорошая встряска открывает человеку глаза. Господи, столько хотелось бы наверстать, столько упущено, па.

Она сидела спиной к солнцу. И оно обрисовывало ее, молодую изящную блондинку. Прическа — волосок к волоску, ни морщинки на непомерно дорогом в нарочитой своей простоте платье, конечно же из Парижа или Нью-Йорка. Строго очерченные скулы, упрямый подбородок. Точная копия Сюзан в молодости.

— Папа, тебя не гнетет одиночество? Один в доме… Тем более Йоханн весь день в школе.

— Никак нет. — Он положил ногу на ногу, отвел глаза. — Привыкаю. Есть время подумать. Привести в порядок мысли, бумаги.

— Бумаги? Это все об этом Гордоне?

— Да, и о нем тоже.

— Ты меня поражаешь. — Нет, она сказала это не ворчливо, голос скорее даже был исполнен восхищения. — Как ты держишься, несмотря ни на что.

Он ответил смущенно:

— Любой сделал бы то же на моем месте.

— Большинство других давно бы отступилось. — И после рассчитанной паузы: — Ну, и это действительно стоит того, па?

— По мне, да, стоит.

— Но я забочусь только о тебе, папа. Эта бомба тогда… Что, если б Йоханна не было и он не поту-

шил бы пожар? Ведь сгорел бы весь дом.

— Ну почему же. Кабинет у меня на отшибе, ты же знаешь.

— Но все твои бумаги пропали бы? Ведь так? Все, что ты с таким трудом собирал.

Он усмехнулся, поставил чашечку на низенький столик у шезлонга. Он чувствовал себя таким умиротворенным. И еще эта обстановка и майское солнце так располагали к лени.

— Не беспокойся, — сказал он, — до этого у них никогда руки не дотянутся.

— Боже, где же ты хранишь все эти сокровища? — бросила она небрежно.

— А я, видишь ли, двойное дно придумал в ящике для инструментов. Уже давно. Никому и в голову не придет туда заглядывать.

— Еще чашечку кофе?

— Нет, спасибо.

Она налила себе с неожиданной вдруг деловитостью в каждом движении. Он, любуясь ею, смотрел и глаз не мог оторвать, наслаждаясь ее предупредительностью, смотрел расслабившись, тая от оказываемого ему дочерью внимания и от ласковых лучей осеннего солнца, разомлев от прелестного красного вина.

И только по дороге домой, уже вечером, он

вдруг с ужасом подумал, а вдруг у Сюзетты было что-то на уме, зачем еще иначе она так тщательно пытала его, с такой наигранной небрежностью?

Он с отвращением отбросил эту мысль. Как можно подумать такое о собственном ребенке?! Какой смысл в мире, где у человека нет больше права верить собственной семье? Сплошная бессмыслица.

Он еще подумал, что, может, следует все-таки посоветоваться на этот счет с Йоханном. Но ветер с такой силой выл, врываясь в разбитые окна автомобиля, что нечего было и думать о разговорах. И, не отдавая себе отчета, он все прибавлял и прибавлял скорости.

— Слушай, ведь нарвемся на полицию! — прокричал Йоханн.

— А что, я нормально еду, как всегда, — проворчал он, но ослабил ногу на педали газа. Покоя больше не было, он сидел как на угольях. Тревога не отпускала.

Презирая себя за собственную подозрительность, за самую мысль, что такое могло прийти в голову, он все равно знал, что не успокоится, пока не убедится, что его страхи напрасны. И когда вечером Йоханн отправился в церковь, он отвинтил вентиляционный люк в обшивке ван-

ной и перенес все свои бумаги в новый тайник, тщательно приладив решетку люка на место.

Буквально на следующую ночь к ним забрались в гараж, причем сделано было все настолько профессионально, с такой осторожностью и обстоятельностью, что ни Бен, ни Йоханн ни малейшего шороха не слышали, И только утром Бен обнаружил это, когда пошел вывести машину. Стенной шкаф, где хранился инструмент, был тщательно обыскан, полка за полкой. Содержимое как попало разбросано по полу гаража. И из ящика для инструмента тоже, ящика с двойным дном.

ЭПИЛОГ

В послесловии же, завершая историю Бена Дютуа, пытаясь заново осмыслить ее, скажу, прежде чем вернуться к тому, с чего я начал: нет, это не было движение по кругу, лишенное смысла, но по спирали с рядом все уменьшающихся витков. Ведь я, едва ли всерьез задумываясь, коснулся чужой жизни, чтобы уклониться либо и вовсе закрыть глаза на проблемы собственной. А очень скоро открыл для себя, что полумеры здесь исключены. Альтернатива: не касайся вообще или отдай все помыслы. *Либо* — либо, третьего не дано. И тем не менее, подойдя вплотную к концу, могу ли я сказать, что проник в чужую тайну, столь мучительную для меня? Бен Дютуа: друг, оставшийся загадкой. Парадокс? Но ведь так, даже решись я идти до конца, я знаю, Бен не допустил бы. Я не могу его постичь, но он занимает все мысли, и освободиться от этого я тоже не могу. Мог и не сделал. Нет оправдания вине, цена которой — страдание.

Я остался с сознанием безысходности. В попытках оценить его по достоинству я рисковал

добиться прямо противоположного. Мы несоизмеримые величины: один пережил, другой перенес на бумагу; один смотрел вперед, другой оглядывался в прошлое; он был, я живу.

Ничего удивительного, что он остается за пределами доступного моему пониманию. Я словно иду в темноте с лампой, она выхватывает неясные очертания предметов, которые появляются в ее свете и исчезают, но они не картина в целом, а лишь детали.

Бен оставил в гараже все, как было, помчался в город и позвонил мне из автомата на вокзале. Через час мы встретились у входа в книжный магазин Баккера. Исхудавший, загнанный человек, ничего общего с тем Беном Дютуа, каким он запечатлелся в моей памяти.

Остальное же, что пишу, по большей части догадки или попытки рассуждения от общего к частному, сделанные мной под влиянием того, что я нашел затем в его бумагах.

Он послал их, бумаги и записные книжки, почтой из Претории. Представляю также, что на этот раз он мог себе позволить, в виде исключения, позвонив Сюзетте, даже поиронизировать на этот счет.

«Дорогая, хочу попросить тебя об одолжении.

Помнишь, мы говорили о бумагах, ну всем этом архиве, что касается Гордона Нгубене? Помнишь? Ну так вот, мне почему-то кажется после нашего разговора, что держать их у себя дальше и вправду небезопасно. Что, если я завезу их тебе, так ведь надежней будет, а?»

Легко представить, как она горячо пыталась успокоить его на этот счет, как с готовностью согласилась: «Ну конечно же, папа».

«Ну конечно, папа. Но зачем тебе беспокоиться. Я заеду и все заберу», — отвечала она.

«Нет, нет. Я сам привезу».

Так он, безусловно, сводил риск до минимума — на тот случай, если б у него опять кто-то повис на хвосте. Ведь зная, что все перевозится на хранение Сюзетте, они уж позаботились бы, чтобы бумаги благополучно достигли Претории. И вот час с небольшим спустя он, внешне спокойный, бледный, но довольный, сдал бандероль в почтовом отделении Претории и затем помчал в Ватерклоф, к Сюзетте.

Она, должно быть, встречала его у калитки. Глаза тут же жадно обшарили сиденья автомобиля. И надо было видеть, как у нее вытянулось лицо, когда он объяснил, как бы между прочим, что, знаешь, мол, я подумал-подумал и решил,

что нечего мне обременять людей, тем более родную дочь, хватит тех неприятностей, что я вам доставляю, и уж тебя я никак не хочу компрометировать. Вот я и решил: сожгу-ка я их. Жаль, да что поделаешь.

Она не могла себе позволить дать волю чувствам. Она была потрясена, она была в ярости. Но и это осталось надежно скрытым под маской искусно наложенной на лицо косметики.

Через несколько дней мне доставили увесистую бандероль. А затем Бена Дютуа убили.

Вот, подумал я тогда, и конец всему.

Но ровно через неделю после его похорон я получил его последнее письмо. Датировано 23 мая, в тот день он погиб.

«Право же, я не стал бы опять докучать тебе своими заботами, но что делать. Надеюсь, последний раз. Только что мне снова звонили. Назваться не пожелали. Мужской голос. Говорит, чтобы сегодня ночью я ждал гостей. Я уже столько наслушался этих звонков, что остается только плечами пожимать, так я, собственно, и сделал. Пожал плечами. Но у меня такое чувство, что на этот раз все серьезней. Извини, если я понапрасну беспокою тебя. Но может статься, что это и вправду серьезно, и я хочу предупредить тебя.

Йоханн в отъезде. Да и в любом случае незачем забивать мальчику голову.

Звонивший говорил по-английски, но с акцентом, похоже африканер. Что-то знакомое в интонациях, хотя он явно пытался говорить приглушенным голосом, это можно сделать, если закрыть мембрану носовым платком. Он. Я почти уверен.

На этой неделе ко мне наведывались еще дважды, тот же почерк. Прекрасно понимаю, что они ищут. Решили видно: хватит, дольше ждать нечего.

Если мои подозрения оправдаются, ты должен об этом знать.

Но даже сейчас я на удивление спокоен. Я всегда считал: лучше ужасный конец, чем ужасы без конца. Не сегодня, так завтра. В покое они не оставят. А я просто не могу больше, я так не выдержу. И единственное, что доставляет удовлетворение, — это сознание: уж этой надежды меня не лишить, что ничего со мной не кончается. Я могу честно повторить вслед за Мелани: «Я ни на миг не раскаиваюсь ни в чем».

В тот вечер около одиннадцати его сбил автомобиль. Согласно газетной версии, инцидент произошел, когда он шел опустить письмо. Но

как, откуда это могло стать известно репортеру? Разве что оно было обнаружено при нем, после того как это случилось? Но если так, тогда кто опустил его в почтовый ящик? И зачем?

Не этим ли объясняется, что оно пришло адресату лишь через неделю? Конечно, можно отнести все это просто на счет йоханнесбургской почты, она никогда не пользовалась доброй славой. С другой стороны, возможно ведь и иное. Обнаружив письмо в кармане погибшего, они решили: пусть идет по назначению. В этом случае у них был единственный мотив: взять меня под наблюдение, не упустить след.

Но не настолько же они глупы, в самом деле, чтобы не понимать, что я сразу заподозрю неладное, на штемпель наконец посмотрю. А если так, то сделано это намеренно, чтобы припугнуть, откровенно дать понять: мы знаем, что ты знаешь, так молчи.

Отчего же тогда я пишу все это? Ведь я захожу дальше мне дозволенного. Из сентиментальной верности университетскому товарищу, которым годами пренебрегал и едва узнал при встрече? Или выполняя свой долг перед Сюзан? Промолчу. Нет ничего сложнее, чем доискиваться причин.

И что ж, мне тоже, как и Бену Дютуа, вдруг сре-

ди жизни все начинать заново? И если так, как далеко идти? Кто-нибудь преуспел, пытаясь разорвать порочный круг? Или все это не суть важно и я преувеличиваю? И продолжать, раз уж начал, просто и честно — может, это само собой разумеется и нечего задавать вопросы? Продолжать, коли тебя побуждает пусть даже неосознанная, но щемящая боль и чувство ответственности за все, во что верил Бен Дютуа. А верил он в то, что человек способен быть честным, пусть не так уж часто себе это позволяет.

Мотивы моего поступка. Я так и не разобрался в них. Ведь мне сказали «молчи». Все, на что остается уповать, на что я действительно имею право, так это написать его историю и дать прочесть людям. Зачем?

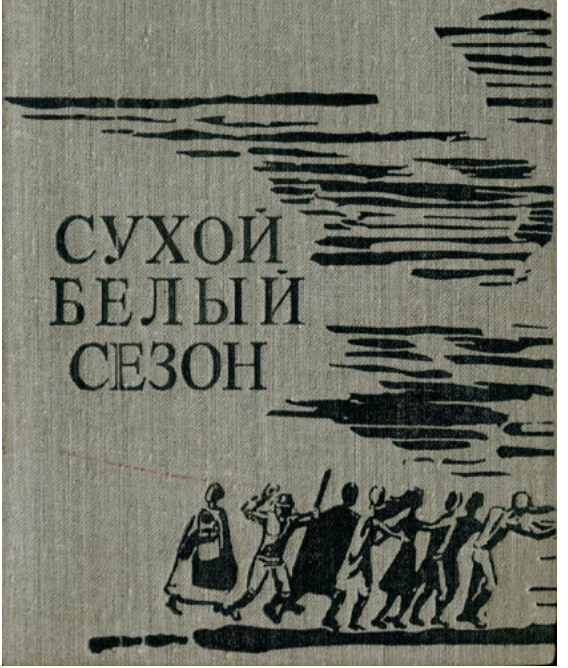
Чтобы никто никогда не мог снова сказать: «Мы об этом ничего не знали».

1976. 1978–1979

АНДРЕ БРИНК

СЛУХИ О ДОЖДЕ

СУХОЙ БЕЛЫЙ СЕЗОН



АНДРЕ БРИНК

СЛУХИ О ДОЖДЕ



СУХОЙ БЕЛЫЙ СЕЗОН
РОМАНЫ

Перевод с африкаанс и английского



Москва
«Прогресс»
1981

© André Brink, 1978, 1979
© Предисловие и перевод на русский язык издательство «Прогресс», 1981

Б 70304-059 130-81
006(01)-81

4703000000

Предисловие *А. Давидсона*
Редакторы *И. Клычкова и А. Файнгар*

Бринк, А. Слухи о дожде. Сухой белый сезон: Романы. Пер. с африкаанс и англ. — М.: Прогресс, 1981. — 000 с.[19]

Два последних романа известного южноафриканского писателя затрагивают актуальные проблемы современной жизни ЮАР.

Роман «Слухи о дожде» (1978) рассказывает о судьбе процветающего бизнесмена. Мейнхардт считает себя человеком честным, однако не отдает себе отчета в том, что в условиях расистского режима и его опустошающего воздействия на души людей он постоянно идет на сделки с собственной совестью, предает друзей, родных, близких.

Роман «Сухой белый сезон» (1979), немедленно по выходе запрещенный цензурой ЮАР, рисует образ бурского интеллигента, школьного учителя Бена Дютуа, рискнувшего бросить вызов полицейскому государству. Там, где Мейнхардт совершает предательство, Бен, рискуя жизнью, защищает свое человеческое достоинство и пра-

---

[19] Примечания: 19

Так в печатном издании — 000 с. На самом деле 743 страницы. *(Прим. Verdi1)*

ва африканского населения страны.

Редакторы *И. Клычкова, А. Файнгар*
Художник *Ю. Лютер*
Художественный редактор *К. Баласанова*
Технический редактор *Е. Кирьянова*
Корректор *Н. Ужтупене*

ИБ № 9510

Сдано в набор 20.03.81. Подписано в печать 27.08.81 г. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага офсетная № 1. Печать офсет. Условн. печ. л. 39,50. Уч. — изд. л. 41,68 Тираж 50 000 экз. Заказ № 199. Цена 4 р. 60 к. Изд. № 29970.

Ордена Трудового Красного знамени издательство «Прогресс» Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва 119021, Зубовский бульвар, 17

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93